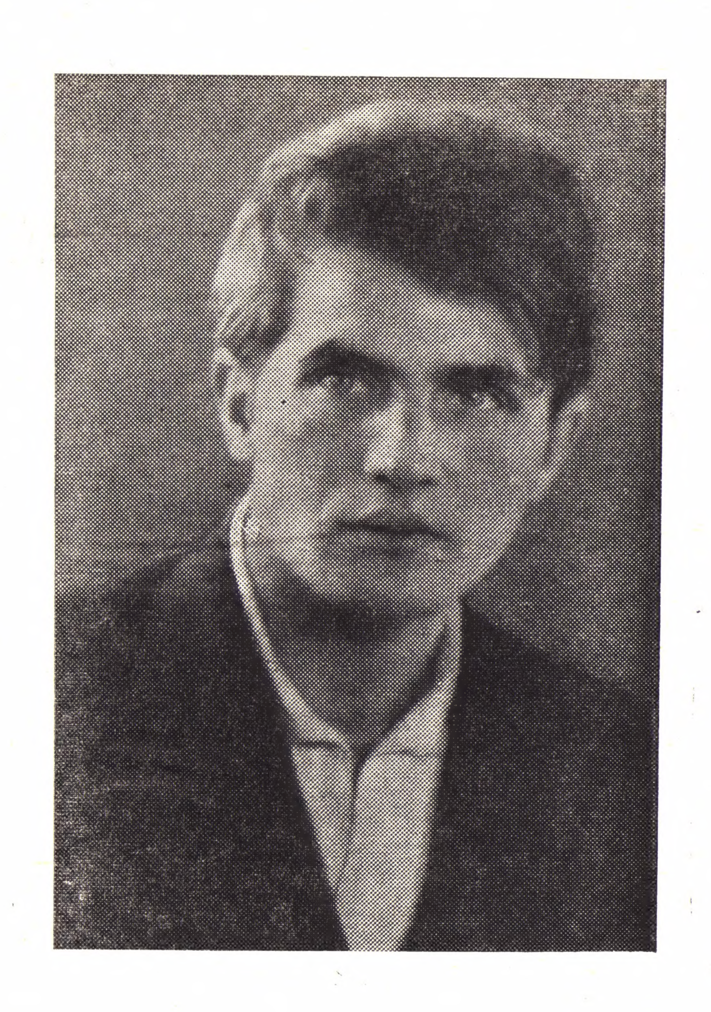
Сергей Наровчатов

Мы входим в жизнь





Сергей Наровчатов

Мы входим в жизнь

Книга молодости

Москва
Советский писатель
1980

Р 2
Н 30

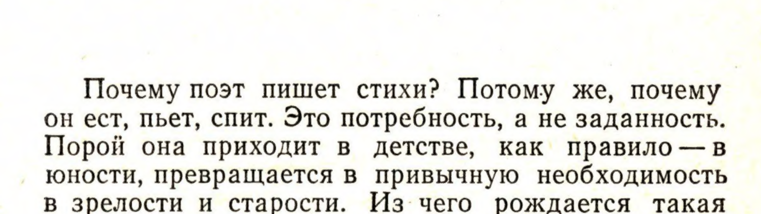
В книге известного поэта Сергея Наровчатова собраны очерки-воспоминания о его друзьях, товарищах, соратниках и учителях — Г. Суворове, Н. Майорове, М. Молочко, П. Когане, М. Кульчицком, П. Воронько, А. Недогонове, М. Луконине, Ю. Друниной, А. Межирове, О. Берггольц, А. Гидаше, Н. Асееве, И. Эренбурге, И. Сельвинском, Я. Ивашкевиче, А. Твардовском, Н. Тихонове, В. Луговском, А. Прокофьеве, А. Ахматовой. Собранные вместе, они воссоздают яркую картину трудных и славных лет, когда формировалось поколение, к которому принадлежит поэт.

Художник Д. Б. Шимилис

Н $\frac{70302-024}{083(02)-80}$ 120—80. 4702010200



ВВЕДЕНИЕ



Почему поэт пишет стихи? Потому же, почему он ест, пьет, спит. Это потребность, а не заданность. Порой она приходит в детстве, как правило — в юности, превращается в привычную необходимость в зрелости и старости. Из чего рождается такая потребность? Видимо, из интуитивного стремления разобраться в окружающем мире, в его событиях, в себе самом.

Но разбираешься наедине с собой, а твои стихи читают сотни и тысячи людей. Позитивно или негативно, но стихи воздействуют на них. Познание мира оборачивается своей активной стороной, и действенная сила поэзии становится очевидной.

Сознание того, что хочешь ты или не хочешь, но, отделившись от тебя, стихи приобретают самостоятельное существование, вызывает необходимость определить свою общественно-литературную позицию. Такая позиция бывает подсознательной или осознанной, иногда той и иной вместе, но она всегда зависит от расстановки исторических сил, сама влияет на эту расстановку, усиливая или ослабляя ту или иную сторону.

Поэтическое поколение, к которому я принадлежу, рождено Великой Отечественной войной. Оно не выбирало, а заняло свою огневую позицию, как занимает ее солдатская рота, подвергшаяся неожи-

данному нападению. Тут бывает не до выбора местности и удобств ее обзора: вцепляйся в клочок земли перед собой и отвечай огнем на огонь. Но получилось, что этот клочок земли, с почерневшей от минной гари травой, оказывался всей необъятной Россией. Искалеченные осколками кусты вырастали в дремучие леса, желтый ручей под ними начинал шуметь Непрядвой и Волгой, избы на ближнем косогоре приобретали очертания Москвы и Ленинграда.

И это была не просто Россия, а Ленинская Россия. Ты слышал голос товарища: «Умираю, передай партбилет комиссару». И ты полз к нему под пристальным вражеским свинцом, расстегивал левый карман гимнастерки и слышал последние толчки сердца, вынимал еще теплый партбилет и передавал потом его во вздрагивающие руки спокойного комиссара. Но переходил он не только в комиссаровы руки, он переходил в твои стихи, в твою память, в самую твою душу.

Пережив такое однажды, мы раз и навсегда определяли свою нравственную, литературную, политическую позицию. Привычные слова «Россия», «Ленин», «Коммунизм» мы услышали как бы заново, и они вошли в кровь и плоть нашего творчества как живые, кровные понятия. Каждый из нас воспринимал их по-своему, но это было восприятием разных граней великого целого.

Для нас частное сразу стало общим, а общее стало частным, то есть содержанием нашей жизни. Большую часть своих стихов я писал, вглядываясь в себя и в те события, которые определили мою биографию. События эти были большими, припаян я был к ним накрепко, и стихи мои без них немыслимы. С тех пор прошло много лет, но приобретенные тогда качества, развиваясь и укрепляясь, остаются со мной. Я никогда не приму четыре стены своей комнаты за четыре стороны света, иначе моя молодость постучится мне в окно и напомнит о других просторах. Я знаю, что друг — это одно, а враг — другое. У меня есть свои святыни, и, если я о них забуду, смертельно раненный боец снова поднимется с черного поля и прохрипит свое: «Передай парт-

билет комиссару». В стихах я выкладываюсь весь, как человек своего поколения с обусловленной его рамками биографией. Рамки эти достаточно широки, чтобы вместить радости и горести, страсти и страдания, переживания и размышления. Но поэзия ломает и эти широкие рамки, и тогда чувства, бушевавшие в нас на смертных полях войны, очищенные и подтвержденные на живых просторах мира, заново переживаются людьми племени «младого, незнакомого». Почти все, что я здесь сказал от первого лица, относится к моим сверстникам-поэтам.

«Суровый Дант» писал в своем «Пире»: «Во всем, что касается речи, наиболее достойна любви и наиболее восхваляема способность сообщения мысли: в этом и заключается ее добродетель». Современный поэт обязательно сказал бы и о способности сообщения чувства. Если поэтическая речь соответствует этим двум заповедям, если мысли достойны того, чтобы они были сообщены другим, а чувства эти добрые в глубоком понимании слова, то поэзия выполнит свое назначение. Таким критериям, я уверен, целиком соответствует творчество людей, о которых я говорю в этой книге.

Несколько слов о ней. «Мы входим в жизнь» — так я ее назвал. Входили мы в жизнь накануне большой войны. В книге сказано и о предыстории поколения, к которому я принадлежу. Его история известна — это сама война. Но вот какими мы были перед войной, об этом говорилось сравнительно мало.

Моя жизнь неотделима от жизни моих друзей, и поэтому почти в каждом из очерков содержатся автобиографические моменты. Если их выстроить в последовательную цепочку, они бы составили отдельное повествование. В этом, однако, нет необходимости: друзья раскрываются через меня, а я через них.

Пишу я и о наших учителях. К сожалению, не всем здесь нашлось место. Впрочем, не написал я и о многих своих близких товарищах. Остаюсь перед ними в долгу.

Многие очерки написаны при жизни тех, о ком они написаны. Я не стал их переписывать, исходя из

спокойного ощущения, что эти люди для меня до сих пор живы.

Наконец, при всей своей литературной наторелости, я затрудняюсь отнести свою книгу к определенному жанру. Выше я назвал отдельные главы ее очерками. Вряд ли это верно. Сцепления между ними прочные, они-то и образуют книгу. А так — что это? Мемуары, автобиография, исповедь, критика, публицистика, литературоведение, главы из истории поэзии? Пожалуй, все вместе. Хорошо ли такое смешение, не мне судить.

А теперь — читайте.

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

ПЕСНИ КОМИНТЕРНА

В таких случаях собеседнику говорят: «Слушайте меня, и очень внимательно». Если я плохо расскажу о том давнем лете, изложение позднейших событий покажется нагромождением отрывочных происшествий. Оценочное слово «плохо» не относится к стилю, я могу рассказывать через пень-колоду, но важно, чтобы в этом буреломе оставалась видна тропа под ногами. Тропа эта выведет на дорогу, а может быть, она с самого начала была дорогой — и называлась тропой и даже тропинкой лишь потому, что по ней ступали ноги восьмилетнего, а не пятидесятилетнего человека.

Вино не годится пить детям, разве что по чайной ложке, как укрепляющее, после тяжелой болезни. Но я тогда был здоров наливным здоровьем крепкого и веселого мальчика, в моих глазах сияло радостное удивление открываемого мира, и в этом сиянии, в этом удивленье, в этом мире, не переставая, лилось золотое вино. Оно и вправду было золотым! Настоянное на мечтах Фомы Кампанеллы и Томаса Мора о золотом веке человечества, оно переполняло чашу мудрого знания и растекалось над загадочными пятью материками, над милой и доброй Россией, над счастливым крымским побережьем. Материки были загадочными для меня, Россия была доброй и милой для меня, Крым был счастливым тоже для меня, и я, запрокидывая русую головенку, свежим маль-

чишеским ртом ловил напоенный вином ветер. Всю жизнь искали чашу Грааля рыцари Круглого стола. Но чашу, из которой лилось это вино, человечество искало тысячелетия. И вот она, словно золотой круг солнца, висит над полуденным Крымом — и современные Ланселоты и Галахады протягивают к ней стремительные руки.

Шел 1928 год, отмеченный, как тогда казалось, многими значительными событиями. Однако в памяти историков удержались лишь очень немногие. А память обычного человека не сохранила от него почти ничего. Но для меня этот год стал первой вехой на той тропинке,— а может быть, тропе, а может быть, дороге,— которая началась уже тогда и которая продлится до конца моей жизни. А когда жизнь окончится, она, не заметив моего отсутствия, будет виться между далекими холмами.

Очень тяжело сложилась последняя фраза, и, чтобы выбраться из словесного бурелома, я прибегну к помощи стихов, написанных спустя многие годы, но именно о том годе:

Забытой песней детство
Поднимется,
Когда
Попробую вглядеться
В примолкшие года.

И, разрезая зримо
Незримую черту,
Я вижу берег Крыма
В разреженном чаду.

Срываясь вдаль с откоса,
Колебля горизонт,
Звенит «Бандера Росса»,
Гремит «Рот фронт».

Не стелются, не льются,
В них медный слышен гул,
Солдаты революции
Вершат над миром суд.

Живут, как в зримом чуде,
И юны, и седы,

Невиданные люди
Неслыханной судьбы.

В каких потом восстаниях
Они встречали дни,
В каких они Испаниях
Сожгли свои огни?

Пусть встреченные смертью
Погасли их глаза,
Как прежде в лад столетью
Звучат их голоса.

Уж то необоримо,
Что в счастье и в беду
Я вижу берег Крыма
В разреженном чаду,

Где море дышит мерно
И, накаляя зной,
Песни Коминтерна
Пылают надо мной.

Стихи называются «Песни Коминтерна», а посвящены они Анталу Гидашу. Его имя не пришло извне, став знаком любви поздних лет, нет, оно прочно соединено с тем далеким годом, и если тот год олицетворил в крымском лете идею, то персонифицировалась она для меня прежде всего в Гидаше. Расскажу, как это получилось.

Мы с мамой проводили лето в Доме отдыха Коминтерна. Может быть, он назывался как-то иначе, но в обиходе его именовали только так. Путевку в него достал отец через Цекубу — комиссию по улучшению быта ученых. Наверное, путевка дана была в порядке обмена, как это бывает и сейчас. Так или иначе, мы оказались в том уголке Алушты, который сперва назывался профессорским, а потом рабочим. Дача Лебеденко (с дореволюционных времен прошло совсем немного лет, и старые наименования еще бытовали), как и весь «уголок», находилась на возвышенном месте. И «откос» вставлен в стихи не ради рифмы. На этой даче, в ее флигелях и пристройках, разместились теперь те, кто озаботились, в свое время,

лишением г-на Лебеденко его неправедной собственности. От прежнего хозяина осталась библиотека. Романами я не интересовался, но переплетенные комплекты «Всемирного обозрения», «Нивы» и в красных обложках огромные тома «России» Семенова-Тян-Шанского перелистывались мной с неослабеваемым вниманием. Сотни иллюстраций с пространными подписями заводили меня в мир, отринутый моими новыми знакомцами. Походя, шутя и смеясь, они передавали мне свои взгляды на давние события. Однажды я разглядывал мартовские номера старого журнала 1881 года. Надо мной нагнулся один из них и, глядя на портреты Александра II и привлеченных к суду народовольцев, весело сказал: «Дворника убили, а дом оставили». Запомнились мне эти слова!

Спустя десять лет, обходя Крым пешком, я нарочно зашел в «Рабочий уголок» и безошибочно разыскал дачу Лебеденко. В ней был профсоюзный Дом отдыха, я заявился к директору. Добродушный дядя с веселой охотой приютил московского студента переночевать в библиотеке-читальне. Утром я обошел парк, посидел на обрыве, спустился на пляж. Все вспоминалось четко, но четкость была как бы подернута голубоватой дымкой. Потрогал рукой широкую крымскую сосну. Кажется, на ее сучьях я сидел веселым мальчонкой, болтая ногами. На желтой коре суетились муравьи, праправнуки тех, за которыми я следил в детстве. Тишина, море, небо ранним утром тоже ощущались теми же, что десять лет назад. И думалось: закрой глаза — и опять услышишь голоса Хозе, Курта, Гидаша. Где они теперь?

Надо мной всегда имело осязаемую власть прошлое, причем не только тысячелетнее и столетнее, но свое собственное, совсем близкое. Ну, какое дело до недавнего детства восемнадцатилетнему юнцу, переполненному сиюминутными восприятиями, заглядывающему жадно и нетерпеливо в свои двадцать лет (ах, поскорее бы они пришли!)? А я тогда вслушивался в металлический треск цикад, следил за бегом облачка по знойному небосклону, вбирал нагретый сосновый воздух и медленно тонул в умерших и воскрешаемых ощущениях.

Так вот, о библиотеке. Меня заинтересовали непонятные слова под многочисленными некрологами, помещавшимися на последних страницах журналов. Они гласили: «почил в Бозе». Я уже знал, что географические на-

звания пишутся с большой буквы, и решил, что это наименование местности. Озадачила меня ее неуклонная повторяемость. «Сговорились они, что ли, съезжаться туда умирать?» Поделился сомнениями с неким дядей Костей. «В Бозе» это значит по-старому «в Боге». А так как бога мы отменили, то почивать им негде».— «Как негде?» — «Да так, негде. Кое-кого мы, наверно, перехороним, а вот таких бородатых стариков,— и он кивнул на портрет какого-то тайного советника,— куда их девать? Почили в этом журнале, и ладно».

Такая веселая безапелляционность меня озадачивала и вместе с тем восхищала. Революции шел одиннадцатый год, она была не намного старше меня. И люди, начавшие, творившие и продолжавшие ее, были тогда ослепительно молоды. Именно ослепительно... Но об этом чуть после.

В мои книжные розыски вмешивались не только ближние соседи. Видимо, занятную картинку представлял беловолосый мальчуган с огромной книгой не в руках, конечно, а развернутой на траве под густыми июльскими деревьями. Ну, как тут не подойти не полюбопытствовать... Я переворачивал страницы «Жизни Суворова», отличного издания, которое спустя сорок с лишним лет с великим трудом приобрел для своей библиотеки. Перечень сражений и подвигов, титулов и наград совершенно заворожил меня. «Генералиссимус, князь Италийский, граф Рымникский, орденов святого Георгия, святыя Анны и прочих кавалер...» — размеренно и со вкусом повторял я. «Ничего не скажешь, хорошая сабля,— присел рядом на корточки седоусый человек.— А ведь едва на Пугачева не опустилась. Счастье, что опоздал, а то бы ему вовек не простили». И на мой вопрос спокойно и обстоятельно рассказал мне о Пугачеве. Это был не кто иной, как Алексей Силыч Новиков-Прибой. Кроме рассказа о Пугачеве я обязан ему умением плавать. Два обстоятельства как будто несоизмеримые, но в мои восемь лет они превосходно соизмерялись. Учил меня плавать Алексей Силыч, надо сказать, варварским способом: нес на протянутых руках к глубокому месту и бросал в воду. Я вопил, захлебывался, колошматил руками-ногами, но знал, что дна нет и надо держаться на поверхности. Так или иначе, плавать выучился, и довольно скоро. Мама пробовала возмущаться, но Алексей Силыч только фыр-

кал в ответ: «Неужели я ему утонуть дам? А только так и учатся...»

У Новикова-Прибоя путевки в Дом отдыха не было, он ходил сюда в гости. Алексей Силыч приехал в Алушту с группой писателей, и они сняли неподалеку от нас дом. Писательскую колонию составляли Петр Ширяев, Александр Перегудов, Павел Низовой, Николай Никандров.

Всех писателей я хорошо помню. Будь я ваятелем, мог бы по памяти слепить их портреты. Но словесное изображение не обладает достоверностью скульптурного. Да я и не решился бы здесь прибегнуть к нему, меня торопят другие задачи. Кроме всего, детское восприятие имеет свои особенности. Ширяева помню худущим, угловатым, насмешливым. Моя особа его никак не интересовала, но именно такое безразличие заинтересовало, в свою очередь, меня. Я пытливо наблюдал за ним даже тогда, когда это вряд ли могло ему понравиться. Однажды застал его во хмелю. В этом образе он мне не показался, но отнесся я к нему, не по-детски, сочувственно. Ширяев был талантливым человеком с весьма бурной биографией. После его смерти в середине 30-х годов переиздавали его повесть «Внук Тальони», я ее перечитывал, это яркая вещь.

Грузный, уже немолодой Никандров памятен мне на берегу, забрасывающим длинную леску с привязанным к ней камнем далеко в море. У него был отличный рассказ «Береговой ветер», который нужно было бы включать в школьные хрестоматии. Перегудов, маленький и веселый, вызывал мой постоянный восторг странным словечком «завались», которое он всюду совал. «Какие у нас сады! Яблок, груш — завались!» — это туда-сюда, но: «Пойдешь в школу, синяков от мальчишек получишь — завались!» — это даже мне казалось некоторым нарушением логики. Низового помню хуже других,— он отгораживал себя от моего внимания строговатой молчаливостью.

Все это были писатели не экстраряда, но прочные и добрые писатели 20-х годов, которых не грешно лишний раз вспомнить. И я рад, что такая возможность мне предоставилась. В моем рассказе они играют заметную роль, хотя говорить о них я буду немного. Дело в том, что «Интернационал» каждый поет на своем языке, а для меня таким языком был русский, и ощущение родной ос-

новы в разноплеменной среде было необходимо несформировавшемуся сознанию. В Доме отдыха Коминтерна я вместе со всеми пел «Рот фронт» и «Бандера Росса», но с неизъяснимой силой тянуло меня и к песням, которые затягивал Алексей Силыч и подхватывали его друзья. Некоторые из них я заучил с тех пор на память: «Средь высоких хлебов затерялося», «Как задумал сын жениться», «Помню, помню, помню я, как меня мать любила». Одну песню, полную саркастического крестьянского юмора, я особенно возлюбил и к месту и не к месту повторял ее слова: «Уже все жены мужьям хлеба несут, а моя шельма жена не устряпалась». Одной даме, пожаловавшейся при мне на свое небрежение: «Никак не могу собраться написать мужу», я так и заявил: «Вы, наверно, и есть шельма жена». Мое замечание вызвало бурный восторг окружающих, а сметливая дама сказала, что с этих слов и начнет свое долго откладываемое письмо.

Писатели были хорошими рассказчиками, много поездившими на своем веку, и многоцветная карта России все время оживала у меня перед глазами. Книги из библиотеки не только погружали меня в невозвратные времена, насмешливо комментируемые взрослыми: многотомная «Россия» Семенова-Тян-Шанского вторила писательским рассказам о яблоневых садах Рязанщины, разливах Волги, рассветах на Селигере, заводах Тулы и фабриках Иванова.

А Дом отдыха жил своей странной и ни на что не похожей жизнью. Кого здесь только не было! Французы и немцы, австрийцы и румыны, испанцы и итальянцы, венгры и югославы, китайцы и японцы. После я часто задумывался: какие судьбы их ждали? «В каких они восстаниях потом встречали дни, в каких они Испаниях сожгли свои огни?» Большинство из них носили конспиративные имена, и даже при своей цепкой памяти я не мог проследить их путь по печатаемым известиям. Возможно, некоторые из них возглавляли революционно-освободительные движения у себя на родине. Возможно, многие прошли свой путь безвестными солдатами революции, пламена которой вспыхивали то здесь, то там. Возможно, многие из них давным-давно умерли. И вряд ли в своих постелях. Застенки овры, сигуранцы, гестапо ожидали своих жертв. Впрочем, жертвами они не были. Противники, ненавистники, борцы с капитализмом, им-

периализмом, фашизмом — вот кем они были, молодые и веселые люди, отдыхавшие здесь, может быть, последний раз в жизни.

Если бы хоть на миг открылось перед вон тем испанцем, которого я запросто называю Хозе, его будущее. За Черным морем — Мраморное, за Мраморным — Эгейское, за Эгейским — волны Средиземного, и там, на восточном побережье, его родная страна. Доживет ли он до республики? Или Примо де Ривера сгноит его в королевских тюрьмах? То, что не удастся диктатору, исполнит, может быть, марокканский солдат под Гвадалахарой, прицелившийся в коммунистического комиссара. Возможно, комиссар погибнет вовремя — и ему не придется видеть торжество фалангистов, расстрелы друзей, отступление через Пиренеи, унизительный плен во французском концлагере. Нет, это утешение слабых — смерть вовремя. Революция знает не одни победы, она мужает в поражениях. Но десятки лет будут чередоваться в его жизни эмиграция и подпольная работа. Где ты, Хозе?

А этот плотный немец, которого я называю, как он просит, «товарищ Курт». Мы с ним говорим по-немецки,— меня уже третий год заставляют им заниматься, и вон как быстро он понадобился! — но слово «товарищ» мой новый знакомец требует, чтобы я говорил по-русски. Если Хозе предстояло пережить, а может быть, и погибнуть в трагической репетиции схватки с фашизмом, то Курту пришлось участвовать в самой трагедии. Тогда, в 1928 году, она еще даже не угадывалась. Как мало надежды, что останется в живых этот добрый немец! Гитлеровские концлагеря, а то и плаха со средневековым топором, почти ничего не предоставили ей в поддержку. Но если чудо борьбы и упорства совершилось, то, конечно, он сейчас строит новую свободную Германию.

А сухощавый Ли? «Как по-китайски такое-то слово, а как вот такое?» — допытывался я у него. «Революция» на всех языках звучит одинаково, только окончания разные,— объяснял он,— а вот первое китайское слово, что ты должен заучить: «жень» — «человек». Остался ли он до конца верен этому «первому слову»? Наверное! В боях с чанкайшистами и с японскими захватчиками он смог вознести это слово на ту высоту, на которую поставили его коммунисты. Но позже, во время «культурной

революции», никто бы ему не разрешил называть это слово «первым». А если он не обратил внимания на такое разрешение, то плохо ему пришлось.

Кто лучше, кто хуже, но все говорили по-русски, и здесь впервые я ощутил свой язык как средство межнационального общения. С великим удовольствием выполнял я и толмаческие функции. «А что это?» — «Камень».— «А это?» — «Трава».— «А это?» — «Листья». Взамен я учился языку международного братства. Оно тогда почти осязалось в солнечные дни и звездные ночи крымского лета. И язык его, то открытый и простодушный, то замкнутый и осторожный, со скрытыми намеками и недоговоренностями, понятными только собеседникам, усваивался мной как щедрый июльский зной, покрывший меня сплошным загаром с ног до головы. Но и впрямь ликующее знойное пламя обожгло меня навсегда и загар оказался несмываемым. Во всю свою жизнь ни разу не испытал я чувства пренебрежения и недоверия к людям любой нации лишь за то, что они не принадлежат к моей собственной. А те из них, с которыми нас объединяли общие устремления, стали моими спутниками на великом пути к коммунизму. Все эти добрые зерна были посеяны в то памятное лето, а всходы не замедлили появиться.

В сердце и разуме мальчика, в его Настоящем — утреннем, свежем, росистом — соединялись этим ранним летом Прошлое и Будущее, Россия и Мир, Любовь и Дружелюбие, все, что пребудет с ним до конца, давая знать о себе через многие годы то замирающими, то нарастающими голосами.

Как будто нарочно звучание внешних событий совпадало с музыкальной настроенностью просторных ветров, овевавших мальчика в ту пору. С далекой полярной льдины прозвучал «SOS» — международный сигнал бедствия. Он был принят советским радистом, и тотчас же весь мир узнал о трагедии экспедиции Нобиле. Ледоколы и самолеты разных стран устремились с разных концов на помощь потерпевшим крушение. Как мы следили за этой борьбой великодуший! Впереди оказался наш «Красин»! Впереди оказался наш Чухновский! У картонного репродуктора собирались коминтерновцы, русские писатели, сотрудники Дома отдыха. «Что сталось с Мальгремом?», «Успеют ли снять остальных?», «Как мог Нобиле улететь первым?»

Много лет спустя у Тихоновых я познакомился с офицером авиации. Седой, сухощавый, с тонким нервным лицом, он отрекомендовался: Чухновский. У меня поплыло перед глазами. Трудно, почти невозможно объяснить, скольким я был ему обязан. Он перевел на язык факта, доступного моему восьмилетнему пониманию, то, что долго бы оставалось для меня отвлеченной абстракцией,— подвиг человечности, подвиг людской солидарности. В накаленную коминтерновскую атмосферу, окружавшую меня, вошла живая свежая струя. Позже ее назовут единством людей доброй воли. И на зыбком пороге памяти я вдохнул это живое веяние благодаря таким людям, как Чухновский.

В библиотеке достали атлас, и мама направила мою руку, вычерчивавшую маршруты «Красина», «Малыгина», «Персея», к далекой льдине. Все, как говорится, было одно к одному в то чудесное лето.

В разных воспоминаниях одно понятие сразу выносится за скобки, как общий множитель всех восприятий, впечатлений, ощущений. Оно, это понятие, воплощалось во всеобъемлющем слове — мама. С нее все начиналось и все кончалось в радужном мире, окружавшем восьмилетнего мальчика. Радужный мир был однозначен счастью. Живая нить, соединявшая мать и ребенка, мгновенно передала бы любое изменение тонов радуги. Они не менялись, и я, не размышляя, знал, что все вокруг хорошо. Хорошо маме и мне, мне и маме, всем рядом с нами.

А маме было тогда 35 лет. Молодая и красивая женщина, она принадлежала к иному людскому кругу, чем Хозе, Курт, Антал. И если я по-детски, то она по-взрослому открывала в них то великое и грозное, что составляло их существо. Она не отклоняла своего мальчика от дуновений ветра, несшего их тревожные судьбы. Наоборот, она объясняла непонятное в речах моих новых знакомцев применительно к моему возрасту и разумению, и каждый раз такое объяснение шло к упрочению их влияния. Они звали ее по имени-отчеству, а я втихомолку гордился, что для всех она Лидия Яковлевна, а для меня просто мама. Самая умная, самая хорошая, самая красивая!

Гидаш возник внезапно и в то же время закономерно. Именно «возник», именно «внезапно», именно «закономерно». Острием субъективного идеализма, в противле-

нии которому я воспитан, было бы допущение, что все происходившее на крымском побережье летом 1928 года имело благой целью мою крохотную особу. Нет, ни Хозе, ни Курт, ни Ли не появились здесь специально для меня, дабы содействовать надлежащему воспитанию восьмилетнего человека. И Гидаш эмигрировал из хортистской Венгрии, ведомый иными обстоятельствами, чем грядущая встреча с маленьким мальчиком. Но для меня его появление здесь было закономерным и — острие субъективного идеализма начинает притупляться — подготовленным другими встречами и знакомствами. Моему раннему восприятию недоставало стержня, вокруг которого облеклось бы в живой организм все слышанное и увиденное мною в те удивительные дни. Так перенасыщенный раствор ожидает последней крупинки соли, чтобы начать кристаллизоваться. На расстоянии сорока с лишним лет крымское лето все чаще представляется мне неким языческим действом. Ведь вспомните: оно пылало на другой год после знаменитого землетрясения в Крыму. Скалы и горы, здания в Алуште, собственный наш Дом отдыха хранили его свежие следы. И революция, которой дышало все вокруг меня, соединилась в моем сознании с этим природным переворотом. Люди, готовящие землетрясение,— вот кем были Хозе, Курт, Ли. Да полно, люди ли? Богов они отвергали, но, может быть, потому, что сами являлись богами? И чтобы утвердить меня в этом языческом ощущении, нужен был обобщающий образ, живое воплощение дум и чувств, владевших мною. Вы полагаете, что думы и чувства принадлежат лишь зрелым и старым людям? Нет, это совсем не так. Давно сказано о мудрости детей, и хотя она отлична от взрослой, это все-таки мудрость.

И, как в древнем действе, Гидаш возник или явился как «Deus ex machina», в самый необходимый момент. Расшифрую непосвященным латинскую фразу. В античной трагедии страсти и коллизии до того порой перепутывались, что автор и зритель, как говорится, опускали руки. И тогда прибегали к спасительному приему. Из-за кулис, сверху, появлялась площадка, на которой спускалось на землю всемогущее божество. Оно награждало правых, карало виноватых — всем сестрам по серьгам — и произносило некие обобщающие формулы, в которых состоял смысл трагедии. В моем мире трагедия только

угадывалась, праведники были вокруг меня, а виноватые за синим морем, но «Deus ex machina» был необходим.

В отличие от античного божества, являвшегося зрителям в широких ниспадавших одеждах, Гидаш возник в невообразимом виде: в не сходившемся на могучем торсе пиджаке и брюках, еле покрывавших колени. Раскатисто хохоча, с размаху ломая непривычный язык, он рассказывал, что по дороге, кажется в Харькове, его обчистили догола. Проводник его, видите ли, предупреждал, что на этом дорожном участке к воровству относятся как к стихийному бедствию, и он, Гидаш, решил, что обезопасит себя от мошенников, привязав свой чемодан бечевкой к ноге. Нет, спал он не так уж крепко, но каждый раз, подергав ногой, убеждался, что чемодан на месте, и не трудился раскрыть глаза. Когда же утром он проснулся, то — черт побери! — оказалось, что нога его привязана к стояку, а чемодан исчез. Вместе с чемоданом исчезли костюм и ботинки, он, Гидаш, остался в трусах и майке, но, спасибо, симферопольский комендант оказался добрым человеком и одолжил ему доехать до Алушты пиджак и брюки. К сожалению, у них с комендантом разная комплекция, а то все было бы совсем хорошо.

Невероятно подкупил меня этот рассказ. В воспоминаниях Вересаева есть одно место, где маленький Виця слушает отца, передающего свои впечатления от комического случая. Почтенный их знакомый, которого Виця хорошо знал, входя в аптеку, споткнулся о порог и растянулся у всех на виду. «Нарочно?!» — радостно возопил Виця. «Ну что ты! — с сердитым изумлением ответил отец.— Соображаешь, что говоришь? Такой почтенный человек, и вдруг — «нарочно»!» Виця сник, и, как дальше говорится у Вересаева, почтенный человек, на миг представившийся мальчику в ослепительном сиянии оригинала, опять превратился в скучного и неинтересного господина. Древние греки с их безошибочным чувством соразмерности легко распределяли улыбчивые тени на мраморных торсах небожителей. Эллинские боги влюбляются в земных женщин, их одолевают плутни и обманы, они ввергаются в не подобающие олимпийцам истории, и от всего этого не только не теряют, но приобретают качества божественной полноты жизни. Дети ощущают, видимо подсознательно, светлую роль комического в нашей

серьезной жизни. И Гидаш полюбился мне с первого же взгляда.

Но отсюда, по законам доэсхиловского действа, одна ступень до апофеоза. Веселая пляска козлоногих фавнов заканчивается венчанием Вакха виноградной лозою. Скинув свое невероятное — со стороны! — одеяние, Гидаш заблистал божественной наготою, перехваченной пополам москвошвеевскими трусами. Только они, пожалуй, и знаменовали его бытие в 1928 году. А так, посади его рядом с Гермесом, Вакхом и другими младшими богами, он ничем бы от них не отличался. Темные курчавые волосы, сияющие карие глазищи, ошеломляющая белозубая улыбка из-под полных губ — как он был молод, как был он весел, как он был ослепителен! «Зовите сюда Фидия!» — в смешливом отчаянье всплеснул руками Антеос, маленький грек-подпольщик, взглянув на юного бога, изготовившегося прыгнуть в море.

Вот так и мифологизируется действительность. Родись я в предгомеровские времена, мне бы понадобилась лишь небольшая толика воображения, чтобы на склоне лет, перебирая дряхлой рукой лиру, повествовать о днях моего детства, когда боги еще запросто сходили на землю. Я бы рассказывал изумленным правнукам о том, как некое божество, спускаясь с Олимпа, нечаянно прогневило Морфея и Гермеса — и тогда один смежил ему очи, а другой похитил златотканые ризы. Тогда простой смертный, хранитель ворот в обетованную страну, отдал ему свои одежды, но они не могли скрыть божественного естества пришельца. И, придя к святилищу, он скинул их, оставшись в набедренной повязке. Тогда-то узнал его певец, сидящий сейчас перед вами, несмышленая молодежь. Эй ты, Гомер, думаешь, что я уж совсем ослеп и не вижу, как ты играешь в кости с Гесиодом? Слушайте меня, мальчишки, не зря я вас учу своему мастерству, пригодится на старости лет. Итак, божественный пришелец научил меня дивным песням...

На самом деле, это я научил его дивной песне о злокозненном жреце, погубившем священного пса, ставшего после своей гибели созвездием, на которое вы можете взглянуть, дорогие слушатели, обратив свои глаза вон на тот уголок неба. Тьфу, черт возьми, мифологизация слишком затянулась. Гидаша я научил и впрямь восхитительной песне «У попа была собака».

Эту картинку я помню отчетливо. Жаркий алуштинский пляж — белое солнце, синее море, серая галька,— я сижу на животе веселого божества, раскачиваюсь, и то одна коленка, то другая касается накаленных камней — я ведь еще мал! — и мы вопим исступленным дуэтом песню, имеющую начало, но не имеющую конца.

Тогда я услышал и запомнил два взрослых слова, которые потом не скоро мне понадобились. «Ты, видимо, полюбил эту песню за ее антиклерикализм?» — спросил Гидаша кто-то из взрослых, раздраженный нашим беспрестанным голошением. «Нет,— ответил тот,— скорее за мистицизм». Первое слово я ужасно перевирал. И скоро забыл, чтобы вспомнить уже через много лет, а второе уловил сразу и толкал его куда надо и не надо. «Сережа, хочешь еще котлету?» — «Нет, это скорее мистицизм, а не котлета».

Антал Гидаш (чаще его звали просто по фамилии, а имя переиначивали на «Анатоль») был поэтом, и с тех пор поэзия и революция ощущались мной слитно, как слиты они были в этом прекрасном человеке. Для меня он стал на долгие годы олицетворением того «эмоционального Интернационала», о котором он скажет много после. Определение «эмоциональный» как нельзя лучше подходит к восприятию восьмилетнего мальчика. Гидаш относил его к людям искусства, но каждый ребенок является бессознательным художником.

Гидашу было тогда меньше тридцати лет. Но его жизнь вобрала в себя столько событий, что он мог бы выглядеть намного старше. Они, однако, еще не оставили следа на его внешности и пока лишь выплескивались в стихах да напоминали о себе яростными выкриками во сне. Соседи на крики не жаловались, кричал во сне не он один в нашем необычном Доме.

Он был очень музыкален, в ранней юности мыслил себя будущим композитором и не случайно стал автором многих хороших песен. Варварская «У попа была собака» страшно смешила его тем, что это было как бы песней навыворот. Дурацкая торжественность, дурацкая глубокомысленность, дурацкое разрешение конфликта. «Антипесня», как выразились бы сейчас. В его гармоничный мир она вторгалась разрывающим слух диссонансом, но XX век музыкальной стройностью не обладал, и

фраза о мистицизме была, может быть, не такой уж шутливой.

Ведь и впрямь Гидаш был свидетелем и участником венгерской революции 1919 года. В несколько недель были близки к осуществлению прекрасные величественные строки: «Весь мир насилья мы разрушим» и «Мы наш, мы новый мир построим» — и вдруг рухнули только начавшие подниматься леса, и озлобленные разрушители, усевшись на их обломках, опять затянули унылую песню без начала и конца. Опять «У попа была собака», опять капитализм гоняет людей по замкнутому кругу, опять богатые и бедные, опять жандармы и тюрьмы.

Диссонансом оказалась и вынужденная эмиграция. Венгерский поэт, он должен писать стихи о Венгрии, находясь за ее рубежами. А он еще так молод, и взгляд его не насытился красками своей земли, слух не переполнился родными звучаниями. Жизнь обернулась жестоким ликом к молодому богу.

Путь Гидаша в поэзию, да и через всю жизнь, представляется мне путем через диссонансы к гармонии. Трудно придумать более миролюбивую и щедрую к людям натуру, чем у него. А обстоятельства века, истории, событий выдвигали его на передний край ожесточенных схваток. Беспощадные законы классовой борьбы нашли в нем, не глядя в его житейское миролюбие, своего непримиримого певца. Он был воистину пролетарским поэтом и глядел на жизнь, события, историю с точки зрения своего класса.

— Тому не бывать! — возвещает мне кто-то,
А я отвечаю:
— А вот и бывать!
Лишь ради чего-нибудь
И против чего-то
И может поэзия существовать.

Эти строки, названные «Ars poetica», то есть «Искусство поэзии», я прочел в одном из недавних номеров «Иностранной литературы». Их написал Антал Гидаш, а перевел Леонид Мартынов. Гидаш написал их уже немолодым человеком, но оглядываясь на весь долгий путь. Эти вот «ради» и «против» определили содержание его поэзии еще за десятилетие до того, как мы впервые встретились с ним на крымском побережье. В реальной жиз-

ни эти «ради» и «против» часто менялись местами и еще чаще соединялись вместе. Стремление к гармонии, родившееся в поэте, не стало поисками покоя для самого себя, а было вынесено в просторы истории человечества. Единственно гармоничное общество коммунизма рисовалось ему конечной гармонией для него самого.

Но диссонансы века терзали его слух, да не только слух — сердце! — и он противопоставлял им напоенные гневом и яростью слова. Против капитализма, против фашизма, ради социализма, ради коммунизма. Как привычно выглядят эти слова на плакатах и транспарантах! Но для меня фашизм отнюдь не абстрактное понятие. Шестьсот километров по тылам противника, распятая комсомолка на дверях райкома, гибель лучших моих товарищей — вот что такое для меня фашизм. Я мог бы сюда присоединить еще многое, но и этого хватит. Для Гидаша капитализм тоже не был абстракцией, это был живой, злобный и неумолимый враг. И он дрался с ним, как с живым врагом, всю жизнь, да и сейчас продолжает драться.

Гидаш любил возиться со мной, и, может быть, в этом тоже проявлялось неосознанное стремление к гармоничному миру, который заключает в себе каждый ребенок. Гармония не должна ощущать себя гармонией так же, как естественность не осознает себя естественностью, она просто естественность — и только. И я, конечно, ходил вверх ногами, выкидывал разные мальчишеские фокусы, озоровал и буйствовал, отнюдь не ощущая себя гармоничным созданием. Но если ребенка рассматривать как микрокосм гармонии, то, наверно, и сама гармония не представляет состояние застывшего покоя. Соразмерность — вот, кажется, главное, определяющее для него слово.

Гидаша переводили тогда еще мало, и он изредка, не для других, а для себя, наговаривал свои стихи по-венгерски. Если его спрашивали, он бегло и неохотно пересказывал содержание. «Ну, ночь, звезды, мечтаю». Ритм и звукопись я воспринимал на лету, а воображение легко дорисовывало картину, проглядывавшую из-за трех слов. Позже я оценил поэзию Гидаша по отличным переводам, главным образом Л. Мартынова, но всегда под ними волшебным подтекстом звучал тихий речитатив стихов, произнесенных на крымском берегу.

Итак, «эмоциональный Интернационал», поэзию и революцию — вот что соединил в себе Антал Гидаш в моем тогдашнем восприятии. Не слишком ли многое я в него вкладываю? Нет, не слишком многое. Прежде всего, он действительно вместил эти понятия, всей своей жизнью и творчеством содействовав их проявлению в людских душах. А потом, как солнечный луч является не только эманацией солнца, но и частью самого солнца, так и этот человек воплотил для меня все лучшее, что я видел в обитателях Дома Коминтерна.

То быстро, то медленно листались годы. Имя Гидаша прогремело над Красной площадью в Первомай 1933 года, когда вместе со всей демонстрацией мы, школьники, пели его «Марш ударников»:

Гудит, ломая скалы,
Ударный труд,
Прорвался лентой алой
Ударный труд.
В труде нам слава и почет,
Для нас кирка породу бьет...

Мне было тринадцать лет. Днепрострой на моих глазах превратился в Днепрогэс, а Магнитка в Магнитогорск. И это сделал как раз тот «ударный труд» миллионов строителей социализма, о котором мы пели сейчас песню. Она проходила по нерву времени и сама была этим нервом. С мальчишеской гордостью я вспоминал, что был знаком с ее автором. С Гидашем после крымского лета мы долго не встречались. Я читал его стихи и помню, какое впечатление оставил во мне сборник «Суд идет». Из него вставал тот же Гидаш, которого я знал в Крыму, но луч падал из грозовых туч. Я стал ощущать меру горечи, владевшей его душой. Стихи «Погибшим революционерам» о поражении разгромленной, но отказавшейся сдаться венгерской революции светили передо мной апокалипсическим видением.

Слыхали ль вы, когда фанфары,
Фаготы, трубы и тромбоны,
Привыкшие играть победу,
В печали головы склонив,
Играют траурные марши?!
И боль вам души сотрясает,
И горы сотрясает боль!

О страшная рыдающая осень!
Мы видим: их
По городу ведут,
В полночной мгле,
Средь бела дня,
Кого к петле,
Кого к стене,
Кого к реке...
Они проходят.
В крови их лица,
Безмолвны губы,
И только руки
Зовут вперед...

Перевод И. Миримского

Я встретил Гидаша уже после войны, узнал его сразу же и напомнил о нашей давней встрече. Он заулыбался: «Ах, это ты, мальчик Сережа, вот каким ты стал...» Послевоенная жизнь его была нелегкой, он выглядел угрюмым и усталым. Но тут на моих глазах стал добреть, мягчать, отходить. И снова я увидел ту давнюю крымскую коминтерновскую улыбку.

Еще перед войной, в ИФЛИ, у меня появилась возможность вспомнить Гидаша, когда я познакомился с Агнессой Кун. По возрасту еще девочка, она рано вышла замуж за Антала. Очень яркое впечатление производила Агнесса. Среднего роста, она казалась высокой в своем черном облегающем свитере и короткой прямой юбке, открывавшей ноги до половины чашечек колен. Держалась она с замужней уверенностью, но возраст ее выдавали юная угловатость плеч и девичья худоба рук. Лицо ее было находкой для графика. Прямые волосы иссиня-черного цвета, цыганские глаза, броские губы могли впечатлить кого угодно. Дело прошлое, но она мне страшно нравилась, хотя, кажется, никогда не догадывалась об этом. Впрочем, я, может быть, преуменьшаю ее проницательность.

И теперь, после войны, возобновленное знакомство с Анталом было неотделимо от Агнессы. Я привык видеть их всегда вместе, и моя привязанность к Гидашу не разделилась, а как бы удвоилась. Их союз представлялся мне многозначным, далеко выходящим за пределы зарегистрированного в загсе брака. Дочь вождя венгерской революции, еще при жизни ставшего легендой (я еще помнил демонстрации с лозунгами «Свобода Бела Куну»,

он томился тогда в буржуазной тюрьме), она как бы символизировала в моих глазах обрученную с поэзией мятежную стихию. Высоко сказано? Но эти строки, черт побери, пишет поэт, а высокие предметы требуют подчас высоких слов.

Став своеобразным «alter ego» Гидаша, Агнесса ни в чем не поступилась самостоятельностью самолюбивой своей души. Творчески одаренный человек, она стала у нас настойчивым пропагандистом венгерской литературы. Мало того, что она сама дала отличные переложения ее классиков, но ей принадлежит честь сплочения наших хороших поэтов вокруг перевода венгерской поэзии. Мартынов и Самойлов, Заболоцкий и Пастернак вошли в эту добрую орбиту. Сколько было потрачено труда, сколько подстрочников сделано, сколько споров выдержано с упрямыми и своевольными перелагателями! Спорить с мастерами дело трудное, но Агнессе, приобретшей необходимую закалку в общении с Гидашем, эти споры удавались. Венгерская поэзия переведена у нас хорошо, и здесь значительная часть заслуг Агнессы Кун.

Гидаш подарил мне «Господина Фицека», я и раньше читал этот роман, но тут перечитал повторно. Поэты обычно умело пишут прозу хотя бы потому, что привыкли взвешивать каждое слово больше, чем люди, не имевшие отношения к поэзии. Но здесь наличествует всегдашняя опасность. Именно внимание к отдельному слову и его метафорической сущности уводит поэта, ставшего прозаиком, от логической последовательности. Произведение начинает являть вид мозаики, где каждый камешек чересчур притягателен, настолько притягателен, что слишком долго удерживает взгляд, которым ты должен объять всю картину.

Часто такие произведения бывают изумительны, но они уже образуют особый жанр, получивший название «проза поэта». Большой прозой они не становятся. Другой пример легко почерпнуть у классиков. Пушкинская и лермонтовская проза — как бы доказательство от обратного. «Я ехал на перекладных из Тифлиса». Средства поэзии будто и не существовали, поэзия не на поверхности, как в первом случае, а спрятана в глубине. Строгое точное повествование, производившее на современников впечатление суховатости и даже оголенности. Да и позже Лев Толстой, перечитывая Пушкина, обращал на это

внимание. Не в упрек поэту, а, так сказать, в констатацию факта. Дело здесь не только в размерах дарования, хотя, конечно, вкусу Пушкина и Лермонтова можно доверять безоговорочно. И не только вкусу, а, как бы мы сказали сейчас, творческой позиции. Ахматова и Цветаева для меня таланты равновеликие, но вот проза Ахматовой содержит в себе черты пушкинско-лермонтовской традиции, а цветаевская проза являет черты прямо противоположные: хорошо, образно, но — «проза поэта».

Гидашевский роман написан средствами прозы, и мне, склонному думать, что каждый род литературы должен развиваться по своим законам, он сразу показался с лицевой стороны. Придется сделать одну необходимую оговорку. Необходимую, так как перед глазами читателя лежат мои собственные прозаические строки. Придерживаюсь ли я сам этих правил? К сожалению, далеко не всегда. Если слежу за собой — тщательно изгоняю метафоры, выкидываю образы, остерегаюсь эпитетов, стремлюсь к точной прозе. Но чуть дал волю эмоции, всякая строгость летит вверх тормашками и фраза начинает нагромождать образы и сравнения, из которых я с трудом выпутываюсь. Словом, все черты «прозы поэта». Спасает начальная установка: логическую нить я держу в зубах и избегаю оглядываться, чтобы не потерять в кромешном аду образности обнадеживающую Эвридику здравого смысла.

В «Господине Фицеке» поэзия прорывалась в фантасмагоричности образов и фольклорности повествования. Тут я вспомнил очень интересную деталь. Тогда, в 1928 году, была одна книга, читая которую мой великолепный знакомец просто сотрясался от смеха. Это был гашековский «Бравый солдат Швейк», только что переведенный в России. Мне эту книгу читать было рано, но впечатление от нее мне передалось еще тогда. И позже, в сотый раз разворачивая великий роман, я всегда вспоминал гидашевский оглушительный хохот. В фольклорности Фицека проглядывают фольклорные черты, роднящие его со Швейком.

Я останавливаюсь на романе Гидаша не случайно, значение его как писателя переросло рамки стиха. Как многие крупные таланты, он сделал широкие шаги вперед по главным направлениям литературы. Но, естественно, первой и последней любовью для него осталась поэзия.

В эти годы я узнал его как глубокого лирика со строками печальными и нежными, предельно откровенными и предельно проникновенными. Как объемна, как многопланова была эта лирика! Тоска по родине, жгучая и щемящая, соседствовала и переплеталась в ней с любовными мотивами, где юношеское кипение чувств неуследимо переходило в зрелую страсть. Я мог теперь оценить и новаторство Гидаша, его ритмическую полифонию, столкновение противоположных мотивов в музыкальном контрапункте, смелость его метафор и гипербол, перепады интонации. Он все больше вырастал в моих глазах, хотя и прежде я считал его большим поэтом.

Наконец, он возвратился на родину. Изгнание завершилось. Теперь я мог следить за его стихами только издали. Да и за ним самим. Но даже при этой разделенности расстояниями разобщенность между нами возникнуть не могла, слишком многое нас соединяло. Однако судьба любит кольцевые сюжеты не меньше, чем литература. Нет, не захотела судьба прервать переплетение двух биографий, не завязав последний узел. И финал оказался поразительней начала. Восьмилетний мальчик и молодой изгнанник спустя сорок лет встретились в социалистическом Будапеште. Мечта, лелеемая в далеком 1928 году, исполнилась. «Так вот твоя Итака!» — думал я, стоя рядом с седым Одиссеем на веранде его дома и глядя на венгерскую столицу. Чаша Грааля! Как жаждали коминтерновские рыцари прикоснуться к ней пересохшими губами... И вот один из них пьет из этой чаши золотую влагу. Многие погибли на пути к ней, с пробитым щитом, с зазубренным мечом, на то они и рыцари! Многие в далеких землях еще идут к цели. А здесь чаша в руках! В руках освобожденного народа и его поэта.

Песней Коминтерна вошел в мою память 1928 год, с крымским побережьем, залитым щедрым солнцем интернационализма.

Песней Коминтерна вошел в мою жизнь юный Гидаш, соединивший в моем раннем сознании поэзию и революцию.



ЮНОСТЬЮ РАННЕЙ...



— Сегодня мы собираемся к Асееву,— сказал Павел Коган, значительно сдвигая свои загустевшие брови.— Пойдешь с нами?

— Конечно!

Я просто захлебнулся от неожиданности. Какое счастье привалило! Яростный грохот ифлийской перемены перестал существовать для меня. Черноглазая девушка — ах, какие девушки были в ИФЛИ! — отошла от меня, кусая губы: мне стало не до нее. Последние лекции я сидел, ничего не соображая. Потом пошел пешком через Сокольнический парк. Не разбирая дорожек, шагал по сухим осенним листьям. Они не шуршали, а звенели под ногами. Звенели они и на лету, касаясь в случайном полете моих рук, плеч, лица. Звенел весь сентябрьский лес, и звенели во мне моя юность, мое счастье и мои асеевские стихи. Они и впрямь в этот час были моими, я ощущал в них, как свое, каждый звук, каждую паузу.

Простоволосые ивы
Бросили руки в ручьи.
Чайки кричали: «Чьи вы?»
Мы отвечали: «Ничьи!»

Как хорошо!.. Боже... Жаль, что он не существует, а то бы я помолился: сделай так, чтобы я сочинял такие же стихи. Ну, конечно, по-своему, но такие же хорошие...

Мне было восемнадцать лет, я писал стихи и в первый раз в жизни шел на свидание со знаменитым поэтом.

Не помню, как я скоротал время до вечера, не знаю, как провели его мои друзья, но, когда мы встретились у подъезда МХАТа и взглянули друг на друга, каждый участливо посоветовал товарищу: «Право, не стоит так волноваться». Асеев жил в доме напротив, и мы, как говорится, со страхом господним постучались в заветные двери. Послышались быстрые шаги, дверь стремительно распахнулась, у порога стоял Поэт. Да, это был поэт с головы до ног и с ног до головы. Так принято говорить о королях, ну так он и был королем. Он самостоятельно правил в своем самостоятельном государстве, где образы, рифмы и ритмы были его доброхотными и послушными подданными. Мгновенным, но пристальным взглядом охватил он всю нашу маленькую группу, жавшуюся перед дверью, и произнес первое услышанное мной от него слово: «Пожалуйте!»

Пожалуйте в страну поэзии — мысленно договорил я за него. Мы вошли и представились: Коган, Агранович, Лащенко, еще кто-то и я. С этой минуты началось мое знакомство с Асеевым, продолжавшееся четверть века и оборвавшееся лишь с его смертью. После я видел его по-разному: веселым и удрученным, резким и мягким, раздраженным и умиротворенным. С горечью узнавал его состарившимся и больным, отягощенным неизлечимым недугом. Но всегда через наслоение времени и настроений проступали перед моими глазами черты Асеева первой нашей встречи. Непринужденность, легкость и изящество сквозили в каждом его жесте. Движения были резки и порывисты. Он неожиданно менял позы, то облокачивался, то, наоборот, откидывался в кресле; то пружинисто вставал, то так же внезапно садился. Но резкость и порывистость не являли даже признака неуклюжести. Удивительно легким казался этот сухощавый, стремительный человек. Неуемный темперамент жил в нем, сухое горенье без чада и копоти все время обжигало его душу.

Ему тогда еще не было пятидесяти лет и седина была малоприметной: даже пожилым человеком его нельзя было назвать. Породистое лицо — тонкое и нервное — освещалось ясными и, я бы сказал, любопытствующими глазами. Именно «любопытствующими» — как истинный

поэт он был наделен даром не только удивлять, но и удивляться. Радостно и самозабвенно удивлялся он всякому новому явлению, в котором угадывал ростки будущих свершений. Он был увлекающимся человеком и в пристрастиях своих шел до конца.

В тот памятный мне вечер Асеев был весел, радушен и исполнен доброжелательности. Расспросив нас — кто мы и что мы,— он предложил начать читать стихи. «Это вы говорили со мной по телефону? — обратился он к Когану.— С вас и начнем». Павел помрачнел, насупился и стал читать свои лучшие стихи. Читал он, как всегда, превосходно — это была, разумеется, не актерская манера чтения, а своя собственная, поэтская, но восприятию его стихов она способствовала как нельзя лучше. Когда он читал, у меня возникало ощущение того, что медленно и неуклонно распрямляется сжатая под огромным давлением металлическая спираль. Он читал свою «Грозу», и, когда она у него «вдруг задохнулась и в кусты упала выводком галчат», Асеев улыбнулся и сказал: «Хорошо». Павел, приободрившись, с подъемом окончил свое программное:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

Потом он прочитал еще два стихотворения, и в одном из них Асеева остановила строка: «И лежал поэт на пустом, как тоска, берегу». Он воспользовался ей, чтобы высказать свои воззрения на предметность поэзии. «Видите ли,— сказал он, наклоняясь к Павлу, но и нас не выпуская из поля зрения,— такое сравнение предполагает определенную систему поэтики, которой вы, к счастью, не придерживаетесь. Художественный принцип Маяковского, а следовательно, и мой, совершенно противоположен. Поэзия должна быть зримо предметна. Сравнивайте отдаленное с близким, абстрактное с вещественным, отвлеченное с видимым, но никогда не наоборот. Поэт-символист мог бы по праву сравнить берег с тоской. Такое сравнение соответствовало бы поэтике этого течения. Определение реальности, исходя из ирреальных понятий, являлось одним из признаков философского идеализма, который исповедовали символисты. Мы поставили поэзию на землю, и если говорить о сравнениях, то они у нас зримы и осязаемы, их можно потрогать рукой, не то что

вашу тоску. Возьмите наудачу любые стихи Маяковского. Ну, хотя бы «Заграничную штучку» из его парижского цикла.

Париж,
как сковородку желток,
заливал
электрический ток.

Точно сказано! Накал ламп десять лет назад был меньше, чем теперь. Желтый электросвет заливает горячую сковородку Парижа. А Париж в этих стихах действительно раскален жарой и похотью. И вот абсолютно точный образ воссоздает перед вами всю картину. Для символистов такой образ был недоступен, не потому что они были бесталанны, а потому, что исходили из другой, отвергнутой нами поэтики. Вот где зарыта собака,— расхохотался он.— И, пожалуйста, не вырывайте ее сызнова».

Эту маленькую лекцию я запомнил почти от слова до слова и воспроизвожу ее здесь так, как она осталась у меня в памяти. И надо отметить, что подобных лекций, импровизированных по случайному, казалось бы, поводу, я услышал от него потом немало. Асеев был блестящим знатоком стиха, его емкая память вмещала тысячи строк от «Слова о полку Игореве» до современных поэтов. В подтверждение какого-либо положения он извлекал из этого арсенала подходящее моменту оружие, начиная с былинной палицы и кончая пулеметом Кирсанова. Я обращаюсь к таким образам не случайно — анализы и построения Асеева имели всегда активно наступательный характер.

В то время мы ловили каждое его слово на лету. Его устами — нам казалось — вещал сам Маяковский. Конечно, это было далеко не так, Асеев всегда оставался Асеевым, но отзвук не услышанного нами громыхающего голоса доносился сквозь его речь.

Потом прочли свои стихи Евгений Агранович и Костя Лащенко. Ни тот, ни другой не стали потом профессиональными поэтами. Но Женя тогда считался среди нас едва ли не самым «техничным», а в Костю мы твердо верили, как в будущего серьезного лирика. Подчеркну, что мы вообще верили друг в друга.

Паровоз летит, как шалый,
Распалившийся и злой,

На ошпаренные шпалы
Пышет паром и золой...

С каким-то веселым отчаянием читал Женька, мотая в такт движения стиха и паровоза своей взлохмаченной башкой. Концовку он вывел уже на сплошном перескоке зубных и задненебных:

Ты жестокая такая,
Только б выбраться из бед,
Там под токами токая
Смою память о тебе...

— Экий павлиний хвост! — заулыбался Асеев.— Но бойко, весело и умело. Даже слишком умело. Причем умелость еще поверхностная. Звукоподражание — нехитрая штука. Современники когда-то восхищались «Камышами» Бальмонта. А это была безвкусица поразительная: подобрал человек слова на «ш» и загнал их, не заботясь о других диссонирующих согласных, в один звуковой ряд. У вас лучше, чем у Бальмонта,— утешил он Аграновича,— но это не ваша заслуга, а заслуга всей поэзии. Она шагнула далеко вперед от бальмонтовского примитива, и вы сделали этот шаг вместе с ней. Как это у вас? «На ошпаренные шпалы пышет паром и золой»? Совсем неплохо. Когда-то я писал, что талантливость поэта есть мера чуткости его звукового слуха. Может быть, это сказано чересчур категорично, но, во всяком случае, звуковая чуткость — одно из качеств природного таланта. У Пушкина она была развита в высшей степени. Вспомните:

...И говор балов,
А в час пирушки холостой,
Шипенье пенистых бокалов,
И пунша пламень голубой.

Какая щедрая и органичная инструментовка! А звукоряды Маяковского?

Ветер подул
в соседнем саду.
В ду-
хах
про-
шел.
Как хо-
рошо!

Прочел он так, что в комнате и впрямь запахло духами.

После Аграновича поднялся со стула Лащенко. На редкость обаятельным пареньком был тогда Костя. Он приехал в Москву из Донбасса и весь светился любовью к людям и к поэзии. Было в нем некое простодушное лукавство, с которым он избегал ненужных ссор и столкновений, но, когда доходило дело до главного, он становился неожиданно жестким и непримиримым. Стихи он писал неумелые, но в них была неподдельная лиричность. Для меня до сих пор остается психологической загадкой, почему он отказался от поэзии,— люди такого склада слабо ли, сильно ли, но привержены к ней обычно до конца жизни. С мягким придыханием Костя читал:

Мы с тобой годами разошлись.
На одно березовое лето,
Может, только больше у тебя
Номер комсомольского билета...

Асееву понравились эти строки.

— Какая верная примета времени и как она здесь естественно появилась,— искренне обрадовался он.— Ведь действительно вы старше ее на несколько месяцев и раньше ее вступили в комсомол. Но главное, что этот образ мог возникнуть только в наше время и только у человека, для которого его комсомольство так же органично, как само его существование. А то пишет молодежь стихи, и неизвестно, гимназию она кончает или советскую десятилетку. Здесь же без фанфар и барабанных палочек прозвучала органическая нотка. Молодец. Но стихи вам надо поучиться писать: в одном месте рифмуете подряд, в другом через строку. Эдак не годится.

Дошло дело до меня. Я волновался мучительно, до головокружения. Мне казалось, что я пишу стихи не хуже, чем Костя и Женя. По-другому, но не хуже. А вдруг окажется, что лучше? Вдруг Асеев поразится появлению нового таланта? Скажет веские и значительные слова и поздравит меня с блестящим началом? Или разругает вдребезги, произнесет беспощадный приговор, отсоветует вовсе писать стихи? Но нет, этого не может случиться, у меня есть что ему показать! Так я переходил от надежды к отчаянию и от отчаяния к надежде, ожидая своей очереди. И вот наконец я стою посредине комнаты, вцепив-

шись помертвелыми пальцами в спинку стула, и читаю свои стихи.

Господи! Что я читал! До сих пор, как вспомню, обжигающий стыд охватывает мою огрубевшую в литературных поединках душу. Но без шуток: я и впрямь при этом воспоминании заливаюсь краской, как будто мне снова восемнадцать лет. «Песня юнги» — так назывались эти бесподобные стихи. Весь набор псевдоромантических и псевдоморских штампов был израсходован на них без остатка. «Синеглазый вечер... Девушки... Прощанье... Сумрак зажигает в гавани огни...» И т. д. и т. п. Были там и «вспененные волны», и «бесшабашный ветер», и конечно же «синие просторы». Но всю эту белиберду я декламировал с неподдельным пафосом, разгораясь по ходу чтения все больше и больше. Но тут произошло чудо! Асеев встал с кресла и как завороженный, не сводя с меня глаз, стал пятиться к двери в спальную. Лицо его выражало неподдельный восторг, он просто пожирал меня глазами. «Понравилось! — обожгла меня ослепительная догадка.— Понравилось, черт побери!» Асеев наткнулся спиной на дверь и ухватился за косяк, по-прежнему не отрывая от меня восхищенного взгляда.

— Оксана! — позвал он.— Оксана, иди скорей сюда...

«Зовет жену... Вот так успех... Ах, как здорово!..» — мелькало в моей помутившейся голове. В комнату вбежала Оксана — та самая, что «шла ветрами по весне» в знаемых наизусть стихах, а в жизни милая и добрая Ксения Михайловна.

— Оксана! — возопил Асеев.— Ты посмотри, какие у него глаза! Ка-кие глаза, умереть можно!

Все во мне оборвалось. Я пробормотал последние строчки злосчастной «Песни» и умолк. Меня тормошила Ксения Михайловна, весело хохоча и говоря какие-то женские приятности; радостно шумел хозяин дома, повторяя сакраментальную фразу; неразборчиво гудели ребята, отнюдь не понимая размеров обрушившегося на меня несчастья. А я стоял среди этого шума и смеха — доброго шума, доброго смеха! — и готов был провалиться сквозь паркет. С последней надеждой и с начинавшимся отчаянием я вскидывал глаза — «какие глаза!» — то на Асеева, то на Ксению Михайловну, то на друзей...

Ни слова о стихах!

И даже в передней, когда, прощаясь, я все же заик-

нулся: «А как вам мои стихи?» — Асеев опять дернул за руку Оксану и с обидным восхищением повторил:

— Нет, ты посмотри, какой парень. Глазищи-то, а? Смерть девчонкам!

С тех пор прошло много лет. Со спокойным сочувствием смотрю я на худощавого широкоплечего парня, который, отделившись от друзей, размашисто шагает по ночной Москве. Он смаргивает слезы, но не вытирает их, совсем еще юнец. Но вот он остановился и с размаху ударил кулаком о фонарный столб.

В эту ночь он изорвет в клочки три тетради, исписанные сверху донизу. Он попробует начать все сызнова. В восемнадцать лет это не кажется невозможным. И все же это трудно даже в восемнадцать. Ведь как писать по-другому, он еще не знает. Он знает лишь, что так писать, как до сих пор, он не будет.

Вот что наделала одна фраза Асеева! Оглядываясь назад, я не могу не позавидовать Николаю Николаевичу. Вряд ли кто-нибудь из моего поколения сможет не только что одним словом, а одной лишь «фигурой умолчания» вызвать подобный душевный переворот в каком-нибудь абитуриенте.

С Асеевым после я встречался много раз. Уже через год он обрадовал меня до умопомрачения, сказав про свеженаписанное всего два слова. «Это — стихи». Утвердительная интонация показала мне, что я стучусь не в глухую дверь.

МИХАИЛ КУЛЬЧИЦКИЙ



Трудно передать ощущение предвоенной молодости. Полная внутренняя несвязанность в жестких рамках внешней дисциплины. Беззаботность в частностях с целеустремленностью в главном. Замах на огромные задачи, пренебрежение к повседневным заботам. Поиски легенд в прошлом, угадывание их в будущем. Все это вместе можно назвать, наверное, романтикой молодости. Молодости, имеющей точный адрес: Москва накануне войны.

Теперешние определения носят поневоле общий характер. Абстрагирование возникает на многоверстном и многолетнем расстоянии. Человек, побывавший в Тюмени, Иркутске, Магадане, говорит: «Был в Сибири». Если разговор продолжится, расскажет, какие места он видел. Наш разговор только начат, и я попытаюсь объяснить его начальные положения на живом примере. Пример действительно живой, хотя человек, стоящий за ним, давно ушел из жизни.

В 30-е годы Москва была намного меньше столицы 70-х годов. То же можно сказать о Москве литературной, она была малочисленнее и обозримей. Молодые поэты легко находили друг друга внутри кольца «Б» и в студенческих общежитиях за его пределами — Останкине, Усачевке, Стромынке. Помогали сближению издательства и редакции, при которых были организованы литературные кружки и объединения. Гослитиздат, «Комсо-

мольская правда», «Огонек», «Октябрь» стали местами постоянных встреч поэтической молодежи. Твердого прикрепления не было, мы регулярно посещали гослитиздатское объединение, а когда заблагорассудится, слушали и читали стихи в других кружках. Когда заблагорассудится! Кроме духовной пищи приходилось думать о материальной, попросту говоря, о еде. С большей или меньшей щедростью ее обеспечивали литкружковцам шефские организации. Москвичей, в том числе меня, это занимало меньше, чем приезжих, обеды и ужины нас ждали дома. Но провинциалам редакционные чаи были немалым подспорьем. И бутерброды в «Комсомолке» или «Огоньке» трезво включались в студенческий бюджет.

С Кульчицким я познакомился скорее всего на одном из таких поэтических вечеров. Почему «скорее всего», а не более определительно? Да потому что в памяти сохранилась непрерывность знакомства. Без начала, а пожалуй, и без конца. Не помню, как встретились, не помню, как расстались. Вот с Павлом Коганом или Георгием Суворовым момент первого знакомства отложился в памяти четко, до этой минуты не знал, с этой минуты узнал. А здесь — нет. Ощущение постоянного присутствия. Оттого, наверное, и не поверил в его гибель. И заявил об этом в стихах настолько уверенно, что на меня даже начали ссылаться: «А вот утверждают...» Но об этом после.

Воспринимался Кульчицкий как явление крупное и обещающее. Прежде всего — крупное: надежды подавали многие, но уверенность в их исполнении колебалась. Он же сомнений не вызывал. Писал порой плохо, чаще хорошо, иногда — отлично, но сквозь все стихи проходила одна равнодействующая линия. Линия серьезного таланта. Одарен он был стихийно, образность являлась его природным свойством, ощущение слова — врожденным. Последнее для него было особенно важным. Он рос на стыке двух языков — украинского и русского. Переводчики знают, как трудно добиваться точной передачи смысла в близко звучащих словах. Малейшая ошибка — и пропадают колорит, оттенки, нюансы. А разность ударений! Писать стихи по-русски мальчику, обучавшемуся в украинской школе, намного труднее, чем ребятам, получавшим навыки родной речи в глубине России. Но то, что

составляет препятствие для одного, становится опорой другому. Над ошибками Кукольника потешались, речь Гоголя вызывала восхищение. Между тем оба и в одно время учились в Нежинском лицее. Кульчицкий принадлежал по рождению к старинной русско-украинской интеллигенции. В роду его были ученые, писатели, общественные деятели. Русский и украинский языки он знал с пеленок, и они счастливо дополняли друг друга в его поэтической речи. Лучшим примером будут его стихи, где соединяются «русское до костей», «советское до корней» и «украинское тихое слово».

И пусть войдут
и в семью и в плакат
слова,
как зшиток
(коль сшита кипа),
как травень в травах,
як липень
в липах,
та й ще як блакитные облака!
О, как
я девушек русских прохаю
говорить любимым
губы в губы
задыхающееся «коххаю»
и понятнейшее слово
«любый».

Замечу, что в молодости мы учились не только у старших, а — в еще большей степени — друг у друга. И я в своих «Польских стихах», где языки близких народов соединяются в общем славянском русле, все время мысленно оглядывался на Кульчицкого. Приведу, как параллель, хотя бы такие строки:

Перед вислинскими мостами,
Вспомнив речи забытой звон,
Снова губы зовем устами
И очами глаза зовем.

Принцип один и тот же.

Кульчицкий любил ссылаться на Хлебникова как на одного из своих учителей. Думается, что ближе всего ему была языкотворческая стихия поэта. Она отвечала собственным устремлениям Кульчицкого, упорно раздвигавшего свой речевой горизонт.

Однако наиболее заметным истоком стихов Михаила Кульчицкого была поэзия Маяковского. Никто из нас, конечно, не мыслил себя без нее, но Кульчицкий и Луконин каждым новым стихотворением подтверждали свою близость к поэту, которого мы считали «первым из первых».

Люди, близко знавшие Маяковского, говорили, что Михаил напоминает им поэта времен «Облака в штанах» и «Флейты-позвоночника». Ранние портреты «красивого, двадцатидвухлетнего» действительно несут признаки сходства. Однако без всяких сравнений крупная выразительность черт, сосредоточенность тяжеловатого взгляда, эдакая свободная громоздкость — вот что сразу запоминалось в Михаиле. Но сосредоточенность то и дело разгрохатывалась в смехе, тяжеловатость сменялась насмешливостью, громоздкость переходила в изящество. Кульчицкий был, что называется, видным человеком, и, где бы он ни появлялся, на него обращались взгляды. Помогал тому и высокий рост.

Для талантливых людей многое значат хорошие образцы. Бесталанных они могут погубить вконец. Говорю, конечно, о поэзии, расширительного значения придавать моему определению нельзя. Я знал многих подражателей Маяковского и Есенина, всегда это было грустное зрелище. Одни все время ходили на цыпочках и, несмотря на природный дискант, говорили басом, другие... даже вспоминать не хочется.

Образцом для Кульчицкого был Маяковский. Внешним и внутренним, поэтическим и политическим. Впрочем, с оговорками в отношении к поэзии. Здесь вносились дополнения и поправки за счет других учителей — Хлебникова, Пастернака, Сельвинского. Меньше всего чувствовался Пастернак, разве что иногда в синтаксисе. Есенин тоже откладывался: человек с образным мышлением, да еще богатый эмоционально, пройти мимо него не мог. «Есенинские голубые стихи» недаром вспомнены Кульчицким в «России». Но Маяковский, повторяю, был постоянным образцом. Стихи о нем, носившие подзаголовок «Последняя ночь государства Российского», читались Михаилом как программные на всех поэтических вечерах. Действие в стихах происходит в ночь штурма Зимнего, и слова Маяковского «эхом в далеких ночах» поддерживаются «Авророй».

Маяковский воспринимался Кульчицким прежде все-

го как поэт коммунизма. В то время вокруг Маяковского вспыхивали споры, любовная лирика противопоставлялась политической. Для нас, и в первую очередь для Михаила, разнотолкований не было. Поэзия Маяковского ощущалась единым целым с партийно-советской доминантой. Наиболее серьезным свершением Михаила Кульчицкого была поэма «Самое такое». Под ее названием в скобках стояло — стихи о России. Поэма удивительная по размаху, душевному простору, пространственному воображению. И удивляющая до сих пор почти пророческой точностью главных поэтических формулировок. Соотношение патриотизма и интернационализма, диалектическое их единство — основная тема поэмы. Для нас тогда, накануне войны, этот вопрос имел первостепенное значение. И стихами Кульчицкого мы сами себе ответили на него.

В напряженной тишине аудиторий звучали тревожные строки, чтобы взорваться громом аплодисментов.

Уже опять к границам сизым
составы
тайные
идут,
и коммунизм опять
так близок —
как в девятнадцатом году.

Слава, пропетая России в начальных строфах поэмы, разрасталась в апофеоз интернационализма, поднятого на знамя «поколением Ленина». Наша отчизна виделась в стихах:

как зерно,
в котором прячется поросль,
как зерно,
от которого начался колос
высокого коммунизма.

Трудно поверить, что еще накануне войны двадцатилетний парень мог, глядя в далекие годы, со спокойной уверенностью сказать:

Только советская нация
будет
и только советской расы люди.

Ощущение советского народа как новой исторической общности людей вызревало в нашей стране на протяже-

нии всей ее послеоктябрьской истории. И строки Михаила Кульчицкого — одно из сильных тому свидетельств и подтверждений.

Здесь, чтобы резче начертить главную линию поэмы, я поневоле опираюсь на ее основные формулировки. В самой же поэме поэтическое разрешение темы дается в соединении разноязычных слов, во взаимопереходе лирических объяснений, услышанных и угаданных на разных концах земли. «Вокругшарный ветер» веет над родиной коммунизма, слияние патриотической и интернациональной идеи становится настолько полным, насколько оно было полным в золотых ребятах сорок первого года.

Михаил Кульчицкий был человеком больших мерок, и с этими мерками подходил он ко всякому явлению. Предвоенная молодость романтизировала действительность, прошлое и будущее, самое себя. Но тут же отталкивалась от романтики, страшилась прослыть сентиментальной, подсмеивалась над выспренностью и ходульностью. Быстрым поветрием прошел над ней Багрицкий, после финской кампании произошло резкое отталкивание от него. В значительной степени несправедливое: покойный поэт был, конечно, неповинен в розово-голубой интерпретации своей поэзии. А именно такую окраску придавали ей восторженные эпигоны 30-х годов.

Кульчицкий романтику брал по большому счету, взглянув на нее просторным взглядом. «А я — романтик. Мой стих не зеркало — а телескоп». И дальше: «Я романтик — не рома, не мантий, не так, я романтик разнаипоследних атак». Довольно точное самопрограммирование. Телескопичность вбирала в себя укрупненность восприятия, широту охвата событий, намеренную гиперболизацию чувств и действий. «Разнаипоследние атаки» виделись где-то на «речке Шпрее», пророчески заблиставшей в стихах Павла Когана. Молодые поэты тогда все время дополняли друг друга, ощущение событий было общим, предвидения опирались на него. Кстати говоря, чувство общности поколения вгнездилось во всех нас очень глубоко. Теперь уже можно сказать — навсегда. Михаил посвятил стихи не вернувшемуся с финской войны Н. Турочкину (Отраде). Они заканчиваются строками:

Война не только смерть.
И черный цвет этих строк не увидишь ты,
Сердце, как ритм эшелонов упорных:
При жизни, может, сквозь Судан, Калифорнию
Дойдет до океанской, последней черты.

Я повторил эти строки в Лос-Анжелесе. Позади был Судан, где мне пришлось незадолго перед тем побывать. Вокруг расстилалась Калифорния, впереди — Тихий океан. Рядом стоял Михаил Луконин, ближайший товарищ Коли Отрады, свидетель его гибели. Прозвенела печальная и торжественная нота. Поколение пронесло эти стихи, память о своих чудо-первенцах «до океанской, последней черты». Не при жизни Отрады и Кульчицкого, но при жизни луконинской и моей. А это, собственно говоря, одно и то же.

Михаил Кульчицкий был родом из Харькова, и в сравнении с ним мы чувствовали себя северянами. Но у него впрямь была совсем другая манера держать себя, чем у нас. Он был непосредственнее, веселее, остроумней. Павел Коган остроты ценил, но сам острить не умел, шутки его носили тяжеловесный характер. Земляк Миши — Борис Слуцкий — острил резко и порой обидно. Кульчицкий беспрестанно сыпал шутками, остротами, веселыми россказнями, но все это напоминало дружескую толкотню в студенческом коридоре во время перемены. Постаревшие сверстники его до сих пор вспоминают о нем оглушительно смешные истории, но их нелегко перенести на бумагу, оставим их для посмертных мемуаров.

Внутренняя несвязанность и жесткая дисциплина — так я начал свой рассказ. Речь идет, прежде всего, о самодисциплине. Литературный институт строгостями не отличался. Директором тогда был Андрей Лукьянович Жучков — человек мягкий, добрый, покладистый. Единственно, чем он тревожился,— локализацией студенческих выходок. Лишь бы не узнал Фадеев, а там — трава не расти. Последний год перед войной я был секретарем комсомольского комитета, вначале вторым, потом первым, и являлся, так сказать, представителем студенческой массы перед директорскими очами. Все конфликтные дела решались с моим участием. И способ их решения был, в общем, однозначен. «Гнать за такие вещи нужно. Беспощадно гнать из Литинститута».— «Талантливые люди, Андрей Лукьяныч...» — «Все здесь талант-

ливы. Узнает Фадеев, голову с меня снимет».— «Не узнает. Я с ними поговорю, чтоб не болтали. А мы их по комсомольской линии пропесочим».— «Ну, разве что так...»

Несколько раз попадался Кульчицкий. Однажды он проштрафился слишком уж сильно. Жучков не поддавался ни на какие уговоры. Тогда я посоветовал: «Вы не человек, а кремень. Раз ничем вас не поколеблешь, пишите приказ об исключении и положите его в ящик. Получит история огласку, вы его прикрепите на стенку, не получит — порвете». Кремень дал трещину, об истории никто не узнал, приказ не появился. Патриархальность нравов кажется теперь легендарной.

Со стороны мы выглядели, наверное, незанятыми людьми. Посещение лекций полусвободное, за пропуски никто не берет за шиворот, ограничиваются замечаниями. Вечера — чтение стихов — либо на литобъединениях, либо в общежитии, либо на квартирах. Стипендии и случайные получки за чтением стихов уполовиниваются в шумных заведениях, прежде всего в известном баре номер четыре на Пушкинской площади. А тут еще первые встречи и первые расставания с единственными и неповторимыми на бульварах, у памятников, в театральных подъездах. Долго спустя я вспомнил об этом времени в коротком стихотворении «Снегопад»:

Ах, как он плещет, снегопад старинный,
Как блещет снег в сиянье фонарей.
Звенит метель Ириной и Мариной
Забытых январей и февралей.

Звенит метель счастливыми слезами,
По-девичьи несведуще звенит,
Мальчишескими крепнет голосами,
А те в зенит... Но где у них зенит?

И вдруг оборвались на верхней ноте,
Пронзительной, тоскливой, горевой...
Смятенно и мятежно, на излете
Звучит она над призрачной Москвой.

А я иду моим седым Арбатом,
Твержу слова чужие невпопад...
По переулкам узким и горбатым
Опять старинный плещет снегопад.

Стихи, как всегда, лучше передают ощущение «призрачной Москвы», которое я с трудом пытаюсь передать в прозе. Мальчишеские голоса действительно поднимались в зенит и впрямь оборвались на верхней ноте. Верно ли чувство «призрачности»? Для меня, как это ни горько, да, верно. Когда наугад я пробую вспомнить тот или иной предвоенный день, память все время сталкивает меня с милыми тенями. Вот со Львом Коганом (однофамилец Павла) мы поднимаемся от Охотного ряда вверх по улице Горького. «Зайдем к Севке Багрицкому?» — «Я с ним не знаком».— «Большое дело! Познакомишься». И мы стучимся в дверь дома по проезду МХАТа, нам открывает заспанный темноволосый паренек: «Умаялся после репетиции, вздремнул, хорошо, что разбудили». Мы знаем, что репетиция шла в Арбузовской студии, о которой уже идет разговор по Москве. Севка начинает с жаром рассказывать о ней, круглое лицо оживляется, он гормя горит «Городом на заре» — первой и последней пьесой юного театра. Мы сами через несколько дней встретимся с молодыми артистами. «Моя всесветная родня повсюду пробует дороги»,— пишу я в то время. Всесветность пока замыкается в кольце «Б», но не перестает для нас ощущаться именно всесветностью. Потом начинаем читать стихи. Севка свои страшно воет, но, не смущаясь, заявляет, что как раз так читал его отец. Наша ирония окрашивается в почтительность: «Сам Багрицкий!» Это еще до «отталкивания» от него. Стучатся в дверь. После короткого разговора в передней наш юный хозяин появляется с кошелкой. «Юрий Карлыч зашел, принес молока, будто я маленький. У меня кое-что покрепче есть». И, поставив кошелку на пол, тянется за книжный шкаф, вытаскивает «Цинандали». На Олешу мы молимся и досадуем, что не выскочили вместе с Севкой в переднюю, хоть краем глаза поглядеть на автора «Зависти». Пьем легкое вино, за окном зимний вечер, медленно падает снег.

Никого из них давно нет на земле. Призрачный вечер, призрачная Москва. И все-таки все во мне протестует против своего собственного определения! Ведь этой призрачностью наделили живых людей только годы. А их можно снять, как покрывало с зеркала, и, раздвинув стеклянную поверхность, войти в зазеркальный мир. Войти, наскоро пожать горячие руки друзей, с полуслова

продолжить прерванный разговор. «Пойдем к Павлу, Миша»... И Кульчицкий не ответит, что тот лежит под Новороссийском, и не скажет о себе, что трудно встать из приволжской земли. Он просто откликнется: «Пойдем».

Путешествие в зазеркалье — не такова ли встреча с молодостью в моей памяти? Тоже печально, но печаль словно вечернее облако, темное посредине, светлое по краям.

Возвращусь, однако, к повествованию. Видимость незанятости была только видимостью. Борис Слуцкий в своем предисловии к посмертному сборнику М. Кульчицкого «Самое такое» тысячу раз прав, говоря о трудолюбии своего давнего товарища, о его ежедневной четырнадцатичасовой работе. Непрестанный труд, перечеркнутые строки ложились на перечеркнутые и покрывались свеженаписанными. Стихи, стихи, стихи. Десятки, сотни, тысячи прочитанных страниц. Столбцы заученных наизусть строф. И — следствие жизненной необходимости — работа на стройке, на сортировочной станции подсобником и грузчиком. Надо было прирабатывать, денег всегда не хватало; каков бы ни был литинститутский режим, нужно было учиться, готовиться к зачетам, сдавать экзамены. Выручала жесткая самодисциплина, без нее все бы рассыпалось. И эта самодисциплина была в высшей степени свойственна Михаилу Кульчицкому.

Была она присуща и другим. Всем нам, хотя, может быть, в меньшей мере, чем Мише. Тот же Борис Слуцкий одновременно учился в Юридическом институте, Литинститут был его вторым вузом. Павел Коган преподавал историю в одной из московских школ. Другие ребята тоже не сидели сложа руки. Это, конечно, сверх каждодневной, чуть не круглосуточной (некоторым даже во сне снились стихи) поэтической работы. И потом у каждого были свои планы, реализация которых тоже заполняла время. Недавно, роясь в старых бумагах, я наткнулся на свое давнее расписание. Чего только в нем не было! Стадион — сдать оставшиеся нормы ГТО II степени. Парашютный кружок. Музей западной живописи — остановиться на Гогене. Экзамен по русскому театру 18 в. в ГИТИСе. Свидание с Н. Литкружок в Гослитиздате. Чтение стихов на семинаре Сельвинского. Вечеринка в усачевском общежитии (перечень участников). Дописать

главу в поэму. Комсомольское собрание. Все здесь перемешано — стадионы, свидания, музеи, стихи, все разбросано на несколько дней, все успевалось.

Очень много читали, ходили по музеям, концертам, спектаклям. Занимались военизированным спортом: «Пригодится в будущем!» Спорили на вечерах и вечеринках, на литкружках, семинарах, собраниях. Умудрялись при этом учиться в нескольких институтах. Успевали влюбляться и звенеть стеклом на студенческих пирушках.

Если выделить в этой кажущейся пестроте одну главную линию, она найдется без труда. Постоянным фоном нашей жизни была подготовка к войне. Война входила в наше сознание как некая непререкаемость. Год-два, но обязательно начнется. Пакт с Германией никого в заблуждение не вводил. 22 июня, конечно, явилось неожиданностью, но приближение грозы ощущалось всеми. Многие ожидали ее осенью, после уборки урожая. Все повернулось иначе.

По трагическому совпадению, стихов того времени больше всего осталось именно от Павла Когана, Николая Майорова, Михаила Кульчицкого, погибших после на фронтах. Многие строки Михаила затерялись. Не говоря уже о тетрадях стихов, пропавших в военном училище, исчезли стихи, которые читались им повсюду. Помню, весной сорок первого я спорил с Мишей по поводу его стихотворения «Нестор-нетописец». Стихи были хлесткими, веселыми, остроумными. Летописцу XI века доставалось с позиций XX за искажение истинных событий. Поэтому «нето», а не «лето». Мы стояли в литинститутском дворике, солнце било в глаза, я корил Кульчицкого за исторический нигилизм, он, хохоча, огрызался. В посмертных публикациях я этих стихов не встречал.

Сколько бы он мог написать! Последние сохранившиеся его строки были горько строгими:

Не до ордена.
Была бы родина
с ежедневными Бородино.

«Ежедневные Бородино» начались после его гибели. Над ним уже тогда стоял «мрамор лейтенантов, фанер-

ный монумент» где-то в приволжских степях. Долго не верилось, что это так.

Я верю: невозможное случится,
Я чарку подниму еще за то,
Что объявился лейтенант Кульчицкий
В поручиках у маршала Тито.

Невозможное не случилось, и строки, написанные мной спустя год после смерти Кульчицкого, остались свидетельством еще одной неоправдавшейся надежды.

А теперь о надеждах оправдавшихся. Михаил Кульчицкий по своим задаткам яркой поэтической талантливости, соединенной с дьявольской работоспособностью, мог бы занять одно из первых мест в нашей поэзии. Этому помогли бы такие качества, которые встречаются в сочетании крайне редко: природное чувство слова и ритма, широкий мыслительный горизонт, живое ощущение современности. Но и то, что он успел сделать, весьма значительно. Среди поэтов своего поколения он наиболее четко и объемно воплотил в поэзии единство патриотической и интернационалистической идеи, характерное для предвоенной молодежи. Поэзия Кульчицкого не стала самозамыкающимся явлением, ее живыми соками питалась вся поэзия фронтового поколения.

А можно —
долго мечтать
про коммуну,
а надо думать —
только о ней,
и необходимо
падать
юным
и — смерти подобно —
медлить коней!

Почему же все-таки «необходимо»? Никак не хочется с этим смириться...



«ТОЛЬКО ЧУТОЧКУ ПРИЩУРЬ ГЛАЗА...»

«Куба, о. Пинос, Четверг.
13.VI.74 г.

На берегу Карибского моря, «флибустьерского, дальнего, синего...». В холле небольшого отеля, построенного еще американцами при Батисте, целую стену занимает грубоватая мазня, изображающая высадку на берегу острова пиратского экипажа во главе с одноногим Сильвером. Конечно, это позднейшая привязка истории к литературе. У Стивенсона ищут сокровища Флинта. Они, по легендам, погребены на одном из подобных островов. Пинос, судя по материалам местного музея, был одним из центров пиратских операций. Отсюда стрела, соединяющая стивенсоновский роман именно с этим островом. Впрочем, на эту роль претендуют и другие места, например о. Кокос в Тихом океане. Но это уже большая натяжка. В стивенсоновские времена Панамский канал еще не существовал, а путешествие вокруг мыса Горн никак не отражено в романе. А о. Пинос впрямь подходит для развертывания действий его героев. И не только романа, а и павла-коганской «Бригантины»:

Только чуточку прищурь глаза...

А море действительно синее, пальмы в уровень балкона топорщат свои веера, мерно шумит кондиционер в номере. Вчера по пути сюда заехали в кокосовую рощу.

Старик сторож своим мачете срезал верхушки орехов, и я впервые пил кокосовый сок. Это прелесть что такое! Перед тем мой товарищ по поездке, азербайджанский поэт Фикрет Годжа, продемонстрировал изрядную ловкость, взобравшись на пальму и сорвав с нее полдюжины орехов. Один из них сейчас передо мной на столе.

Потом пиво, вкусное и холодное, и концерт небольшого джаза перед заезжими путешественниками в пустынной таверне на берегу черного пляжа. Песок — черный, и в этом тоже есть нечто небывалое».

Это — одна из сотой части кубинских наблюдений, несколько абзацев из записной книжки. Куба остается в памяти страной революционного энтузиазма, победоносного терпения, пламенного коммунизма. Романтика, а ею проникнут каждый шаг молодого государства, окрашена там в алые тона. Но при чем же здесь одноногий Сильвер, встающий дорожным знаком на всех перекрестках Пиноса? Почему музей в Новой Хирене заполнен репродукциями флибустьерских кораблей? Это просто память о далеком отрочестве острова. Отрочестве цветном и буйном, жестоком и кровавом. Такая же память, как каменные бастионы испанской крепости в Гаване. Кто из них был хуже — колонизаторы или флибустьеры? Одни других стоили.

Но это — если к делу подходить всерьез. А так — разве лишь твердолобых пуристов возмутят страницы Марка Твена, где Том Сойер именует себя «Непобедимым мстителем испанских морей», а Джо Гарпер «Джеком Кровавой Рукой». Смех и грех, но томсойеровщина живет до седых волос чуть ли не в каждом взрослом мужчине. Популярность приключенческого жанра одно из постоянных тому свидетельств. Любительниц такого жанра среди женщин вы встретите очень редко.

«Бригантина» Павла Когана с неожиданной силой распустила свои паруса в конце 50-х годов над нашими градами и весями. Появились клубы, кафе, ансамбли под ее девизом. Апогей ее известности — середина 60-х. Повторяет знакомый мотив зубной врач над моим раскрытым ртом. В Феодосии репродуктор на площади азартно напоминает: «Надоело говорить и спорить». На лесовозе, когда мы идем из Усть-Камчатска на Командоры, судовое радио продолжает: «И любить усталые глаза». Бог знает что!..

Помнится, мы, сверстники и товарищи Павла, были несколько озадачены таким внезапным успехом давней песенки. После своего рождения она едва вышла за пределы дружеского кружка: ни МИФЛИ, ни Литинститут — вузы, где учился Павел,— не сделали ее своим гимном. Не стала она ни застольной, ни прощальной на Стромынке и Усачевке — в студенческих общежитиях той поры. А тут — откуда что взялось...

Замечу, что поздний успех «Бригантины» оказался синхронным позднему успеху творчества Александра Грина. Здесь, конечно, легко нащупать соединительные звенья. И опять-таки показательно, что «Алые паруса» и «Бегущая по волнам» были обязательной страницей в романтических святцах предвоенной молодежи, но страницей прочитанной и перевернутой. У «Бригантины» была примерно такая же участь, только в еще более сжатом кругу. Но время — ох это время! —взяло вдруг и открыло перевернутые страницы и прочитало полузабытые слова молодыми, свежими голосами.

При своем появлении «Бригантина» была типичной песней студенческого «капустника». Поднимали ее над ним, очевидно, талантливые слова Павла Когана и, очевидно, талантливая музыка Жоры Лепского. И что-то еще неуловимое, давшее ей право на второе рождение. Под это «что-то» подставляются прежде всего поэзия и романтика.

Вот это «что-то» и заставило меня вспомнить в другом полушарии на берегу тропического острова «Бригантину», а вместе с ней — ее автора. Есть отголосок высшей справедливости в этом быстролетном факте. Самому Павлу нужно было бы побывать на коммунистической Кубе и пить кокосовый сок на «острове сокровищ» — потому и отголосок, а не сама справедливость. Но тогда бы, наверно, я лежал где-нибудь под Брянском или Пулковом, а Павел вспоминал обо мне на Пиносе. Жесткий процент смертных потерь переместился бы с одного на другого. Могло бы статься, что остались живы и Майоров, и Суворов, и Коган, и я, но это уже маловероятно. Просто невероятно. Война-то какая была!

Павел Коган оставил прочный след в биографии поколения. Он был старше нас на год-полтора, а в ранней молодости даже такая возрастная разница играет свою роль. Первокурсник и десятиклассник говорят на разных

языках. Но Павла выделяла среди товарищей в первую очередь сложившаяся поэтическая биография. Мы ее только нащупывали, а он уже шел по неторной дороге. Неторной? Нет, поначалу он часто попадал в следы, оставленные другими поэтами, но чем дальше, тем тверже ощущал свою собственную тропу. Мы еще были неумелышами, а у него за плечами погрохатывала «Гроза» — программное стихотворение, давшее много лет спустя заглавие его первому посмертному сборнику. Я напомню его читателю:

ГРОЗА

Косым,
        стремительным углом
И ветром, режущим глаза,
Переломившейся ветлой
        на землю падала гроза.
И, громом возвестив весну,
Она звенела по траве,
С размаху вышибая дверь
В стремительность и крутизну.
И вниз.
        К обрыву.
                Под уклон.
К воде.
        К беседке из надежд,
Где столько вымокло одежд,
Надежд и песен утекло.
Далеко,
        может быть, в края,
Где девушка живет моя.
Но, сосен мирные ряды
Высокой силой раскачав,
Вдруг задохнулась
                и в кусты
Упала выводком галчат.
И люди вышли из квартир,
Устало высохла трава.
        И снова тишь,
                и снова мир,
Как равнодушье, как овал.
Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал!

Сам он рассказывал о возникновении этого стихотворения так: однажды в дружеской компании каждый должен был графически изобразить свой жизненный путь. Кто нарисовал круг, кто овал, кто волнистую или зиг-

загообразную линию. Павел двумя чертами — острый угол.

Остроугольность действительно была в характере Павла. Непримиримость к чужим недостаткам, черная и белая краска без промежуточных тонов, одержимость в поэзии и жизни. Натура-то, в общем, тяжелая, но привлекавшая к себе какой-то суховатой страстностью. Будь ребята с ним чуть послабее, он бы сразу занял среди них атаманское положение. Но тут собрались уж настолько резкие индивидуальности, что после коротких или долгих стычек устанавливалось равновесие, где никто никому не давал наступать на ногу. И все равно ухо приходилось держать востро: совет мог неудержимо перерасти в диктат. Надо сказать, Павел знал свойства своего характера и сам старался окорачивать себя, друзей ему терять не хотелось.

Сошлюсь на запомнившийся пример. После полутора лет знакомства мне надоело слышать поучения — и я резко отдалился от Павла. К тому времени я уже сам начал писать стихи, с которыми не стыдно было показаться на глаза кому угодно. Павел забеспокоился: «Почему не заходишь?» — «Да все времени нет». Так продолжалось месяца три. И вот однажды вечером, когда я сидел у своей подруги, звонок. Входит Павел с женой (он женился раньше всех нас). После коротких минут с павла-когановской категоричностью объявляется цель встречи: «Условимся, что мы пишем на равных, и начнем все от новой черты». Надо было знать гордыню Павла, чтобы оценить сделанный им шаг! Равным себе он считал тогда разве Пастернака и Сельвинского («они, конечно, больше сделали»,— сказал он мне однажды), но «для милого дружка сережка из ушка». Благоприятное условие было, естественно, принято мной, и бутылка вина скрепила новый договор.

Кстати, о вине. Предвосхищая наши теперешние нормативы, Павел терпеть не мог водку и очень не жаловал пьяных. Вино у него несло скорее романтическую службу: «На прощанье поднимай бокалы». Ну, а опять-таки Хайям и Саади, Верлен и Блок. Несмотря на крупинку иронической соли, говорю это в похвалу. Пьянели мы тогда от стихов и любви, от романтики и героики.

Возвращаюсь к «Грозе». Это стихи молодого мастера.

И Н. Н. Асеев не случайно обратил на них свое доброе и требовательное внимание. С Павлом он говорил о них так, как будто тот был его сверстником. В стихах, конечно, уже взрослый почерк. Среди романтических манифестов, провозглашавшихся поэзией, «Гроза» один из наиболее определительных. Стих мускулистый, напряженный, резкий. Павел читал «Грозу» с напором, нагнетанием, рубя слова. И стихи запоминались, с первого-второго чтения, наизусть.

Познакомились мы с Павлом на поэтических смотринах, которые устраивались в ИФЛИ в начале сентября каждого года. Первокурсники читали стихи под оценивающими взглядами старших на собрании литкружка. Им руководил Ойзерман, ныне член-корреспондент АН СССР. Тогда, помнится, он был аспирантом филфака. Из полутораста с лишним ребят, только что перешагнувших порог вуза, сочиняло стихи не меньше сотни человек. Но смелости выйти читать их хватало у немногих. Костя Лащенко, Леша Кондратович и я оказались фаворитами прослушивания. Пожалуй, самым примечательным был Костя. Я о нем подробнее сказал в очерке, посвященном встрече с Асеевым. Леша — прехорошенький мальчик — прочел милые стихи, назывались они «Соловей». Провинциальная целомудренность первого чувства, дышавшая в них, растрогала искушенных старшекурсников. Я читал, выражаясь студенческим жаргоном тех лет, откровенную муру. Читал я ее, однако, с невероятной самоуверенностью, акцентируя немногие выигрышные строки. Все же их набралось, наверное, достаточное число, чтобы состоялось первое знакомство с Павлом. В перерыве ко мне подошел невысокий парень с индейскими, как мне показалось, чертами лица, протянул руку и отрекомендовался: «Павел Коган». А потом с обезоруживающей откровенностью сказал: «Стихи пока что из рук вон, но поэт из тебя получится». Я, помнится, огрызнулся, но впервые заподозрил, что не все ладно в моем королевстве датском. Финал этого периода состоялся спустя месяца полтора у Асеева.

В очерке о Кульчицком я уже говорил, что помимо учебы у старших поэтов мы все время учились друг у друга. На первых порах неоценимая роль принадлежала здесь Павлу. Прежде всего он намного лучше нас знал поэзию. Каждый месяц расширялся круг поэтов, читае-

мых и комментируемых от корки до корки в его кругу. «Один сезон наш бог — Ван Гог, другой сезон — Сезанн». Затем Павлу была в высшей степени свойственна черта поэтического подвижничества. Биографии поэтов разбирались всегда именно под этим углом. Пафос бессребреничества одинаково владел нами, но у Павла он приобретал почти фанатический характер. К печатанию своих стихов мы долгое время относились пренебрежительно. Предполагалось, что наша поэзия рано или поздно явится пенорожденной Афродитой в совершенстве законченных форм. А до тех пор писать для себя, для друзей, для немногих слушателей, закладывать фундамент будущего здания. «Святые дураки!» — скажут в наш адрес ушлые ребята, штурмующие редакции чуть не с пеленок. Но, пожалуй, именно эти качества придали такую безоглядную искренность предвоенным стихам нашего поколения. Слова «Родина», «Советская власть», «Коммунизм» для нас не были просто словами, мы вливали в них клятвенное содержание, и поэтому с такой силой они прозвучали в стихах Майорова и Кульчицкого, Суворова и Когана.

Подвижничество предполагает цель, во имя которой оно совершается. Эта цель виделась в создании Большой Поэзии поколения, которому предстоит вынести на плечах тяжелейшую войну с фашизмом. Война мыслилась как нечто наперед заданное, неизбежное, непременное. Сначала интуитивно, а потом сознательно определились основы, опираясь на которые встанет поколение для решающей схватки. Патриотизм, интернационализм, партийность стали существом поэзии поколения, они и были искомыми и найденными ее основами.

Есть в наших днях такая точность,
Что мальчики иных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О времени большевиков.
И будут жаловаться милым,
Что не родились в те года,
И пусть я покажусь им узким
И их всесветность оскорблю,
Я — патриот. Я воздух русский,
Я землю русскую люблю,
Я верю, что нигде на свете
Второй такой не отыскать,
Чтоб так пахнуло на рассвете,

Чтоб дымный ветер на песках...
И где еще найдешь такие
Березы, как в моем краю!
Я б сдох, как пес, от ностальгии
В любом кокосовом раю.
Но мы еще дойдем до Ганга,
Но мы еще умрем в боях,
Чтоб от Японии до Англии
Сияла Родина моя.

Юношеский максимализм «лирического отступления» отталкивается от трех опорных точек: «время большевиков» — партийность, «земля русская» — патриотизм, заключительные слова — интернационализм. Было бы глубоко неверным искать в словах о Ганге, Японии и Англии какой-либо завоевательный смысл. Это не что иное, как перешедшая по близкому наследству мечта 20-х годов о всесветном коммунизме. В нас все время бродила коминтерновская закваска, о которой тоже сказал Павел:

Нет, мы языков не учили,
Зато известны были нам
От Индонезии до Чили
Вождей Компартий имена.

И будущая война представлялась войной за коммунизм против фашизма.

Всем нам было свойственно стремление — «брать быка за рога» — к большим, первозначным, генеральным темам. И Павел чаще других брал в руки камертон, определявший верную или ложную ноту, взятую при поисках главного мотива. Споры в поэтическом кругу были жестокими. Если порой чрезмерно завышались положительные оценки, то в отрицательных уж вовсе не знали меры. «Ты сходишь на нет. Мельчишь. Пошлишь. Мещанствуешь»,— это еще из сдержанного словаря, употреблявшегося нами. Споры приносили очевидную пользу.

Повторяю, что Павел был человеком с поэтической биографией, сложившейся очень рано, еще до знакомства с нами. Лирико-романтические стихи, в том числе «Бригантина», были им сложены на пороге быстро наступавшей зрелости. Зрелость требовала стихов, осмыслявших время, и Павел о головой ушел в них, перешагнув свое двадцатилетие. Сердце тоже участвовало в головной работе, и ритм стихов повторял его удары.

Многие стихи Павла Когана удивляют своей прозорливостью. Не так давно у меня на квартире зазвенел телефон. Беру трубку.

— В каком году погиб Павел Коган?

— В 1942 году.

— А как же у него в стихах сказано: «Я пью за войну 45-го года»?

— Так вот и сказано,— отвечаю.

— А это не позднейшая вставка?

Я положил трубку.

Действительно, теперь это кажется невероятным так же, как и «речка Шпрее», промелькнувшая в его стихах:

Когда-нибудь в шестидесятых
Художники от мук сопреют,
Пока они изобразят их,
Погибших возле речки Шпрее.

Задолго до начала Космической эры была написана им «Ракета». В те дни она казалась нам зарифмованной страницей научно-фантастической повести.

Основным своим поэтическим делом Павел считал роман в стихах «Владимир Рогов». В сравнении с предполагаемым объемом он успел написать не так уж много, но и это немногое было интересным. Роман носил автобиографические черты, и первые его главы были посвящены «поискам истины» молодым интеллигентом 30-х годов. Истина виделась в полном слиянии с народом, в решительном приятии всех его духовных интересов. Отдельные постулаты романа оказались не так аксиоматичны, как казались тогда Павлу, да и всем нам. Время выдвинуло другие мерки. Но основная тенденция неоконченного труда остается верной до сих пор.

Тенденция опиралась на самосознание поколения, к которому принадлежал Павел. Мир в то время бурлил, клокотал, взрывался вокруг нас. Испания, Халхин-Гол, Мюнхен — это еще накануне второй мировой. Все это передумывалось, перечувствовалось, переживалось нами. Причем, должен сказать, трагичнее и сильней, чем об этом сообщали газеты и радио.

Листались месяцы, а затем годы. После финской войны я перешел в Литинститут, а в ИФЛИ оставался на экстернате. Не помню, до меня или после перевелся в Литинститут Коган. За это время мы стремительно по-

взрослели. Некоторые из нас уже получили боевое крещение, другие и без него окрестились событиями и размышлениями. У Павла родилась дочка, жил он трудно, подрабатывал уроками в школе, преподавая, кажется, историю. Ходил он тогда в шинели, невесть откуда взявшейся у него, выглядел озабоченным не только поэтическими, но житейскими делами.

Мы начали выступать перед более широкой аудиторией. Запомнился вечер трех поколений в Юридическом институте. Он состоялся еще до финской войны, осенью 1939 года. Председательствовал на нем Михаил Молочко, четко сформулировавший взгляд на своих сверстников: это те, кто будет делать поэзию 40-х годов. Вечер не ограничился чтением стихов, с ходу началась полемика, принявшая острые формы. Не скажу, чтобы она носила парламентарный характер. Павел сцепился с Ароном Копштейном, выступавшим от «второго поколения». Он упорно именовал его «Бакштейном», бесцеремонно намекая на круглый сыр, с которым, на его взгляд, был сходен толстяк Копштейн. Нападали и огрызались мы весьма решительно, но и нам спуску не давали. «Надо вас свести с Сельвинским,— грозил Миша Матусовский,— он вас потопчет, как слон тростинки». Я не очень вежливо прошелся по адресу Маргариты Алигер, и, кажется, она долго не могла мне этого забыть. Аудитория была на стороне языкастых дебютантов, равных ей по возрасту, и в конце вечера мы торжествовали победу. Лучше всех из нас выступили Майоров, Луконин, Кульчицкий и Коган, но и остальные не могли пожаловаться на прием. С Сельвинским мы вскоре встретились, но мрачное предвещание Матусовского не подтвердилось. Илья Львович принял нас с распростертыми объятиями. Он тогда вел литкружок при Гослитиздате и руководил кафедрой поэзии в Литинституте. Мы сделались завсегдатаями кружка, а потом — Павел, Слуцкий и я — литинститутцами. Сельвинский очень многое дал нам, с ним всегда пребудет наша благодарная память.

Да, в установке основных величин предвоенной поэзии поколения Павел Коган сыграл серьезную роль. Он раньше других определил направление поисков по первостепенным линиям творчества. Как уже говорилось, партийность, патриотизм, интернационализм заговорили у него языком стиха, и мы, каждый идя своим путем, все-

гда помнили, что главную тему поколения составляли именно эти понятия.

Размах событий был огромен, и пуще всего мы боялись мельчить поэзию, чтобы она не выглядела их дробным отражением. «Мой стих не зеркало, а телескоп»,— писал Кульчицкий, а Павел утверждал это каждым новым стихом. В этом не было гигантомании, такую позицию диктовало время. Ориентировка на большие темы, на большую поэзию, на героику времени оправдала себя. Об этом говорят лучшие стихи погибших на фронтах Великой Отечественной войны, об этом говорят лучшие стихи их товарищей, оставшихся в живых.

Но кроме всего этого, говоря о Павле Когане, нельзя забывать о юношеской романтике, овевавшей серьезные понятия, взятые нами на вооружение. Выступая от имени «лобастых мальчиков невиданной революции», Павел Коган поместил за собой рядом с буденновскими клинками мачты стивенсоновско-гриновской бригантины. Причудливо колыхаясь и странно дополняя друг друга, они образовали неповторимый фон, на котором четко рисовались суровые и твердые стихи, написанные в предгрозье о будущей грозе. Открещиваясь от романтики в последние годы своей недолгой жизни, Павел Коган остался романтиком до конца.

Начав с «Бригантины», я опять вспомню одну щемящую ее строку: «Только чуточку прищурь глаза» — и снова встает Ленинградское шоссе предвоенных лет, комната пенальных размеров, наполненная табачным чадом и молодыми голосами, и сухощавый юноша с лицом индейского типа, рубящий отрывистые стихи.

Все ближе надвигалась война. Но в июне сорок первого ее никто не ожидал. Павел уехал на Кавказ и потом с трудом добрался оттуда до Москвы. Я встретил его по приезде, он был возбужден, решителен и неожиданно весел. «Предгрозье кончилось,— сказал он мне,— началась гроза. Выдержим? — И, не дав ответить, закончил утвердительным повторением:— Выдержим!»

Молния поразила его в разгаре грозы.





ГОДЫ УЧЕНЬЯ

Меня исключили из института. Неплохое начало для рассказа под заголовком «Годы ученья». Они, эти годы, впрямь могли закончиться в ту пору и начать череду других лет под иным названием.

Исключили меня из ИФЛИ 16 октября 1939 года. Даже число помню. Впрочем, почему бы не помнить: не каждый год человека выгоняют из вуза, поневоле врежется в память.

Сгоряча я обратился к историческим образцам и в тот же день накатал стихи «Белинский, исключенный из Университета». Был такой факт в биографии великого критика, а я его вовремя вспомнил. Стихи не получились, аналогия выпячивалась слишком нахально, и даже Павел Коган, обычно похлопывающий по плечу классиков, скривился: «Тут, дружище, явный перебор».

Нельзя сказать, что я не был подготовлен к такому неприятному событию. Студенческая молва еще в сентябре разнесла по аудиториям весть о нагоняе, полученном дирекцией в Комитете по делам высшей школы. Нагоняй за слабую дисциплину, прогулы и опоздания вверенной ей паствы. Это совпало с законом о строгих наказаниях всем опаздывающим на работу. Но о студентах в законе не было и речи, он касался рабочих и служащих. Зацепка для мифотворческой деятельности вузовских организаций оказалась, однако, налицо. Быстролет-

ный миф перед тем, как скончаться через два-три месяца, жестоко стегнул меня концом зевесовой вожжи. Дело в том, что дирекция с ходу начала реагировать на начальственные указания. Серия приказов обрушилась на нашего брата. Приказы шли по восходящей шкале. Первый появился в конце сентября и навесил выговор шестидесяти четырем неудачникам. Второй в начале октября обрадовал строгим выговором восемнадцать повторников. Третий, о котором идет речь, доконал двоих. Нетрудно сообразить, что в основу воспитательной политики был положен, на этот раз, естественный отбор. Он дал необходимые результаты. Из шестидесяти четырех осталось через три недели двое: я и Левка Коган. Не путать его с Павлом. Впрочем, никто их и не путал. Пенять нам со Львом, кроме как на самих себя, было не на кого. Миша Молочко застрял на строгаче, а мы, видите ли, не удовлетворились таким легким взысканием. И вот теперь, словно двух библейских козлищ, обремененных грехами всего ИФЛИ, нас изгоняли в пустыню. Увы нам!

Тогдашнее утро до сих пор стоит у меня перед глазами. Проснулся я уже в девятом часу, а до Ростокинского добираться... Ого, сколько добираться! Стакан чаю, бутерброд на ходу, в метро чуть не кувырком.

В Сокольниках рву двухсотметровку до трамвая. На трамвайной площадке нос к носу сталкиваюсь с Левкой Коганом. Он еще не успел отдышаться.

— Успеем?

— Разве что к перемене.

До Ростокинского проезда пять остановок, да там еще пять минут до института. Вылезли, Лев было припускается опять в бег. Окликаю его: «Сбавь ходу, все равно опоздали». В институтском коридоре нас встречают посланцы деканата. Через полчаса — ровно столько нужно, чтобы подписать скорбный акт,— Михаил Никитич Зозуля сообщает нам об исключении. Ошарашенные такой быстротой, направляемся к директору. Ничего утешительного оттуда не выносим.

На курсе шум, тарарам, сенсация. И не только на курсе. Отборочные приказы охватывали все студенческие возрасты. На нас с Левкой эта кампания должна была завершиться. Нам сочувствуют, облегченно вздыхая про себя. До них, чертей, не докатилось. Конечно, это касает-

ся схожих с нами разгильдяев. К примеру, Троицкий из нашей группы уже с четырех утра за книгами. В институте он уже с восьми. Что ему до приказов?!

Пытаемся фанфаронить, но ощущение паршивое, во рту кисло в буквальном смысле слова. Под сочувственные ахи и охи — в глаза никто не злорадствует — покидаем институт. И тут на площадке перед входом нам в спину громыхает погребальный марш. По крайней мере так мы воспринимаем плакат, состряпанный под некролог. В черной рамке большими черными буквами стоит: «Прогульщики и лодыри Сергей Наровчатов и Лев Коган исключены из ИФЛИ». Насчет лодырей явно было перегнуто. Не были мы, черт побери, лодырями. Пятерочники, как правило. Но после драки кулаками не машут.

— Удостоились,— говорю я Левке.

— Бедные наши родители,— мрачно комментирует происходящее мой напарник.

И потянулись странные дни. Так с ходу, с бухты-барахты, сообщить дома о своем исключении я не мог. Надо было подготовить почву. А потом что-то могло измениться, авось и не придется расстраивать родных. И вот я подымался, как всегда, завтракал и отправлялся якобы в институт. Впрочем, не как всегда! Сладкого утреннего сна в помине не осталось. Словно нечистая сила толкала меня в бок где-то около шести часов. Вот теперь бы я стал образцовым студентом! Да, все хорошее приходит с опозданием, а дурное тут как тут... Родители мои были несколько удивлены неожиданной аккуратностью своего сына. А я объяснял свой недосып близостью экзаменов: «Еще до завтрака успею кое-что прочитать».— «Да ведь экзамены в декабре».

Потом я собирался в институт. Насколько это было просто до треклятого дня. И насколько трудно теперь. Это напоминало этюды, разыгрываемые в театральных училищах. «Иванов, изобразите опоздание на работу». Даровитый Иванов начинает суетиться, хватается за разные папки, пулей вылетает из комнаты и получает пятерку. «Петров, изобразите то же самое». Недаровитый Петров бездарно суетится, бездарно хватается за разные папки, бездарно пулей вылетает из комнаты. Так вот я и был этим недаровитым Петровым. Менее близкие лица, чем мои родители, давно бы заподозрили, что здесь не все ладно. Но мысль о возможном моем исключении из

института была настолько чудовищна, что родителям она попросту не приходила в голову.

Итак, я одевался и, взяв портфель, торопливо выходил из дому. Моя торопливость сразу исчезала, едва я выходил из подъезда. «Что делать? Куда идти? Чем занять это проклятущее время?» Детские сеансы начинались тогда с десяти часов. «Джульбарса» я просмотрел, по крайней мере, раз пять, одиноко возвышаясь в полупустом зале среди малолетних прогульщиков. Моим товарищам по безделью было лет по десяти-одиннадцати. Не очень-то почтенная компания. Эта ребятня вроде меня втирала очки папам и мамам, а потом с гривенниками, которые им дали на завтрак, бежала в кино.

Слонялся по бульварам, сочинял стихи. Осенние листья в шуршащем паденье подсказывали слуху неожиданные созвучья. Иногда, наугад, звонил Подруге. Поставим это слово с большой буквы. Не в пример другим историям, с этой хорошей девушкой у меня были строгие отношения. Подруга порой оказывалась дома: легкий грипп дарил ее коротким бюллетенем. Тогда я ехал к ней далеким автобусом на Ленинградское шоссе. Там время шло по-другому. Милое взаимовосхищение держалось у нас на той грани, о которой спустя долгие годы вспоминаешь без досады и раздражения. Она мне напоминала один врубелевский рисунок к лермонтовским сочинениям. Даже строки тогда сложились:

...смертельно чем-то на Мцыри
похожая
из-за Врубеля.

С товарищем по несчастью встречался редко. Мы на время опротивели друг другу. Наверно, вроде каторжников, соединенных общими кандалами. Каждый читал в глазах другого одни и те же злосчастья. Был еще неудачный поход в Комитет по делам Высшей школы. Принял нас Гагарин, зампред, мы помнили его по ИФЛИ, где он прежде преподавал. Широкое лицо вершителя наших судеб освещалось дружеской улыбкой, на синем пиджаке ровно сиял высокий орден. Но ушли мы не солоно хлебавши, не мог же он отменить меры, предпринятые в исполнение его же указаний. Правда, пообещал в дальнейшем вернуться к этому вопросу: «Приходите эдак через месяц-другой. Посмотрим...»

Два-три штриха к портрету товарища. Имя его мелькает еще в нескольких моих рассказах. Он был участником поездки в Среднюю Азию, где мы работали на Большом Ферганском канале. Через него познакомился я с Севкой Багрицким. С ним мы переписывались чуть не всю войну до зимы 1944 года, когда он, комсорг пехотного полка, погиб во время атаки где-то на белорусской земле.

Лев Коган был высок, тощ, угловат. Черноволосая лохматость или, наоборот, лохматая черноволосость. Восторженно сияющие глаза. Ходячий энтузиазм. Наизусть тысячи строк поэтов всего земного шара. Сам стихов не писал, но был отличным слушателем чужих. В первую очередь моих. Оценка — либо пятерка, либо единица. Тройки не признавались, ибо посредственные стихи вообще не стихи.

И вот с ним-то, с милым, романтичным, восторженным Левкой, мы и влипли в эту дурацкую историю. Надо было из нее выходить. После визита к Гагарину, оставившему нам хоть и тусклый, но просвет в будущем, Лев решил ждать у моря погоды. Хорошей погоды, разумеется. А я должен был искать другие пути.

Дело в том, что добрые знакомые не могли оставить в неведении моих родителей. В ИФЛИ на смежном отделении училась дочка наших соседей по прежней квартире. От них-то, по телефону, и узнала мама сногсшибательную весть. Естественно, она была передана самым сочувственным тоном с соболезнующими интонациями. Дома у меня состоялся крупный разговор. Сгоряча я заявил, что исключение из ИФЛИ состоялось чуть ли не в согласии с моими намерениями. Дескать, у меня давно уже намечены другие планы.

На самом деле никаких планов у меня не было. Некий паллиатив зыбко рисовался в виде другого института. Вот его-то и пришла пора двинуть в ход.

Я позвонил Сельвинскому. Знакомство с ним продолжалось уже второй год. Он руководил кружком при Гослитиздате. По традиции, шедшей со времен первой пятилетки, кружок именовался бригадой. Ифлийская тройка — Павел Коган, Дезик Самойлов и я — была замечена и выделена. Мы легко заняли лидерское положение не только из-за стихов, но и из-за задористости, напористости, горластости. В кружке или бригаде (называйте

как хотите) произошла встреча и началась дружба с Майоровым, Кульчицким, Слуцким, Львовским. Майоров учился в МГУ, Слуцкий — в Юридическом, Кульчицкий и Львовский — в Литинституте.

Вот Литинститут-то и мог стать паллиативом ИФЛИ. Правда, замена была далеко не равная: все равно что добротное драповое пальто я променял бы на легкий летний плащ. Ведь Литературный институт довоенных времен мало чем напоминал почтенный гуманитарный вуз теперешних лет. Запорожская вольница шумела в его коридорах и аудиториях. Знания тоже были не ифлийские, уровень их был не ахти какой. Но в ИФЛИ не было поэзии как цели существования. А тут все дышало стихами, все говорило ими и бредило. Семинары, которыми руководили виднейшие мастера поэзии, было основой литинститутской жизни, учебной работы, студенческих интересов. Самолюбие и тщеславие, честолюбие и гордыня — все замыкалось в семинарах. Получить двойку на любом экзамене считалось плевым делом, но средний балл, заработанный у Асеева, Луговского, Сельвинского, оборачивался горечью многих бессонных ночей.

Сельвинский принял меня в тот же вечер у себя на Лаврушинском. Объяснил ему цель прихода. Перебирая четки, Илья Львович спросил: «А не прогадываете ли вы? В ИФЛИ подготовка лучше».— «Мне не до выбора, Илья Львович. Меня исключили».— «За что?» Рассказал. «А подоплеки никакой не было?» — «Эх, если бы такая подоплека действительно существовала. Вот бы я козырнул! Да ни черта не было...» — сокрушенно ответил я. «Тогда ерунда. Восстановят».— «Это еще когда... А потом, я и впрямь подумал переходить в Литинститут. Там все-таки поэзия во главе угла, а в ИФЛИ любительство. Вот Павел Коган тоже надумал туда же...» Павел действительно собирался сделать такой шаг. «Ну что же,— раздумчиво проговорил Сельвинский.— Я напишу, что готов принять вас в свой семинар, и завтра же переговорю с директором. А вы напишите заявление».— «Оно у меня уже готово».— «Тогда дайте его мне, я передам. А теперь почитайте новые стихи».

Через день я проснулся студентом Литературного института. Зачисление состоялось накануне. Просто делались тогда дела.

Все, что я рассказал, присказка к повествованию.

Мне нужно подчеркнуть, какую добрую роль сыграл большой мастер в ломкой судьбе молодого поэта. Забегая вперед, скажу, что эпопея с исключением пришла к благополучному концу, но после весьма серьезных встрясок. Однако повременю с объяснением до конца очерка. А сейчас, собственно, о годах учения, неразрывно связанных с именем Сельвинского.

Прежде всего несколько слов о том, каким он нам казался. Мощное впечатление производил этот сорокалетний человек, с торсом борца и мускулатурой гиревика. Он был всегда чуть набычившимся, каким бывают тяжеловесы, выходящие на арену. Всегда накануне схватки. Внимательный, зоркий, оценивающий взгляд из-под очков, руки, то быстро, то медленно перебирающие четки. О четках много говорилось и писалось. Кажется, он приобрел их, чтобы контролировать нервные вспышки, но, боюсь соврать, может быть, это и не так. Цену его поэзии мы знали. Не было, кажется, ни одного жанра, в котором бы не заявил себя выдающийся мастер. Эпос, лирика, драматургия. Теория поэзии, полемика, под конец жизни — проза. А тут с нами проявился еще новый его дар — педагогическое искусство.

Прежде чем говорить о нем, выскажу несколько общих соображений. Естественно, эти соображения пришли ко мне не в годы юности, для них нужна отдаленность, с которой видны волнистые контуры биографии поколения.

Зрелый Пушкин, вспоминая о своей лицейской юности, писал:

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Никто из нас не равняет себя с гениальным лицеистом, но благословляли нас в дорогу тоже прекрасные поэты, и, к нашему счастью, не «в гроб сходя», а находясь на высшем подъеме творческих и жизненных сил.

В начале пути каждому молодому художнику необходимо такое благословение. Поэзия всегда новизна, но и всегда преемственность. Самое дерзкое новаторство не возникает на голом месте. Современный стих имеет своим основанием многовековой опыт поэзии. Каждый волен черпать из него то, что ему по нраву. Но вступающему на стихотворную дорогу естественнее всего ориенти-

роваться по вехам, расставленным на ней недавними путешественниками. Молодой поэт обращается к опыту своих старших современников, воспринявших, в свою очередь, опыт своих учителей.

Можно и нужно перечитывать с карандашом книги полюбившихся поэтов. Нужно и важно помнить наизусть лучшие образцы поэзии. Но наиболее естественно и перспективно живое общение с людьми, чьему вкусу и опыту ты доверяешь. От них ты сможешь получить нелицеприятную оценку твоих удач и неудач, верную ориентировку в твоих исканиях. Такими людьми для нас были Тихонов и Сельвинский, Асеев и Луговской, Маршак и Антокольский, Светлов и Прокофьев — мастера советской поэзии, наши старшие современники. Этими именами никак не ограничивается перечень тех, кому мы обязаны своей выучкой, но те, кого я перечислил, были в буквальном смысле слова нашими крестными отцами в поэзии. Разумеется, каждый из нас тяготел к одним из них больше, чем к другим, но если говорить о всех нас в целом, то именно эти люди стояли у нашей колыбели.

Учились мы друг у друга. Удача одного становилась удачей другого, ошибки обсуждались сообща, чтобы потом их не повторять. Каждая встреча несла взаимообогащение — делились стихами и замыслами, узнанным и угаданным, прочитанным и услышанным. Кто это — мы? Майоров и Коган, Луконин и Кульчицкий, Отрада и Гудзенко, Слуцкий и Самойлов, Воронько и Глазков, Молочко и Львовский, я и еще десятка два ребят, фанатично влюбленных в поэзию. Мы нашли друг друга в последнее четырехлетие перед войной и плечо к плечу, локоть к локтю вступили в ее огненные ворота. На военных дорогах мы нашли и новых друзей, но они не оттеснили прежних, а встали рядом с ними. Суворов и Дудин, Орлов и Недогонов, Львов и Замятин, Максимов и Субботин, Межиров и Соболь — всех сразу не назовешь. Я соединяю живых и погибших — они стоят в одном ряду, разъединение их немыслимо, ибо все вместе они составляют поколение. Рассказывая о нем, необходимо вспомнить тех, от кого они принимали эстафету поэзии. И здесь, возвращаясь к началу очерка, я назову одно из первых имен этого великолепного ряда: Сельвинский.

Знакомство с ним состоялось на четкой дистанции, разделяющей учителя и учеников, старшего и младших,

руководителя и руководимых. Никакого вреда от этого не воспоследовало, одна польза. В те ранние годы мы стучались во многие двери. Мы хотели слушать и хотели быть услышанными. В Москве тогда шумело, кричало и ругалось около десятка творческих кружков. Молодые поэты и прозаики собирались в редакционных и издательских помещениях, которые радушно предоставляли им «Огонек», «Комсомольская правда», «Октябрь», Гослитиздат и другие шефы литературной молодежи. Мы ходили на все заседания, но больше придерживались Малого Черкасского, где тогда находился Гослитиздат. Прозаиками там руководил Митрофанов, а поэтами Сельвинский.

Общий недостаток всех кружков, за исключением гослитиздатского, состоял в полной бессистемности занятий. В «Огоньке» и «Комсомолке» мы, помнится, сами собой руководили, вмешательство шефов ограничивалось тем, что кто-либо из редакционных работников открывал заседание кружка, а потом пускал его на полную волю собравшихся. Кто хотел — читал стихи, кто хотел — высказывался; не помню, чтобы было какое-то подытоживание мнений, подведение их к определенному знаменателю.

Оглядываясь назад, спрашиваю себя: «Полно! Не происходит ли у меня аберрация зрения, ведь я говорю о годах весьма суровых. Возможна ли была такая бесконтрольность взглядов и мнений?» Нет, все так и было, наверно, было не до нас, занимались более серьезными делами, споры наши протекали в рамках сугубо поэтических вопросов.

Если в «Огоньке» и «Комсомолке» была вольница, то сказать это про Гослитиздат никак нельзя. Там властвовал дух Сельвинского, и, надо заметить, что это был суровый, требовательный, логичный дух. Лишь изредка позволял он себе капризничать и обнадеженный им накануне повергался на другой день в отчаяние. Как правило, Сельвинский был очень последователен в своих оценках, никогда не забывал ранее сказанного, был удивительно памятлив на все наши плохие и хорошие строки. Поражаюсь, как он не боялся амортизации памяти, столько нашей юношеской чепухи хранил он под своим объемистым черепом! У него была своя строгая и одновременно свободная система занятий. О ней я скажу ни-

же, а сейчас предварю рассказ тем, что именно у него Майоров, Кульчицкий, Коган, Самойлов, Слуцкий, я да еще десяток ныне здравствующих поэтов-профессионалов прошли настоящую школу стиха в предвоенные годы. Встречи с Асеевым, несмотря на их значимость, были все же эпизодичны, с Сельвинским же мы встречались не реже раза в неделю в течение трех лет. К нему на суд несли каждую новую строку, каждую вновь возникшую поэтическую мысль. Сперва в Гослитиздате, а потом на семинаре в Литинституте мы проходили вместе с ним и под его наблюдением нескончаемые ступени поэтического мастерства. Пожалуй, высшей похвалой его педагогическому искусству следует счесть то, что ни один из нас не стал его подражателем или эпигоном. Он всячески способствовал самовыявлению молодых поэтов и мягко, но решительно пресекал попытки пойти у него в фарватере. Поначалу мы часто подпадали под его влияние и неприметно для себя перенимали почерк автора «Улялаевщины» и «Пушторга». И каждый раз он великодушно спасал нас от самого себя. Именно «великодушно» — ведь всякому большому художнику лестно видеть созданную им школу искусства, упрочивающую его эстетические и жизненные принципы. Сельвинский видел свою задачу в другом и счастливо избежал вероятного разочарования. В каждом из нас проглядывалась своя индивидуальность, и, рано или поздно, она бы в полный голос заявила о себе. Произошел бы неизбежный в таком случае бунт, сопровождаемый взаимной неприязнью. Прямые продолжатели Сельвинского еще играют в пятнашки или дремлют в колыбелях. Поэзия редко развивается по отцовской линии; она, как при матриархате, больше чтит боковые линии. Минуя Некрасова, Блок обратился к Тютчеву, Баратынскому, Григорьеву. Маяковский, через головы символистов, протянул руку Некрасову и шестидесятникам. Спустя годы какой-нибудь поэт, возможно, подхватит эстафету Сельвинского.

На раннем этапе творчества подражания бывают даже полезны. Яснее разглядываются «секреты» чужого мастерства, глубже усваивается опыт старого мастера. У живописцев с этого начинается процесс обучения. Труд Вазари о жизни и творчестве знаменитых художников переполнен примерами того, как великие мастера последовательно проходили ступени ученика и подма-

стерья. В поэзии когда-то существовал жанр подражаний. Пушкина трудно обвинить в неоригинальности, но и он отдал свободную дань этому жанру, продолжая оставаться Пушкиным. В наше время как самого страшного греха боятся обвинения в подражательности. Начинающие поэты густо краснеют и неумело лгут: я даже не читал Пастернака, я даже не знаю Цветаевой. Такие «даже» не многого стоят.

На первых порах бояться упреков в подражательности не надо. Самостоятельный голос прорежется рано или поздно, если для того существуют необходимые предпосылки, которые мы называем творческой одаренностью. А учиться необходимо. Были бы хорошие учителя! И разумеется, ученичество не должно чересчур затягиваться, иначе появится опасность эпигонства.

Ученичество, конечно, не однолико. У одних оно ограничивается слепым подражательством, перепиской готовых образцов. У других оно становится творческим переосмыслением опыта старших поколений. В связи с этим полезно вспомнить, как учился у классиков Лермонтов в ранние свои годы. Это было не просто школярство, а напряженная творческая работа, когда он перенимал и усваивал приемы мастерства, брал уроки архитектоники и композиции у великих поэтов России и Европы. Говоря о классиках, у нас часто подчеркивают неповторимость их примера, забывая о его практической дидактике. Пример Лермонтова именно поучителен и, вне зависимости от конечных результатов, может быть повторен любым талантливым человеком, посвятившим себя поэзии.

Интересно вспомнить, какие конкретные формы приобретало тогда наше ученичество. Стихи Сельвинского мы знали, наверное, не хуже его самого. А порой даже лучше. Помню, однажды на семинаре он прочитал по какому-то поводу отрывок из «Улялаевщины». Читал он на память и в нескольких случаях отклонился от печатного текста. Каждый раз мы поправляли его разноголосым хором. В конце он разозлился: «Какого дьявола вы меня сбиваете? Я же улучшаю на ходу!»

Среди разнопланового множества его стихов каждый мог найти наиболее созвучное своим тогдашним настроениям. Безнадежно влюбленный в свою сокурсницу Юрий Окунев повторял, вздыхая, строки из «Белого песца»:

Если захочешь меня проклясть,
Буду униженней всех людей;
Если ослепнет влюбленный глаз,
Воспоминаньями буду глядеть.

Мы с Кульчицким твердили «Йэхали казаки», а Павел Коган находил все новые Строки (с большой буквы) в «Охоте на тигра». Он даже ходил в зоопарк, чтобы свериться с первоисточником, и вскоре создал собственного хищника — «Тигра в зоопарке». Стихи Сельвинского широко известны, а стихотворение Павла мало кому знакомо. И я приведу его здесь, так как оно будет необходимо для продолжения нашего разговора.

ТИГР В ЗООПАРКЕ

Ромбическая лепка мускула
И бронзы — дьявол или идол —
И глаза острого и узкого
Неповторимая обида.

Древней Китая или Греции,
Древней искусства и эротики
Такая бешеная грация
В неповторимом повороте.

Когда, сопя и чертыхаясь,
Бог тварей в мир пустил бездонный,
Он сам себя создал из хаоса,
Минуя божии ладони.

Но человек — созданье божие,
Пустое отраженье бога —
Свалил на землю и стреножил,
Рукой уверенно потрогал.

Какой вольнолюбивой яростью
Его бросает в стены ящика,
Как никнет он, как жалко старится
При виде сторожа кормящего.

Как в нем неповторимо спаяны
Густая ярость с примиренностью.
Он низведенный и охаянный,
Но бог по древней одаренности.

Мы вышли. Вечер был соломенный.
Ты шел уверенным прохожим,
Но что-то было в жесте сломанном
На тигра пленного похожим.

Рисунок и краски здесь вторичны. Тигр увиден с той же «точки образа», что и Сельвинским. Нет ни одной просто переписанной строки, но все время происходит иногда расшифровка, а иногда конспектирование чужого зрительного материала. К примеру, Китай вспомнен здесь через «китайского монаха», с которым Сельвинский сравнивает своего тигра. Но у Сельвинского это живое сравнение — во Владивостоке начала 30-х годов он наверняка встречал прообразы,— Павел касается лишь оболочки образа, первооснова ему неизвестна. То же самое с «эротикой», «бешеной грацией» и «хаосом». И даже бог здесь дан по-сельвински: сопящий и чертыхающийся мастеровой. Однако, вчитываясь в строки, замечаешь, что в тебе возникает странное чувство. Совсем иное, чем то, что возбуждают в нас стихи Сельвинского. Тигр как будто тот же самый — и в то же время совсем другой. Смутная догадка проясняется в памяти — наши разговоры о художнике и обывательщине. Краски чужие, но содержание образа, его суть — полностью свои. Победоносность давних стихов Сельвинского была чужда теперешнему настроению Павла. Нелепо искать здесь аллегорию, стихи — не басня. Но виде́ние вольнолюбивого тигра искусства, бьющего хвостом по прутьям обывательской среды, наверняка стояло перед Павлом. Долго еще каждому из нас предстояло разыгрывать в лицах печальную пьесу «Поэт в коммунальной квартире», и стихи «Тигр в зоопарке» могли бы читаться по ходу действия.

Наши взаимоотношения с Сельвинским отличались патриархальным характером. Козыряли перед ним не только стихами, но и другими удачами. Помню, как вместе с Крамовым, который стихи не сочинял, но полностью разделял нашу привязанность к Илье Львовичу, мы заявились на поэтическое собеседование сразу после парашютного прыжка. Прямо, так сказать, с крыла самолета, в синих комбинезонах, сияющие, как серебряные полтинники на жарком солнце. Был, впрочем, октябрьский вечер, но сиянье наше не гасло. «Откуда вы такими молодцами?» — спросил Илья Львович. Мы только этого вопроса и дожидались! Выпалили ответ и, предовольные, уселись рядом с друзьями-поэтами, вслед за Сельвинским поздравлявшими нас с удачным приземлением. Характерная оценка! Будь отношения другими, в голову бы

не пришло заявляться таким манером «с корабля на бал».

Первый раз он обласкал нас прежде всех гослитиздатов и литинститутов прямо у себя на Лаврушинском, куда мы к нему напросились в один из вечеров. Павел Коган, Дезик Самойлов и я читали ему стихи весь вечер. Реплики, разборы и оценки были настолько благожелательными, что, выйдя на заснеженный тротуар, мы, обалделые, долго и прочувственно обнимались и целовались. И конечно, клялись в верности поэзии. До гробовой доски. Сквозь тысячи преград. Вовсю и навсегда.

Сейчас я, конечно, вспоминаю об этом эпизоде с изрядной долей сконфуженности. Примерно так, как герои романов середины прошлого века о молодой своей шиллеровщине. «А помнишь, как мы Шиллера читали...» У нас и почище того порывы были: однажды поздно ночью, другой уже стайкой, подойдя к памятнику Гоголя, как по команде, дружно сняли ботинки и носки и босиком направились на поклон к Николаю Васильевичу. Поклонились и преклонились! Правда, памятник был не теперешний, а тот, андреевский: «Горьким смехом своим посмеюся».

Сельвинский всячески поддерживал в нас жертвенный пламень бескорыстной поэзии. Все разговоры и споры, воспоминания и аллюзии на Малом Черкасском, Лаврушинском, Тверском бульваре были хворостом в этот огонь. Печатание отодвинулось в неуследимое далекое. «Стихи, как сердце, в запыленный ящик»,— писал Павел Коган.

Зато учение и учительство шли полным ходом. Столкновение мнений рождало их взаимосвязь. Споры вокруг стихов, прочитанных на кружке или семинаре, вырастали в разноутверждение поэтических тенденций. Умело и спокойно приводил их к общему знаменателю Преподаватель. Так и хочется написать это слово с большой буквы. Я и пишу, отдавая дань педагогическому мастерству Сельвинского.

Спустя многие годы, незадолго перед его кончиной, мы встретились у ограды Дома Герцена. Илья Львович приезжал по своим профессорским делам в Литинститут и ждал машину в Переделкино. Плотно укутанный — дело было зимой,— он производил впечатление человека, вышедшего на далекую прогулку. Видимо, его бе-

регли. В разговоре вспомнили предвоенное: кружок, семинар, нас, молодых. «Ну, так то была школа высшего пилотажа»,— сказал он.

Действительно, воскрешая по немногим письменным свидетельствам суждения тех лет, видишь, на каком высоком уровне они стояли. Вот, например, краткая характеристика стихов Павла Когана для молодежного альманаха: «Это поэт с обостренным чувством поэтического новаторства. Проявляется оно во всем: и в выборе тем, и в выборе средств. Стихотворение «Ракета» говорит о межпланетном плаванье; «Оркестр в Отузах» — об острых и неожиданных даже для советского человека проявлениях социалистического быта; «Мне слово с словом не свести» — о предутренних полудремотных мыслях... Местами очень точные, почти чеканные, местами слишком технически напряженные, чуть-чуть виртуозничающие,— стихи Когана кажутся мне вполне пригодными для молодежного альманаха, так как отражают высокое чувство слова и его возможностей, заложенное в нашей молодой поэзии». Под характеристикой дата — 14.I. 1940 г.

Так можно было писать о серьезном поэте, каким и считал Сельвинский Когана. Много лет спустя я прочел записки некоторых наших выступлений на гослитиздатском кружке и литинститутском семинаре. Сейчас, к сожалению, у меня нет многих из них под рукой. Но и в тех, что остались, уровень высказываний просто поражает. Один семинар, проведенный после финской кампании, отразил следы таких значительных размышлений над будущими судьбами поколений, что и теперь они заставляют задуматься. Правда, это уже ретроспекция.

Сельвинский дирижировал нашим несогласным хором, где каждый вел свою самостоятельную партию очень искусно. Редко кто оставался неудовлетворенным. Память у него была превосходная, и он все время черпал из нее пример за примером в подтверждение своих положений. Он прививал нам чувство объективности, а такое чувство в молодые нетерпимые годы все время глохнет, если его не воспитывать день от дня.

До сих пор живут в памяти фольклорные самоцветы, их Сельвинский любил перебирать, любуясь и восхищаясь: «Сапожки поскрипывают, шубка пошумливает, пуговки на шубке погремливают»; а еще — «понаровилась

походушка твоя»; а еще — «уж как все мужья до жен добры, покупали женам черные бобры». Такие речения он ставил в образец.

Интересны были споры о форме и содержании, направляющиеся Сельвинским. Один из участников кружка выдвинул, как позитивный момент, «мысль, растворяющую форму». Илья Львович определил такое представление как порочное. «Кто этим занимался? Из старых — Надсон. Но если вы возьмете больших поэтов, наших учителей, то увидите наряду с жизненностью, с потрясающими образами цветение формы (Пушкин — «Евгений Онегин», «Медный всадник»; Лермонтов — «Мцыри», «Демон»; Гёте — «Фауст» и др.). Для каждого нового произведения надо искать форму, какой до вас не было. Поэзия появляется только тогда, когда она вырастает за рамки стиха, когда болевая точка нащупана. Только одна форма идеальна для определенного данного произведения. Паскаль сказал: «Приятно, когда читаешь книгу и, ища автора, находишь человека».

Цитирую эти слова по записи — все-таки нашлись некоторые! — заседания кружка осенью 1939 года. Кстати говоря, именно из нее узнал, что мы именовались бригадой поэтов. Другой бригадой руководил Уткин. Входивший в нее Александр Яшин после встречи бригад (такие периодически устраивались) счел необходимым подчеркнуть: «Следует отметить положительное, что особенно отличает эту бригаду от нашей. Это заинтересованность в вопросах поэзии. В нашей бригаде нет живого интереса к общим задачам, у нас могут ругать за хорошие стихи и хвалить за плохие. Наши поэты заходят на занятия часто с бильярда. В их бригаде этого нет. Хотелось бы оживить нашу бригаду».

Значит, бросалась в глаза наша увлеченность, настроенность, одержимость. Когда я говорю о записях, упаси боже подумать, что мы конспектировали свои выступления и высказывания руководителя. Конечно, нет! Жаль, они могли бы потом пригодиться. Но слишком уж мы горели и бушевали для таких скрупулезных действий. Записывали прикрепленные техсекретари, и, судя по сохранившимся протоколам, довольно умело.

Не часто, но читал Сельвинский собственные стихи. Почти всегда — новые, только что написанные. Словно проверял на нас, проводил первую пробу. Старые стихи

читал, как правило, в виде иллюстрационного материала. Ну, например, при разъяснении специфики тактовика вспоминалась «Улялаевщина». В отрывках, разумеется. Чтение было великолепным. До сих пор звучит в ушах низкий бархатистый голос, удивительно вибрирующий, подлинно музыкальный инструмент. Кстати говоря, последнее впечатление пришло мне в голову именно тогда, когда я слушал Сельвинского. Я вдруг понял, что человеческий голос выразительностью может превосходить и скрипку, и валторну, и рояль.

Как он читал «Балладу о тигре»! Она была написана перед самой войной, и талант поэта проявлялся в ней во всем своем блеске. Среди лирики Сельвинского это одно из лучших стихотворений.

Какая мощь в моей руке,
Какое волшебство
Вот в этих жилах, кулаке
И теплоте его!

Я никогда не знал о них
До самой той зари,
Когда в руке моей затих
Хозяин Уссури.

За штабом Н-ского полка,
Где помещался тир,
«ТОВАРИЩИ! — гласил плакат.—
В РАЙОНЕ ТИГР!»

А я из Дальнего как раз
Шел
    в тыл,
Но на плакат внимания
Не об-
        ра-
            тил.

При чтении Сельвинский виртуозно использовал синкопы, с их помощью выделялись и акцентировались не только слова, но — по необходимости — слога.

В те дни я сызнова и вновь
Все думал об одном:
О слове душном и родном
По имени Любовь.

В стихотворение вошла другая равносильная тема, и голос Сельвинского становился печальным и нежным.

Дальше в стихах появляется «желт и бел, и два огня горят» — тигр!

Начинается схватка, где «зверь взял верх», но тут

Покуда в левое плечо
Вгрызаются клыки,
Пока дыханье горячо
Дымится у щеки
И тьма сознанья моего
Уже совсем близка —
Я стал почесывать его
За ухом... у виска.

И вот происходит чудо... «Еще его округлый клык дробит мое плечо...»,

Но ярость шла по голосам
Тленцой, а не огнем,
И зверь прислушивался сам
К тому, что было в нем.

Надо было слышать Сельвинского, когда он передавал этот переход, перепад, перебой, а может быть, перевив страсти — от ярости схватки к воркованию любви:

Когда вечерняя звезда
Растаяла ко дню,
Его рычание тогда
Сошло на воркотню.
Он дергал ухом. Каркал он.
Он просто изнемог.
Но растерзать меня сквозь сон
Уже никак не мог.

Голос, передававший перепады страсти, становился печально-ироничным, его интонация сдержанной и спокойной.

Вот, собственно, и весь рассказ,
В нем правды — ни на пядь.
Но он задуман был для Вас:
Я что
хотел
сказать?
Что если перед Вами я,
О милая, в долгу,
Что если с Вами, жизнь моя,
Ужиться не могу,
И ты хватаешься, кляня,
Рукой за рукоять —
Попробуй все-таки меня
За ухом... почесать.

И торжествующий мощный голос выносил финал баллады на громовой простор блистательной поэзии.

Какая мощь в твоей руке,
Какое волшебство
В перстах твоих и кулачке
И теплоте его —
Я никогда не знал о них
И жил бы день за днем,
Как вдруг схватился с тигром стих
В сознании моем.

Сельвинский комментировал голосом свои стихи, растолковывал и объяснял их. Это редкое качество, и, конечно, никакой профессиональный чтец не мог здесь заменить поэта.

В дружеском кругу, как я знаю, Сельвинского и называли тигром. Среди нас он был тигром домашним и когти выпускал разве что на одну четверть. Редко-редко прорывались в его голосе гневные ноты. Но гнев был, как правило, адресован за пределы кружка или семинара литературным недругам Сельвинского.

Многим мы обязаны Илье Львовичу. Он всемерно развивал лучшие качества, заложенные в нас, и всемерно гасил худшие. Уже за одно это можно сказать ему спасибо. Но он подарил нам и всего себя, а такой дар — неоценим!

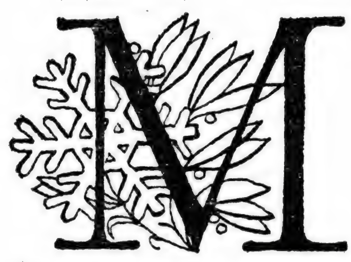
Теперь о том, с чего я начал и чем хочу кончить. В декабре 1939 года Сокольнический райвоенкомат включил меня в списки 34-го отдельного добровольческого легколыжного батальона. Больше месяца я числился студентом Литинститута, но воевать ушел через ифлийские ворота вместе со своими близкими друзьями.

Судьба батальона была трагичной. Среди погибших оказались Михаил Молочко и Георгий Стружко. Мы с Виктором Панковым, тяжело обмороженные, попали в госпиталь, он лежал в Кировском, я в Глазовском. Однажды мне принесли посылку из Москвы. Хорошие папиросы, хорошее вино, пачка писем и приказ по ИФЛИ, от 23 февраля 1940 года. В нем я упоминался в ряду отличников учебы и дисциплины. Я усмехнулся: после пережитого в финских снегах недавние студенческие передряги казались давними детскими шалостями.

А исключение, было ли оно? Лев Коган писал, что его пригласили в деканат и предложили сдавать зимнюю сессию. Об октябрьской истории ни звука.

Демобилизовавшись в апреле, я с ходу сдал курсовые экзамены, но тут же подал заявление о переходе на экстернат. В первые дни Отечественной войны я получил два диплома — ИФЛИ и Литинститута. Уходя на фронт, теперь уже из Дома Герцена, я пожал на прощанье твердую и внимательную руку Ильи Львовича. Вскоре Сельвинский сам ушел в действующую армию.

НА ТОЙ ВОЙНЕ НЕЗНАМЕНИТОЙ...



Меня иногда спрашивают: «Неужто среди твоих сверстников не было ни одного труса, прохвоста, шкурника? По твоим очеркам это сплошь великолепные ребята». Что на это ответить? Так, верно, судьба сложилась, но среди моих товарищей плохих людей действительно не нашлось. Недостатки у каждого были, но они никак не перекрывали добрых сторон. А добрые стороны чем дальше, тем ярче выступают перед глазами памяти.

О Михаиле Молочко писать одновременно труднее и легче, чем о Майорове, Суворове, Когане. Труднее потому, что рассказ нельзя дополнить стихами. Михаил их не сочинял. Легче — из-за того, что жизнь соединяла нас все время вместе, причем на ключевых точках предвоенной биографии поколения.

У меня сохранилась старая фотокарточка. По ней воскрешаю облик Михаила. Был он высок, строен, с очень прямой осанкой. Но не такой, про обладателя которой говорят: «Вот идет, словно аршин проглотил»,— а той непринужденной юношеской прямизной, что является будто внешним выражением самого душевного строя человека. Смех у него был своеобычным. Смеялись глаза, вздрагивала каждая жилка под тонкой кожей, но губы не размыкались. Мне всегда казалось, что он того и гляди так расхохочется, что и стекла в окнах не выдержат. Но этот молчаливый смех никогда не переходил в хохот.

В Михаиле всегда чувствовалась какая-то большая внутренняя сосредоточенность. Сжатая пружина, готовая в любой миг распрямиться,— таков был его характер. Смел он был по-настоящему. И не по-напускному, а естественно смел, причем не любил хвастаться своей смелостью.

Родом он был из Белоруссии, среднюю школу кончил в Могилеве, где до сих пор живо и сердечно хранят его память. Белорусское происхождение изредка выдавали ударения. В слове «товарищество» он нажимал на третий слог от начала. Слово это он любил и произносил с торжественным оттенком: «Пусть наше товарйщество будет на всю жизнь».

Товарищем он остался до последнего своего вздоха. Верным, крепким, мужественным. Весь первый курс ИФЛИ мы присматривались друг к другу, а перед началом каникул уговорились предпринять большое путешествие «по путям Горького». В компанию с нами вошли Костя Лащенко и Саша Белай. Решили на лодке спуститься по Волге, потом перекочевать на Дон и через Азовское море в Крым. Туризм был тогда далеко не так распространен, как теперь, но целевая установка путешествия казалась убедительной, и нам выдали маршрутную книжку, которую я недавно обнаружил среди старых рукописей. В книжке сохранились печати обкомов и горкомов комсомола, где мы отмечали свои остановки на долгом пути.

А путь был действительно долог. И оказался много трудней, чем мы предполагали. Восемнадцатилетние ребята, мы хлебнули лиха за эту поездку. Гребли и грузили, голодали и тонули,— чего только не было! Из Ростова-на-Дону возвратился к себе в Донбасс Костя: ему досталось больше всех, когда у нас ночью перевернулась лодка. Затянуло под баржу и вынесло с помятыми ногами вниз по течению. Продолжать путешествие он не мог. Еще раньше по телеграмме из дому уехал Саша. Вдвоем с Михаилом мы палубными матросами на грузовом пароходе добрались до Керчи, а оттуда в Феодосию. И вот мы лежим на августовском жарком пляже и лениво всматриваемся в суда на рейде. Одно из них останавливает наше внимание. На его борту написано белым по красному фону: «Гренада». Миша поднимается на локте: «Испания?» — «Да».— «Поедем?» — «Да». Ночью мы

вышли в море. Безрассудная юношеская мечта, абсолютно неосуществимая, руководила нами. Мы хотели явиться к капитану и попросить взять его нас добровольцами в Испанию. Судно ушло еще вечером, и мы на своей романтичной лодке не дождались отказа. Так светловский хлопец со своей Гренадой второй раз погиб вместе с Мишей Молочко в далеких северных снегах. Нет, не погиб! Он живет во мне, живет во всех моих друзьях, младших и старших. Имя ему — ленинский интернационализм.

Спустя год мы собрались в новое путешествие. На этот раз в Среднюю Азию. Это была одна из самых интересных и перспективных поездок в моей жизни. В том, что поездка в незнакомые края всегда интересная, доказывать нечего. Но почему перспективная? Да потому, что мне, девятнадцатилетнему парню, впервые открылась тогда поэзия народного труда и ее дыхание — вблизи и в отдалении, поодаль или рядом — сопровождало меня всю жизнь. Дыхание народного труда, дыхание стройки Коммунизма!

А коммунизм опять так близок,
Как в 19-м году,—

писал Кульчицкий в то время.

Большой Ферганский канал уже тогда называли стройкой Коммунизма, и это не было пустым звуком. На его стройку сошлись по доброй воле дехкане соседних районов. Они не получали за это денег, им засчитывали работу на трудодни. Вода была нужна истомленной земле, и люди решили ей дать воду — после она отплатит им сторицей. Началась подлинно народная стройка. Мы — четверо ребят из Москвы — тоже поехали сюда по доброй воле, прочитав в газетах об узбекском почине. Нас никто не посылал и не завербовывал: снялись — и в путь, истратив на билеты студенческие стипендии.

Два с половиной года длился наш дружеский союз с Михаилом Молочко, и на эти тридцать месяцев пришлись ключевые события нашей юности. Горьковская романтика волжского путешествия, завершившаяся всплеском интернационалистической романтики на крымском берегу: «Поедем в Испанию?» Прообраз коммунистического труда на стройке Большого Ферганско-

го канала. И наконец, та «война незнаменитая», как назвал финскую кампанию А. Твардовский, кончившаяся для меня госпиталем, а для Михаила гибелью.

А все это было соединено, овеяно, окрылено поэзией, романтикой, вечной юношеской мечтой «о доблестях, о подвигах, о славе». Все ребята, о которых я рассказываю,— Николай Майоров, Георгий Суворов, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, Михаил Молочко,— конечно, были людьми будущего. Они спокойно и непринужденно шагнули в него из студенческих общежитий, с военных дорог, из траншей и окопов. В посмертных публикациях было явлено новым поколением все до последней строки из созданного ими, и все это оказалось важным, нужным, ценным. Важно, нужно, ценно для тех, кто захотел до конца понять, почему мы победили в войне с фашизмом. Какие качества были свойственны победителям. А эти ребята были победителями и в своей жизни, и в своей смерти. Ни к кому более не подходило ближе старинное речение: «Смертию смерть поправ».

Из посмертных публикаций мои сверстники перешли в словари, справочники, энциклопедии. Но что неизмеримо значительнее: в обиходную память новых поколений и — мысленно снимаю шапку — в народную память. Называют улицы их именами, пионеротряды становятся в строй под их фамилиями, молодежь заучивает их стихи на память, пожилые люди пишут о них воспоминания.

Показательно, что каждый из этих ребят напряженно думал о будущем и пытался представить себя в нем. Наиболее четко об этом сказали в стихах Николай Майоров и Павел Коган. Оба тревожились, что будущее не разглядит их издалека, нарисует схемы вместо образов. Здесь они, к счастью, ошибались. Ведь если даже согрешили воспоминания, собственные их строки раскрыли бы истину. А истина высказалась бы до конца и показала моих товарищей через их стихи так, как они сами себя хотели бы увидеть.

От Михаила Молочко остались школьные дневники, статьи, неоконченная повесть. Стихами с будущим читателем, как, например, Майоров или Кульчицкий, он говорить не может. Отсюда особая роль живой памяти о нем. Перед войной, среди моих сверстников, он занимал видное место, и влияние его на окружающих было за-

метным. Постараюсь добавить новые черты к его портрету.

Думая о будущем, стремясь к нему, шагая в него, мои друзья несли на себе отпечаток давних судеб. Майоров напоминал героя «Юности Максима»; Суворов воскрешал в памяти черты офицеров 1812 года; Кульчицкий легко мыслился среди соратников Маяковского, да и сам был сходен с «красивым, двадцатидвухлетним»; Михаил Молочко был одним из самых действенных среди нас, может быть самым действенным. И я свободно представлял его молодым революционером прошлых лет. Мы недавно отметили 150-летие декабристского восстания. Как юный Одоевский, мой товарищ мог бы сказать: «Мы умрем. Ах, как славно мы умрем»,— и подставить грудь николаевской картечи. В 60-е годы прошлого века он печатался бы в «Современнике», пошел бы в Сибирь вслед за Михайловым и Чернышевским. В 70-е — уходил в народ, а в 80-е — метал бомбы в царя и кончил бы жизнь в Шлиссельбурге или на эшафоте. Двумя десятилетиями позже стал бы пропагандистом ленинской «Искры».

Это смелое допущение опирается на близкое знакомство с Михаилом, соединявшим в моих глазах идею и действие. Характер у него был, безусловно, героический, все время искавший выхода накопившимся силам. Силы были немалые, но до поры вступавшие в противоречие с чрезмерной юностью моего друга. Не было, опять-таки до поры, и настоящих точек приложения этих сил. В Испанию, доберись мы даже до заветного парохода, нас все равно бы никто не взял. Капитан, наверное, сперва рассердился, потом заулыбался, но спровадил бы нас обратно на крымский берег. Мы тогда, как говорится, еще носом не доросли до холмов Гвадалахары. Большой Ферганский канал был уже осуществлением идеи, но очень быстролетным, скорее давшим зарядку на будущее, чем реализацию в настоящем. «Незнаменитую войну» он обязан был пережить, и тогда бы мы услышали о его больших делах на большой войне. Но трагическая случайность оборвала его путь в февральских сугробах сорокового года. Не повезло.

Замечу, что инициатива волжского путешествия и среднеазиатской поездки принадлежала Михаилу. Разговор у него сразу переходил в план, а план перерастал в действие. О Волге, помню, он бросил мне мысль на иф-

лийской перемене, а к Фергане, задумав поездку весной, мы не возвращались в разговорах до лета. Михаил уехал после занятий недели на полторы к себе домой, я стал забывать об уговоре. Вдруг утром звонок — и на пороге Миша. «А я за тобой. Фергана ждет нас». Мы вышли на Рождественский бульвар и, прохаживаясь взад-вперед под зелеными деревьями, окончательно договорились о поездке. Дня через два мы уже сидели в поезде вместе с двумя другими своими товарищами. Кстати, во время этой поездки произошел еще один случай, весьма характерный для нашего тогдашнего жизнеощущения. Тут инициатива исходила уже от меня. Поезд шел вдоль Аральского моря. Только что мы проехали станцию с тем же названием. Сине-зеленая гладь под южным солнцем была настолько притягательна, что я проговорился: «А хорошо бы сойти!» — «Давай,— загорелся Михаил, стоявший рядом со мной у окошка.— Когда еще мы сюда попадем». Как раз в эту минуту, словно нарочно, поезд остановился на полустанке. Мгновенно стащили с полок рюкзаки и, не слушая чертыхавшихся друзей, пошли к выходу. Вылезли, огляделись, направились по песчаной дороге к густым камышам, колыхавшимся на берегу. Наши приятели догнали нас, и мы походя объяснили им причину нашей неожиданной экскурсии. Она им показалась, мягко говоря, неосновательной, но дело уже было сделано. Целый день мы провели на море. Купались, загорали, швыряли камнями в чаек. Ослепительно было солнце, ослепительно было море, ослепительной была наша молодая глупость. И впрямь с теперешней возрастной колокольни выглядит наша выходка достаточно глупой. Прервать поездку, бросить плацкартный вагон ради того, чтобы поваляться на берегу незнакомого моря... Стоп! Глупость-то глупость, но в юношеских святцах она носила другое название. Вслушайтесь в переплеск звуков: «на берегу незнакомого моря». Скольких людей — не нам чета! — этот переплеск срывал с обжитых мест, вырывал из семей, бросал в неизведанные края! Коснулся этот переплеск и нашего слуха в тот далекий день.

До Ташкента мы добрались уже не в плацкартном вагоне, а в переполненном общем, но зато побывали «на берегу незнакомого моря». Расстояние между замыслом и делом было у нас тогда коротким, а у Михаила Молочко почти совсем не существовало. Все это можно было

бы объяснить легкомысленностью, но какие же это легкие мысли о путешествии по горьковским местам, о стройке коммунизма, о первой войне в нашей жизни? Нет, мысли были серьезные, а легки мы были тогда на подъем, легки к исполнению задуманного. Эта черта молодости, потом она уступает трезвому взвешиванию противоречивых фактов, определению возможностей успеха и неуспеха.

Во всех неожиданных, а иногда рискованных предприятиях лучше товарища сыскать было нельзя. Решительность, смелость, настойчивость всегда характеризовали его поведение. В большом и малом. И потому таким ярким цветеньем вспоминаются, спустя десятилетия, различные случаи нашей совместной биографии.

Вот по окончании работы на Большом Ферганском канале, получив полный расчет и полные карманы благодарностей, мы решаем съездить в Шахимардан, местечко в горах, где был убит шейхами «узбекский Маяковский» — Хамза Хаким-заде. На попутном грузовике по каменистой дороге поднимаемся вверх. Открывается еще одна счастливая страница нашей юности.

Мы по узбекским городам
Навстречу счастью шли.
И встретил нас Шахимардан
Водой из-под земли.

Любимцы северной зимы,
Мы были рады ей:
— Спасибо,— вымолвили мы,—
За холод твой, ручей.

Спасибо, что напомнил нам
Разлет родимых вьюг,
Ты здесь, как мы, как север сам,
Прохладой входишь в юг.

Отдав ручью земной поклон,
Чинар прославив тень,
Мы перешли из яви в сон,
В шахимарданский день.

Так я писал на снежных полях 1945 года, в далекой Польше, во время зимнего наступления. Резкие ветра

обжигали наши лица, но мы не отворачивались от них. Это были ветра победы. И я во взятом штурмом Пултуске, в кругу таких же молодых офицеров, поднимал свой «капитанский тост» (так и было названо стихотворение) во славу братского Узбекистана, человеческой дружбы, прекрасной нашей молодости.

Январский полдень сер и тускл,
Я третий день в бою,
И взятый штурмом пал Пултуск,
И я в Пултуске пью.

Я пью вино чужих дорог
За юг большой страны,
За все, что я забыть не смог
В четвертый год войны.

Но что любопытно и кажется примечательным через многие годы: Узбекистан тогда представлял в наше распоряжение всю россыпь своей сокровищницы. Мы могли увидеть старинные дворцы и мечети, застыть перед величием древних гробниц, пройти по улицам, сохранившим следы Навои и Улугбека. А нас тянуло к «узбекскому Маяковскому»!

Еще одно воспоминание, носящее, пожалуй, трагический оттенок. Несколькими днями после Шахимардана мы сидим в ташкентской чайхане возле старого базара. Громкоговоритель над нами прерывает передачу и объявляет о только что заключенном пакте с Германией. Как помрачнел Михаил! «Неужели не будем драться с фашистами?!» — «Твое от тебя не уйдет,— отвечаю ему,— подождем малость».— «Думаешь, я не понимаю неизбежность этого пакта? Понимаю! А все-таки...» И уткнул лицо в ладони. Не мог он знать, что всего несколько месяцев отделяло его от белофинской пули.

Теперь о том, что составляло содержание нашей повседневной жизни. Лекции и влюбленности, прыжки с самолета и стадион, ночные споры в усачевском общежитии и первые опыты в стихах и прозе. Парашютные прыжки вызвали к жизни стихи «Приземленный ангел». Сейчас занятно повторить некоторые строки своего юношеского стихотворения, одинаково относящегося ко мне,

Михаилу, да и ко всему нашему поколению, и припомнить дерзкую улыбку, с которой они сочинялись.

...Я чувствую жжение за спиной,
Там, где у ангелов крылья.

Ангелом стать? Оцените мечту,
Причудливая затея...
Всего только шаг... но шаг в пустоту,
И вот — один в пустоте я.

Я в той пустоте, как литая струя,
Живое, веселое пламя.
И падаю,
          падаю,
                    падаю я
С раскрытыми настежь глазами.
. . . .

Болтаю ногами над вышиной,
Держась за тугие стропы,
И не Подмосковье — кружат подо мной
Америки и Европы.

Я с миром сейчас один на один,
Он хмурится, круглолицый.
Грозятся морщинами Рим и Берлин,
Две яростные столицы.

Хочешь не хочешь, придет пора,
Встанут с враждебной речью...
Но недаром я ангел! Силы добра
Им выйдут за мной навстречу.
. . . .
Толчок. Приземленье. Гашу парашют.
Отстегиваю амуницию.
Никто не заметит, что в беге минут
Успел я перемениться.

Но щелкнуло что-то такое во мне,
Я словно возвысился в ранге.
И твердо стою я на зыбкой земле,
Навек приземленный ангел!

Формулировки наивные, но ощущение истории верное. А ведь мы жили тогда в истории! В потоке подчас труднее судить о направлении стрежня, чем позже, с холмов времени. Мы судили и в общем были близки к истине.

Любопытно, конечно, ироническое определение своей «ангельской» природы. Тут дело обстоит не так просто. В нас жило чувство такой своей правоты, что мы действительно чувствовали «жжение за спиной, там, где у ангелов крылья». И наряду с этим все время маячила возможность переселиться в недалеком будущем в те края, где — по речению древних — «несть печали и воздыхания». Мной эта возможность ощущалась меньше, чем — к примеру — Суворовым, Майоровым, Коганом, но стихи свидетельствуют, что и я не забывал о ней.

Когда тебе за пятьдесят, все чаще в руках оказывается скальпель, которым ты рассекаешь свое прошлое. Беда в том, что перед тобой лежит не труп, а живое тело, и чуть неловкое движение, как начинают говорить давние болевые точки. И не только говорить, кричать.

Такой болевой точкой является вопрос о жертвенности поколения. Вставал ли он вплотную перед нами? Будущая война отнюдь не рассматривалась как всеобщая плаха. Существовала твердая уверенность, что советский народ и наше поколение, как его составная часть, выйдет победителем из любой самой жестокой войны. Здесь никаких сомнений не было. Но было ясно, что война потребует множества жизней. Почему именно моя жизнь станет неприкосновенной в надвигающейся трагедии? — такой вопрос вставал перед Майоровым, Суворовым, Коганом. Внутреннее чувство подсказывало: надо принять заранее возможную необходимость собственной гибели. И тут каждый знал, на что он идет. Возможная необходимость и жертвенность — понятия разные. Примерно так решился этот жестокий вопрос.

Впервые он возник перед теми, кто пошел добровольцами на финской фронт. Там окончился жизненный путь моего товарища. Трудно передать ощущение осени 1939 года. Мир взорвался вокруг нас, началась вторая мировая война. События опережали события. Гитлеровцы прошли огнем и мечом Польшу. Наши войска освободили Западную Украину и Западную Белоруссию. Студенты гудели на переменах, обсуждая газетные новости. Но

жизнь в этом зыбком равновесии продолжала идти своим чередом. Состоялся вечер трех поколений в Юридическом институте. Председательствовал на нем Михаил, воспринявший эту честь как само собой разумеющееся (я рассказал об этом вечере в очерке о Павле Когане). В «Литературной газете» появились статьи Миши, подписанные фамилией Молова. В редакции оказался человек, увидевший в нем задатки серьезного критика. Это была Ольга Алексеевна Колесникова, старая коммунистка, соединявшая в себе лучшие черты редактора правдистской школы. Вслед за Михаилом потянулись к ней и другие ребята, но наша пора печататься пришла позже. Студенческая повесть, начатая Мишей, постепенно набирала страницы.

В декабре я не ходил в институт, и первые дни добровольческого движения прошли мимо меня. По газетам я, конечно, знал, что началась война с Финляндией, и мысль об уходе на фронт уже созревала во мне. Сгустился перенасыщенный раствор, нужна была последняя крупинка соли, чтобы он стал кристаллизоваться. Такой крупинкой стал приход Михаила в мою комнату на улице Мархлевского. Я валялся на кушетке и читал какую-то книгу. Поговорили о том о сем, потом Михаил, уже собираясь уходить, как бы между прочим сказал: «А я записался добровольцем на финский фронт».— «Где идет запись?» — «Она уже кончилась. Но если пойти в комитет комсомола, можно успеть». И все. Мы попрощались, а я, проводив приятеля, стал собираться. Меньше чем через час я сидел уже у секретаря вузкома и объяснял ему срочную необходимость посылки меня на фронт. «Хожу на лыжах; стреляю». Высоких слов мы не произносили, они подразумевались. «Сейчас я тебе напишу записку в райвоенкомат, только поезжай сразу, может быть, смогут воткнуть в список».— И, помолчав, добавил: — «Я тоже поеду, только позже». Свое намерение он выполнил.

С запиской в руках я через полчаса вошел в Сокольнический военкомат. Уже вечерело. Дежурный лейтенант зажег свет, прочел направление и без всяких околичностей внес меня в список. Опять никакой болтовни, все разумелось само собой.

Спустя две недели мы были уже в Подольске, где формировался батальон, а на фронт попали в январе но-

вого, 1940 года. Нас отправили в рейд по тылам противника. Попали в тяжелую обстановку. Повидали такое, что до сих пор мороз по коже, когда вспоминаешь.

Здесь мертвецы стеною за живых!
Унылые и доблестные, черти.
Мы баррикады строили из них,
Обороняясь смертью против смерти.

За ними укрываясь от огня,
Я думал о конце без лишней грусти:
Мол, сделают ребята из меня
Вполне надежный для упора бруствер.

Эти стихи я писал уже в госпитале. Оттуда же и послал письмо, которое мне вернул адресат через тридцать с лишним лет. Оно коротко, но, несмотря на сжатость, достаточно полно передает происшедшее.

«Верхний Идель. 10.2.40 г.

Письмо будет горьким. Вот что я знаю о ребятах: Мишка Молочко — пропал без вести. В батальоне говорят, что он убит. Жорка Стружко — пропал без вести. В батальоне говорят, что он отстал от колонны и замерз. Витька Панков — в госпитале — обморозился. Я попал в другую колонну, чем ребята, поэтому говорю со слов бойцов и командиров, с которыми говорил после встречи частей батальона. В строю ребят не оказалось. Был в боях. Много товарищей погибло. От 1 роты осталось в строю 14 человек. Не спали шесть суток. Условия были тяжелыми. Передай Льву Когану, что его товарищ В. Савченко отстал от колонны и замерз. Только две ледяные сосульки на усах торчало. Финны орудуют небольшими бандами. Обстреливали беспрестанно и с разных сторон. Писать трудно — каждую строку как клок мяса рвешь. Кончаю. Пишу из госпиталя. Обморожен. Пальцы на ногах, кажется, останутся при мне. По выздоровлении, недели через две, опять на фронт.

Привет ребятам и девочкам.

Сергей».

...Такова документальная проза нашего поколения. Она избавляет меня от необходимости пересказа событий. «На той войне незнаменитой» расстались мы навсегда с Михаилом Молочко.

Навсегда? Да нет, конечно! В каждом поколении есть люди, рано сошедшие с жизненного пути, но оставившие прочный след в памяти тех, кто продолжал по нему идти. Отпечаток своей личности такие люди накладывают на события, совершающиеся уже без них. Возмужавшие сверстники мысленно оглядываются на свою юность, которая воплощена в таких людях. В старину их называли предтечами. Вот таким предтечей поколения был Михаил Молочко. Лучшие его качества — безоглядная смелость, слиянность замысла с деянием, стремление к большой цели, преданность отчизне — были повторены и развиты его сверстниками.

Снимаю шапку перед тобой, давний товарищ!

ПОЭТ НА ФРОНТЕ



Не представляю, куда мог задеваться мой фронтовой дневник. Вел я его короткое время, с лета 1943 года по зиму 44-го. Состоял он из отрывочных записей: блокадный Ленинград, встречи с Тихоновым, Берггольц, Прокофьевым, Дудиным, Суворовым. Особенно жаль страниц, где живописалось знакомство с последним. Они хранили память первого взгляда на этого красавца, который навсегда остался для меня воплощением фронтовой молодости. Георгий Суворов наполнял потерянные строки своим дыханием, улыбкой, стихами. Все же попробую вспомнить, о чем я тогда писал. Правда, не воскресишь первоощущения, но пройду хотя бы по его следам.

Знакомство с гвардейским поэтом вначале у меня было заочным. Я много о нем наслышался от Дудина и Тихоновых. Дудин говорил о нем с заинтересованным удивлением, а Тихоновы — Николай Сергеевич и Мария Константиновна — с удивлением тревожным. Причины заинтересованности и тревоги вскоре мне стали понятны, когда я сам сошелся с Суворовым.

Тогда я работал в армейской газете, а Георгий в дивизионной: 2-я Ударная армия, в которой я служил, была соединением меняющегося состава. К моменту наступления в нее входили многие части, а после него передавались опять в другие армии. Гвардейская дивизия, где находился Суворов, вошла в наш состав перед зимним

наступлением 1944 года. Я воспользовался первой возможностью попасть к гвардейцам.

Редакция размещалась в домах дачного поселка. Я представился редактору, им оказался Николай Никифорович Маслин, с которым меня потом судьба сталкивала не раз. Литературовед и критик по довоенной профессии, он был человеком ироничного и цепкого ума, чуждым формальной службистики. Маслин меня и провел к Георгию. Распахнулась дверь — и принимай гостя: «Наровчатов».— «Суворов». Если существует влюбленность с первого взгляда, то она как раз и возникла между нами. Только в разгаре молодости возможны такие движения души, которые сразу столкнули двух лейтенантов в размашистом объятии. «Вечер и ночь в вашем распоряжении,— усмехнулся Маслин.— А мне здесь делать, кажется, нечего»,— и закрыл дверь за собой.

Я рассматривал своего нового знакомца. Ни одна из сохранившихся фотографий не может передать даже малой толики суворовского облика, а уж про обаяние и говорить нечего. Прежде всего, он был просто хорош собой. Высокого роста, стройный, широкоплечий — офицерское обмундирование сидело на нем как влитое,— со смелым взглядом серых глаз из-под правильно очерченных бровей, смуглым румянцем щек, красивым ртом с красивыми зубами и, наконец, с отличными гвардейскими усами,— он будто сошел с эстампов еще Отечественной войны 1812 года. Лицо его выражало доверчивость и вызов одновременно.

Из всех моих друзей-одногодков Георгий Суворов наиболее воплощал в себе лучшие офицерские качества. «Есть в русском офицере обаянье»,— эта его строка относится к другому человеку, но больше всего она подходила к самому Суворову.

В редакцию он попал после госпиталя; до этого он командовал ротой на жарком участке передовой и хорошо знал, почем фунт лиха.

Меня в нем насторожило то, что встревожило и Тихоновых. Я где-то уже говорил, что мои сверстники спокойно относились к возможной необходимости собственной гибели. У многих из нас были стихи о своей смерти, которая угадывалась в будущих боях. У многих, но не у всех. Еще со времен финской кампании я воспринял солдатскую примету: «Смерть не вспоминай, и так за плеча-

ми стоит». В примете, наверное, сказался тысячелетний опыт ратных дел. Угнездится в тебе смертная мысль, в опасный момент овладеет тобой пагубное безразличие, потеряешь необходимую сопротивляемость. И я, помнится, противился этим «memento mori» в стихах и письмах. А у Суворова такая мысль настойчиво наполняла строки.

Мы тоскуем и скорбим,
Слезы льем от боли...
Черный ворон, черный дым,
Выжженное поле.

А за гарью, словно снег,
Ландыши без края...
Рухнул наземь человек,—
Приняла родная.

Беспокойная мечта,
Не сдержать живую...
Землю милую уста
Мертвые целуют.

И уходит тишина...
Ветер бьет крылатый.
Белых ландышей волна
Плещет над солдатом.

Характерные для Суворова стихи. Лучшие строки в них, строки с подлинно народным ощущением: «Рухнул наземь человек,— приняла родная». Приняла!

Но в этот день, вечер, ночь мы меньше всего говорили о смерти. Да, только в молодости возможно такое взаимораскрытие с первого взгляда, с первой встречи. О чем мы не говорили! Наполненные стаканы не стояли перед нами, мы были хмельны своей молодостью, прекрасной своей молодостью! Она обнимала все: прошлые и теперешние встречи, написанные и ненаписанные стихи, начавшееся наступление на всех фронтах. И заветное, тревожное, ослепительное, то, что мы обозначили двумя словами: «после войны».

Это «после войны» рисовалось нами как нечто яростное, бурное и — принадлежащее нам с начала до конца. Мы жили в эти часы предощущением счастья, не сознавая, что мы сами были тогда счастьем. Счастьем дышала наша молодость, счастьем полнилась дымная ночь, счастьем звенели прерывистые слова.

И то, что спустя тридцать лет вспоминается горьковато-невозвратным ощущением: слитые воедино душевное и телесное здоровье. Все в тебе ладно, все хорошо скроено, руки и ноги на славу, грудь дышит вовсю, сердца не замечаешь, зубами пятак перегрызешь. Шучу, конечно, но это печальная шутка человека, которому уже за пятьдесят. Ведь то, что в тебе тогда играла каждая жилка, а мускулы рвались на волю из-под лейтенантского мундира, неуследимо сливалось с твоим жизнеощущением, а оно искало выхода в намерениях, поступках, стихах.

И для той первой нашей встречи, пожалуй, больше всего подходит одно короткое суворовское стихотворение. Оно многое проясняет в тогдашнем самочувствовании:

Мы вышли из большого боя
И в полночь звездную вошли.
Сады шумели нам листвою
И кланялися до земли.

Мы просто братски были рады,
Что вот в моей твоя рука,
Что, многие пройдя преграды,
Ты жив и я живу пока.

И что густые кудри ветел
Опять нам дарят свой привет
И что еще не раз на свете
Нам в бой идти за этот свет.

Надо заметить, что и здесь Георгий остался верен себе с этим «живу пока», но оно уже было в нем неистребимо. А все-таки главное ощущение — «и что еще не раз на свете нам в бой идти за этот свет» — властно владело нами. Мы его мыслили как бой за поэзию и, что естественно для молодых людей, за самоутверждение в этом бою. Прикидывали на глаз спутников и соратников. Я еще не знал, что погибли Николай Майоров, Михаил Кульчицкий, Павел Коган, они тогда заполняли для меня первую шеренгу. О Луконине, цитируя на память стихи, я рассказывал Георгию битый час. Он помнил луконинские строки по публикациям в довоенных журналах: «Презираю девушку Полю за ее любовь осторожную...» Я передал Суворову надменную шутку, сопровождавшую нас с Лукониным в окружении: «Слишком

жирно для фашистов будет ухлопать сразу двух поэтов». Георгий расхохотался: «Однако и самонадеянность у вас, друзья... Пуля, она не разбирает, поэт ты или прозаик». Прогремел со своей «Перед атакой» Семен Гудзенко. Я его знал по ИФЛИ, но тогда он только начинал, а теперь война формировала из него сильного поэта. Вспоминали мы и других сверстников. Подолгу останавливались на ленинградцах, в первую очередь на Михаиле Дудине: с ним мы оба успели сдружиться и очень он нам тогда «показался». На всех фронтах были у нас друзья, и с ними мыслили мы свой послевоенный путь. Нас проникало удивительное чувство общности молодой поэзии, и тысячи километров, разделявших нас от друзей, не казались даже метрами. Вот распахнется дверь и войдет в нее Платон Воронько или Михаил Дудин — и мы нимало этому не удивимся. Не знали мы и не могли знать, что стольких потом не придется досчитаться. В первую очередь — одного из нас двоих.

Много говорили мы об учителях. К Тихонову оба мы были привязаны накрепко. Я помнил наизусть больше сорока его стихотворений, восхищался им как поэтом и человеком. Но у Суворова прибавлялась к этому влюбленность солдата в маршала. Это тоже добрая черта молодости, ищущей для себя духовные образцы. Когда через несколько месяцев смертельно раненный Суворов метался на койке в медсанбате, он все время звал Тихонова. Редко кто может сослаться на такую, более чем сыновнюю, привязанность.

Но интересно, что тихоновский стиль мало чем отпечатался в стихах Суворова. Разве что афористичностью отдельных строк и особенно концовок. В Тихонове молодой офицер искал и нашел нравственное соответствие своим поступкам и стремлениям — дело, наверное, в этом.

Вспоминая тот день, тот вечер, ту ночь, я не могу на расстоянии не подивиться одному странному обстоятельству. Молодые здоровые люди, видные ребята, как говорится, мы почти не говорили о женщинах. Так, мимоходом, отмахиваясь, как от чего-то второстепенного и даже мешающего. И хотя пуританами мы не были, разговор со стороны выглядел бы, наверное, юношески пуританским. Все перекрывала поэзия, единственная женщина, перед которой мы преклонялись. А ведь читали друг

другу и любовные стихи, но ни разу они не натолкнули на вопрос об адресатах. Стихи для нас казались важнее, чем повод к их созданию.

Проговорили мы всю ночь и заснули где-то на рассвете, улегшись валетом на постель. Подушку, как гостю, Георгий уступил мне, а себе под голову положил скатанную шинель.

Утром мы направились в полк. До него было километра три по лесной дороге. Северная зима началась рано, снега были уже большие, но бревенчатая гать была разъезжена грузовиками, и наши каблуки звонко стучали по обледенелому настилу. И вот опять невозвратное ощущение сильной и здоровой молодости. Белые полушубки, перепоясанные офицерскими ремнями, планшеты с картой-двухверсткой на левом боку, пистолеты на правом, шапки «чудо набекрень», как писал когда-то Денис Давыдов. Над нами — солнце в морозной дымке; вокруг — ели в тяжелом блещущем инее, а в нас самих — праздничное любование этим зимним утром, лесной дорогой, друг другом. Вспыхнувшее чувство к Суворову носило у меня характер влюбленности, да и у него оно имело тот же отпечаток. Конечно, такая быстрая взаимоприязнь — черта молодости, но было здесь и другое. Мы ощущали себя поэтами, и это никем не присуждаемое звание заранее предполагало наш союз, дружбу, привязанность с первого взгляда. Словно мы принадлежали к неведомому ордену, члены которого сразу угадывали собрата по оговоренному знаку.

Мы пришли в полк и, захватив оттуда помощника по комсомолу — юного веснушчатого сержанта, направились в боевые порядки. На передовой было тихо. Изредка прогремит выстрел или очередь; артобстрел остался далеко за плечами, мины тоже разрываются позади. Суворова в ротах знали все от командиров до солдат,— чувствовалось, что он здесь свой человек. До газеты он сам командовал взводом и ротой, хорошо знал все детали и частности фронтового бытия, солдат для него прежде всего товарищ по трудному военному ремеслу. А солдата на мякине не проведешь, он сразу видел, с кем имеет дело, и доверие к Суворову было полное.

«Вот привел к вам еще одного поэта,— кивнул на меня Георгий.— А то вы думали небось, что я один пишу стихи. Как, почитаем им?» Тут же, в траншее, около зем-

лянки командира роты, мы стали читать стихи. Начали с Тихонова и Прокофьева, потом перешли к своим. Слушатели оказались благодарные. Надо заметить, что положение поэта в действующей армии было хорошим. Да что поэта, просто человека, пишущего какие-никакие стихи. Пожалуй, наиболее распространенным было иронически-почтительное отношение. Ироническое — потому что стихи в общем-то серьезным делом не почитались; почтительное — в силу необычности дара складывать слова так, как другие не умеют, да еще весело, да еще печально. Великую помощь самым незаметным стихотворцам армии оказали имена, вынесенные солдатами еще из сельских школ. Помню смешной эпизод. Однажды я пришел к одному знакомому комбату. Его, как на грех, вызвали на инструктаж в тот самый момент, когда я перешагнул порог землянки. А я прошагал перед тем верст пятнадцать, устал, промок, голоден. Комбат, взвесив обстоятельства, усмехнулся и, обращаясь к ординарцу, сказал: «Знаешь кто это? Пушкин! Вот и заботься о нем еще лучше, чем обо мне». Ординарец, конечно, понял усмешку, но суть моей профессии дошла до него мгновенно, и несколько часов я действительно пользовался незаслуженными лаврами.

Война заставила нас, пришедших на фронт со студенческой скамьи, во многом переоценить свои взгляды на поэзию. Прежде всего на ее демократичность. Мы перед войной часто грешили в стихах запутанностью речи, усложненностью метафор и синтаксиса. Это объяснялось не только плохой учебой у хороших учителей. Аудитория, состоявшая из таких же ребят, как мы сами, понимала нас с полуслова, скорее даже не понимала, а угадывала, и нам этих одобрительных догадок хватало за глаза. Напечатанных строк у каждого было мало, и широкий читатель у нас, за неимением читаемого, просто отсутствовал.

Теперь же мы вплотную встретились с этим широким читателем, а вернее, слушателем. Он сидел в солдатской шинели на бревне у костра и, поставив винтовку между колен, доверчиво смотрел нам в глаза. Это доверие нельзя было обмануть. Всегда приходила мысль: «Ну что я буду здесь выкобениваться, надо за душу брать, а не играть созвучиями». И солдатский читатель стал нашим главным и единственным учителем в годы войны.

Именно ему должно отдать поклон за науку фронтовое поколение поэзии.

Георгий Суворов был одним из первых, кто до конца усвоил этот урок. Тогда на передовой, вблизи от противника, среди других стихотворений он читал одно, запомнившееся мне по контрасту с окружающей обстановкой. Помню, оно заворожило бойцов. Потом стихи получили название «Первый снег».

Веет, веет и кружится,
Словно сонм лебедей,
Вяжет белое кружево
Над воронкой моей.

Улетает и молнией
Окрыляет, слепит...
Может, милая вспомнила,
Может, тоже не спит.

Может, смотрит сквозь кружево
На равнину полей,
Где летает и кружится
Белый сонм лебедей.

«До чего ж красиво сказано,— мечтательно произнес один молоденький солдатик.— Дайте я их спишу, товарищ гвардии лейтенант». Лучшего одобрения ждать не приходилось.

По давнему принципу, что зимой нужно говорить о лете, поэзия мирных дней воспринималась фронтовиками едва ли не сильней, чем военная поэзия. Наповал действовал Есенин, народность его я до конца понял именно в годы войны. Правда, многое зависело от социального состава слушателей. Армия была в основном крестьянской, больше половины населения страны в то время составляли жители села. И есенинские пейзажи, щемящая лирика, обращенная к деревенским воспоминаниям, среди недавних пахарей всегда вызывали слезы на глазах. Но среди путиловских рабочих (они себя вперемежку именовали то путиловцами, то кировцами) с более резкой силой воспринимался Маяковский. Воскрешались иногда старые привязанности. Однажды меня, помню, зачитал стихами Жарова и Безыменского комиссар полка. «Как вы все это запомнили?» — подивился я. «Ну что вы,— ответил он,— это же наша комсомольская юность. Еще бы

мы не знали своих поэтов». И продолжал чтение жаровской «Гармони».

Поэт на фронте всегда являлся пропагандистом поэзии в целом. В зависимости от пристрастий, вкусов, образования фронтовые поэты оперировали русским стихом от «Слова о полку Игореве» до своих собственных строк. Не обходили и мировую поэзию. Как-то раз, еще в первый год войны, разведчики притащили «языка». Мне пришлось выполнять функции переводчика. Комбат через меня спросил немца о ближайших огневых точках, расположении штаба, еще о чем-то. Потом за пленного принялись бойцы: «Как они там живут, в Германии? Почему, сволочи, полезли к нам?» Меня же, по первозданной наивности тех первых военных месяцев, интересовал культурный уровень фрица. Знает ли он Гёте, Шиллера, Гейне? Не знал, балбес такой. Я ему процитировал по-немецки «Горные вершины». Не слышал? Да ведь это же Иоганн Вольфганг... Бойцы заинтересовались. Я им прочел лермонтовское переложение: «Горные вершины спят во мгле ночной...» Солдаты удовлетворенно заулыбались: «А мы-то своего Пушкина знаем».

Георгий Суворов обладал отличной памятью, и его солдатские слушатели могли, наверно, пройти вместе с ним сокращенный курс Литинститута, если б на то хватило времени и возможностей. Конечно, ни того, ни другого не было, шла война, и война жестокая. Когда спустя месяца три я попал в ту же роту, от прежнего ее состава осталось человек двадцать. И Георгий уже доживал на белом свете последние недели.

Прочитав стихи, поговорив с солдатами, взяв материал для армейской и дивизионной газет, мы собрались в обратный путь. Уже вечерело, и мы, чтобы не потерять тропу, набавили шагу. По пути опять возобновилась беседа. Суворов рассказывал о своей сибирской жизни. Дед его с материнской, кажется, стороны был, по его словам, шаманом, и от него, мол, он унаследовал поэтические задатки. Я с некоторым недоверием, помнится, отнесся к этому сообщению, но, боясь обидеть товарища, промолчал. Тогда все мы, каждый на свой лад, романтизировали свои биографии. Павел Коган сумрачно намекал, что происходит от хазарских каганов, а Михаил Кульчицкий хвастался, что в его роду был один доподлинный и канонизированный святой. И ни тот, ни другой

не предполагали, что реальная земная жизнь вознесет их выше всех каганов и святых. Наверное, и суворовский шаман был того же происхождения, а впрочем, чем черт не шутит.

В дивизии оказался попутный грузовик, и я, наскоро попрощавшись, покинул гвардейцев, торопясь со свежим материалом в армейскую газету. Из кузова несколько мгновений мне видна была фигура Суворова, махавшего мне шапкой в дорогу. Вечерние тени быстро затемнили его, грузовик набирал скорость.

С Георгием Суворовым мы потом встречались несколько раз, а в перерывах между встречами обменивались письмами. Он расстался с дивизионной газетой и вернулся в строй командиром взвода противотанковых ружей.

В дни зимнего наступления, когда немцы были разгромлены под Ленинградом, наши войска, преследуя противника, вышли к Нарве. На левом ее берегу был захвачен плацдарм. К нему через ледяную переправу днем и ночью шли подкрепления, везли боеприпасы и продовольствие. Гитлеровцы вели по переправе ожесточенный огонь. Артиллерийский снаряд разорвался посредине боевых порядков взвода, который вел на левый берег Суворов. Он весь был искромсан осколками, но молодой здоровый организм долго сопротивлялся смерти. Георгий умер в медсанбате, повторяя имя Тихонова. И в последние минуты поэзия оставалась вместе с ним. Я это услышал от врачей и сестер, спустя дня три после гибели поэта. Он к тому времени был уже погребен.

Поразительной эпитафией ему, да и не только ему, всем безвременно погибшим на фронте, послужило стихотворение, сложенное Суворовым за несколько дней до смерти.

Еще утрами черный дым клубится
Над развороченным твоим жильем.
И падает обугленная птица,
Настигнутая бешеным огнем.

Еще ночами белыми нам снятся,
Как вестники потерянной любви,
Живые горы голубых акаций
И в них восторженные соловьи.

Еще война. Но мы упрямо верим,
Что будет день,— мы выпьем боль до дна.

Широкий мир нам вновь раскроет двери,
С рассветом новым встанет тишина.

Последний враг. Последний меткий выстрел.
И первый проблеск утра, как стекло.
Мой милый друг, а все-таки как быстро,
Как быстро наше время протекло.

В воспоминаньях мы тужить не будем,
Зачем туманить грустью ясность дней,—
Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей.

Все лучшие черты поэзии Георгия Суворова нашли выражение в этом стихотворении. Это стихи огромного душевного и духовного простора. Прощальные слова уходящего навек человека, они сказаны как бы вполоборота на медленном неостановимом шагу. Первые строфы еще звучат надеждой, что широкий мир откроется равно всем, но последние четверостишия звенят уже пронзительной нотой расставания. Меня всего буквально переворачивает от провидческих строк: «Мой милый друг, а все-таки как быстро, как быстро наше время протекло». Да, да, да! Кажется, только оглянись — и вновь встанет на пороге твоей жизни ослепительный красавец с гвардейским значком на гимнастерке, а за ним встанут очертания города твоей юности с адмиралтейской иглой, врисованной в бледно-зеленое небо, вспыхнут походные костры, с греющимися около них солдатами, услышатся давние стихи, прерываемые грохотом снарядов. И как в потускневшем зеркале увидишь и свой давний облик, мало чем сходный с теперешним. В дни своей молодости я воспринимал как ненужный сантимент печальное восклицание Гоголя: «О, моя юность! О, моя свежесть!» И лишь сейчас я оценил его по достоинству. «Как быстро наше время протекло...»

В последних стихах Георгия Суворова разлита такая мудрая и всепобеждающая сила, что трудно поверить в принадлежность их молодому человеку, почти мальчику. В стихах заключена скорбная самооценка всего поколения, и строки

Свой добрый век мы прожили как люди —
И для людей —

можно назвать поистине великими. Ведь в самом деле, великие слова свойственно произносить не только вели-

ким людям. Вряд ли политрук Клочков, обратившийся к бессмертным 28-ми со словами: «Велика Россия, а отступать некуда, позади — Москва», ощущал себя великим человеком. А он и впрямь был великим тогда и великими остались его слова. Так и с Суворовым. Я уже как-то писал, что наше поколение не выдвинуло гениального поэта, но все вместе оно стало таким. И великие слова, сказанные Георгием Суворовым накануне своей смерти, принадлежат всему поколению.

С товарищем фронтовой молодости я неожиданно встретился спустя много лет. Встреча оказалась настолько неожиданной, что выглядела бы выдуманной, не будь ей многих свидетелей. В «Дне поэзии 1972» я опубликовал стихотворение «Утро над Невой». Ему были предпосланы такие слова:

«История этих стихов печальна и, если угодно, романтична. Я стихи считал пропавшими и, написав их в блокадном Ленинграде 1943 года, помнил только название «Утро над Невой».

В позапрошлом году мне их прислал из Новосибирска Леонид Решетников. Он готовил к печати книгу Георгия Суворова, хорошего поэта, родом и воспитанием сибиряка. В поисках материалов составитель обратился в Нарву, под которой погиб Георгий Суворов. В нарвском музее хранилась полевая сумка поэта-гвардейца. Ее вскрыли и среди полуистлевших бумаг обнаружили эти стихи.

Георгий Суворов был моим близким другом, я послал ему стихотворение с одного участка фронта на другой. Он получил его незадолго перед своей гибелью на нарвском льду зимой 1944 года. Прошло почти тридцать лет, и стихи вернулись ко мне. Здесь можно бы вывести приличествующее случаю умозаключение, но не стоит этого делать. Бывают факты, поражающие именно своей пронзительностью».

Я и сейчас ничего не хочу к этому добавлять, разве что, владей мной суеверное чувство, мне подумалось бы, что давний мой товарищ шлет напоминание о себе и в таком случае теперешний очерк стал бы ему ответным посланием. Но я давно растерял все суеверия, оставив их ради спокойной веры в непременность чувств, владевших нами во фронтовой молодости. Постоянным отражением и воплощением ее стал для меня Георгий Суворов.

Вспоминая о нем, я часто повторяю ранние пушкинские строки:

В те дни, когда мне были новы
Все впечатленья бытия,
И взоры дев, и шум дубровы,
И ночью пенье соловья,

Когда возвышенные чувства —
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенные искусства
Так пылко волновали кровь...

Возвышенные чувства! В них был весь Суворов, вся его поэзия.



В АРМЕЙСКОЙ ГАЗЕТЕ



Изба офицеров связи стояла на пригорке. Шагнув через порог в облаке встречного пара, я не сразу различил знакомые лица: Пантюшин, Лебедев, Стекольников... А это кто?

За столом в расстегнутом полушубке сидел человек, которого я почти наверняка где-то встречал. Но где? Память на лица у меня была фотографическая. Раз увидев, запоминал навсегда. И тут это широкое лицо — с кустистыми бровями под выпуклым лбом, удивительно российское, обыденное и необыденное вместе, показалось мне давным-давно знакомым.

— Здесь товарищ из Питера, по твоей линии,— доверительно обратился ко мне Федя Пантюшин.— Приказано доставить его до дивизионного КП.

Знакомый незнакомец приподнялся из-за стола и поштатски отрекомендовался:

— Александр Прокофьев.

Прокофьев! Ну конечно же это тот самый, чей портрет открывает книгу его стихов. Она лежит в моем рюкзаке, еще бы не помнить лицо, теперь только оно постарше довоенного.

Эти летучие мысли проносились у меня в голове, пока я жал руку Александру Андреевичу.

— Мы вас так ждали,— обрадованно говорил я,— так ждали! Меня в редакции не было, послали в дивизию, а то бы раньше познакомились!

— Ну и хорошо. Ну и хорошо,— слышалось в ответ глуховатое приладожское оканье.— Зато здесь познакомились, на пороге, как говорится, событий. Как тебя звать-то? Сергей? «Вся деревня Сергеевна»,— неожиданной ухмылкой перемежил он взаимное представление и сразу же, совсем по-домашнему, добавил: — Ты здесь, Сережа, человек свой, а я пока что пришлый. Куда меня посылают-то? Может, подальше от передовой, чтоб ненароком не убили поэта? Скажи по правде, ведь мне такой резон не подойдет.

— С Федей,— кивнул я в сторону Пантюшина,— попадете куда нужно. Его в тихие места не посылают.

Федя довольно сожмурился.

Через день в одной из наступающих рот я вместе с солдатами прочитал шапку на свежем номере «Отважного воина», газеты 2-й Ударной армии.

Враг задрожал от удара такого —
Бейтесь, как бьются бойцы Полякова!

А дальше шло короткое сообщение о том, что разгромлен сильный опорный пункт немцев — роща Круглая.

«Вот где оказался Александр Андреевич,— подумал я,— только б и впрямь не было беды».

Беды, к счастью, не случилось, и вскоре мы встретились с Прокофьевым в редакции уже как старые знакомые.

Все это происходило в январские дни 1943 года, в дни прорыва блокады. Александра Прокофьева к нам направили из Ленинграда по ледовой трассе через Ладожское озеро «для смычки и помощи», как заявил, поблескивая веселыми очками, наш редактор Алексей Иванович Прохватилов. Все пошло по его словам: смычка оказалась крепкая, а помощь великая. В каждом номере газеты во время боев гремели строки Прокофьева.

У каждого из нас было свое РОСТА. В заводских многотиражках и районных газетах проходили мои старшие товарищи школу партийного слова. Молодые ребята вроде меня впервые прошли ее во фронтовой печати.

Многое она дала нам: мобильность, быстроту реакции, политическую хватку. Но прежде и раньше всего — прямой разговор с народным читателем. Этот читатель был одет в солдатскую шинель, в его руках было оружие победы, и мы писали для него.

Передо мной сейчас лежат старые номера «Отважного воина». Каким-то чудом сохранились они в одной из моих давних папок. По-настоящему их следовало бы читать, включив проигрыватель с пластинкой «Священная война». Только так, пожалуй, можно вполне ощутить скромное величие этих солдатских листков. Армейская печать! Изо дня в день несла она свою службу на передовой, где весь недолгий срок жизни очередного номера солдатской газеты сотни раз проходил у нас на глазах. Сперва сводка Совинформбюро. В сорок первом она никого не радовала вплоть до декабрьских побед, когда газеты стали рвать из рук: «Москву отстояли! Гонят немцев!» Летом сорок второго после чтения сводки тяжелое молчание провожало названия оставленных городов. Но как же раскрывалось солдатское сердце навстречу добрым вестям после перелома войны! Особенно это бросалось в глаза, когда победа была еще в новинку. А прорыв блокады был именно первой победой в наступившем сорок третьем году. И я помню, как по нескольку раз перечитывали бойцы номер «Отважного воина» от 19 января со сводкой, сообщавшей, что накануне блокада Ленинграда прорвана. В последующие времена радость при вестях о победах нарастала и возрастала, пока не достигла предельного взлета 9 мая 1945 года, но счастье первых побед всегда оставалось жить с нами. Не боясь прослыть сентиментальным, скажу, что такое ощущение, наверное, сродни чувству первой любви.

За сводкой Совинформбюро шло чтение местных армейских сообщений, вроде взятия рощи Круглой. Обычно они сопровождались заметками такого рода: «Разведчик Панфилов взял в плен 8 немцев», «Отважный сын Казахстана Кентай Тураханов», «Один против взвода», «Грозный мститель». Изредка заметки подписывались работниками редакции, но, как правило, они шли за подписями солдат. И часто герой заметки и ее автор обсуждали достоверность материала, стукаясь лбами над свежим номером газеты. «Как же это ты обо мне написал, когда ты двух слов на бумаге связать не можешь! Видел я, как

ты письма жене пишешь, словно мешки таскаешь».— «Да я рассказал тут лейтенанту из газеты, он все это записал, прочел мне, а я подпись поставил».— «Ишь как здорово! А откуда ты взял, что я целый взвод из своего «максима» скосил? Откуда такая точность? Считал, что ли?» — «Считал не считал, а прикинул, что около взвода».— «Так так и надо было сказать».— «Отвяжись ты от меня. Хвалят дурака, а он еще ругается».

Праздничными гостями в газете были стихи. И в том же боевом номере «Отважного воина», открывавшемся лозунгом Прокофьева, под рисунком, вырезанным на линолеуме,— краснозвездный солдат с автоматом в поднятой руке,— стояли стихи моего нового знакомца. Их название «За Ленинград!» равно относилось и к нашим чувствам, и к помыслам:

Вперед! Вперед! Священной мести право
Пусть утверждает наше торжество!
За Ленинград, за город русской славы,
За жизнь и честь народа своего!

Такие стихи били прямо в цель, и, возвратившись в редакцию позже Прокофьева, я рассказал ему, как хорошо их встретили бойцы. «Ну, понятное дело,— добродушно усмехнулся Александр Андреевич.— Прочитали стих, потом самокрутку из него свернули, настроение хорошее, вот и похвалили».— «А из чего настроение-то складывается,— отвечал я, раздосадованный таким снижением пафосного своего рассказа,— из боевых успехов, из чтения прокофьевских стихов, а самокрутка так, между прочим...» — «Ну, это ты брось, дорогой мой политрук Сережа,— продолжая усмехаться, басил Прокофьев.— Самокрутка — великое дело, это я еще на гражданской уразумел. И упаси тебя боже, Алексей Иванович,— обратился он к редактору,— печатать газету на глянцевитой бумаге, половину популярности сразу потеряешь».

После, поближе узнав Прокофьева, я часто замечал контрастирующее противоположение высокой речи его стихов и живого усмешливого разговора о них. В его поэзию я был просто-таки влюблен и, читая наизусть прокофьевские строки, порой тут же восторженно их комментировал. Почти каждый раз Александр Андреевич безжалостно спускал меня на землю:

Чоч-чок, каблучок.
В чистом поле ивнячок.
А мне, девушке, видна
Только ивинка одна.

Как под этой ивинкой
Сидит милый с ливенкой.
На нем шляпа с полями.
А из прочих новостей
Пояс крученый с кистями,
Сто отдельных кистей!

«Какая звукопись, рифма, а перебой ритма в конце чего стоит!» — восторгался я. «Мудришь, мудришь, политрук Сережа,— ухмылялся Прокофьев.— Это тебя в ИФЛИ да в Литинституте так накачали. Приезжай после войны сюда, в Приладожье, я тебе хорошую девку сосватаю, ты от нее днем и ночью такую звукопись услышишь, что стихи как из бочки польются.— И опять, обращаясь к редактору, уже посерьезнев, заметил: — А и вправду, какая речь у наших здешних баб. Весь словарь Даля да еще два тома прибавь...» И снова ко мне: «Это я тебе потрафил, Сережа, про словарь-то вспомнил, ты его небось целиком преодолел?»

Так он всегда отшучивался от моих расхваливаний, но на меня это никак не действовало. В московских довоенных компаниях при чтении стихов мы придерживались в основном двух оценок — единицы и пятерки. Прокофьевская поэзия, разумеется, вся шла на пятерку в моем представлении. И я, не церемонясь, оповещал об этом всех и вся, включая самого поэта.

От первой до последней строки я помнил наизусть тридцать стихотворений Прокофьева, не считая отдельных четверостиший и двустиший. Меня совершенно покоряла его цветная кисть. Широкие, раскидистые характеры прокофьевских героев, гордая и вольная северная деревня, встававшая из его стихов, казались мне резкой противоположностью характерам и деревне среднерусской полосы.

Я пытался опереться на историю: русский Север знал больше государственных, а не крепостных крестьян, отсюда независимость, достоинство, горделивость. Такие стихи Прокофьева, как «Невеста», легко подтверждали позитивную часть моей антитезы, но с негативной дело

обстояло хуже. «Да возьми ты хотя бы Кольцова,— не шутя сердился Александр Андреевич,— все эти народные черты у него еще когда были раскрыты! А ведь кольцовский крестьянин как раз из среднероссийских мест. Да что Кольцов! Теперь-то как орловские да смоленские мужики в партизанах себя оказывают!» Против этого мне крыть было нечем, и я складывал оружие, поднятое во славу именно той северной деревни, откуда был родом сам поэт. Когда после, спустя много лет, при мне заходил разговор о том, что Прокофьев — человек пристрастный, я всегда ссылался на наш давнишний спор, опровергавший такое суждение. Хотя, конечно, вкус Александра Андреевича был на особину и заявлял он его в своих кратких отзывах на стихи того или иного поэта весьма решительно. И возражения принимал не очень-то охотно. Многие замечания его были очень четки, а главное — ко времени. Моим учителем в Литинституте был Сельвинский. Ритмика его стихов меня тогда увлекала, и я пробовал себя в тактовике. «Я не знаю, зеленешенька, за собою ни пени, ни вины!» — ухмылялся Прокофьев.— Ты же вот в этих стихах «Улялаевщину» переиначиваешь, а кровь у тебя в другом ритме стучит. Несоответствие получается».

Алексей Иванович Прохватилов часто присутствовал при наших беседах. Они вбирали в себя сотни разных интересных вещей. Ведь Прокофьев приехал к себе на родину. Редакция размещалась в Путилове, большом приладожском селе, каким-то чудом уцелевшем от немецких бомбежек. Вокруг были места, знакомые поэту сызмальства. В одном из ранних его стихотворений есть строка, воспринимавшаяся нами, молодыми поэтами, как своеобразная поэтическая заумь:

Пиргала, Митала, Гавсарь, Выстав...

Так вот мимо этих сел, в обход, через них десятки раз шагали наши солдатские сапоги — все это была прифронтовая полоса. Александр Андреевич хранил в своей памяти всю живую историю Приладожья, и слушать его было истое наслаждение. К моей свежей образованности он относился иронически больше с виду, чем по сути: помню, как всерьез он заинтересовался тем, что в Приладожье сохранилось стародавнее произношение звука «ять». «А ведь верно,— «ять»-то у нас не совсем

«е», а больше к «и» приближается. Ну-ка вспомню, как матушка моя говорила, у меня самого речь огорожанилась, а в селах она звучит по-прежнему». И стал выговаривать слова, составлявшие мучение дореволюционных гимназистов: «лес», «бес», «бедный», «бежал», «хрен», «редька»,— где всюду стоял злосчастный «ять».

Возвращаюсь к Прохватилову. Лучшего редактора ни до него (это-то не мудрено, мое общение с газетами было совсем недавним), ни после (а вот это уже в редкость) я, честное слово, не встречал. Фамилия у него была словно по заказу придумана для ловкого газетчика, но сам он никак не соответствовал ее семантическому значению. Умный, тонкий, чистый человек. Чертовски нам всем повезло, что целый год он редактировал «Отважный воин». Постоянным мерилом оценки людей, дел, газетных статей и заметок было у него славное слово: душа. Молодые ребята, мы почти отвыкли от него в те жестокие времена. А тут вдруг нате: «Вот эта статейка у тебя с душой написана, а вон ту взял да отбарабанил»; «Ты не о газете думай, о солдатской душе, чем ее пронять?»; «В то дело ты душу вложил, а сейчас без нее решил обойтись — и не вышло, как видишь».

Постоянное напоминание о том, что существуют не только долг и обязанность, а нечто большее, заставило нас по-новому взглянуть на свою работу. Мы словно прихорошились и одернули не гимнастерки, как при входе к большому начальству, а внутреннее свое естество. Парни-то мы были в общем славные, но уже много наносного налетело на нас с военных дорог; теперь оно смывалось с нас как крутым кипятком, и мы становились лучше, проще, добрее. В своей поздней передаче я многое упускаю и, перечитав предыдущий абзац, вижу, что прохватиловская речь приобрела оттенок душеспасительности. Нет, ее не было, многое зависело от интонации, от повода к разговору, от обстановки, в которой он происходил. За целый год редактор ни разу не повысил голос, а работа шла отлично, и «Красная звезда» объявила об этом на всю действующую армию. Помню, как мы ликовали, получив номер центральной газеты, отмечавшей наши добрые успехи. Потом Алексея Ивановича отозвали в Москву на повышение, и мы горевали так, словно теряли родного человека. Да он и впрямь стал родным.

И вот с ним сердечно сдружился Прокофьев. Они жили в одной избе и подошли друг другу во всем. В Алексее Ивановиче, несмотря на разговоры о душе, была сильно развита ироническая жилка. Иронией он заменял окрики и внушения, действовала она лучше всяких выговоров. И спокойная усмешка роднила поэта и редактора. Мне было легко и вольно с ними. Наречие «вольно» не очень, кажется, применимо к армейскому распорядку, но именно так я себя чувствовал в эту счастливую для меня зиму.

За прорыв блокады Прокофьев был награжден орденом Красной Звезды. Тогда это было в редкость, и мы радовались так, будто каждому из нас дали по ордену. Да и он был доволен — это была, кажется, его первая боевая награда.

Получил он ее по праву. Едва ли не каждый номер «Отважного воина» выходил с его стихами и лозунгами. Вот несколько «шапок», принадлежащих Прокофьеву: «Бойцы, беспощадно громите врага, залейте немецкою кровью снега, к Неве пронесите победное знамя, великий родной Ленинград перед нами». Это четверостишие печаталось в две строки, во всю ширину газетного листа. «Бойцы, берите все пример с героев Юга, захлещем логово врага стальною выогой». Призыв, возникший, когда сводка принесла сообщение о разгроме фашистов на Северном Кавказе. «В боях и сраженьях гвардейцев ведет одно лишь гвардейское слово — вперед!» — лозунг, появившийся сразу после присвоения одной из наступавших дивизий гвардейского звания.

Подарила ему наша армия замысел нового большого произведения.

Братья Шумовы, отважные герои его поэмы, встретили нас с истинно сибирским радушием — я как раз был вместе с Прокофьевым во время их знакомства. Александр Андреевич живо нашел с ними общий язык, поэт был для них своим, сельским, российским, и они рассказывали ему про свои дела, как будто своему односельчанину.

Наконец, всему хорошему приходит своя пора, и настало время расставаться. В Ленинград он возвращался уже не по ледовой трассе, а по вновь проложенному пути вдоль Ладожского озера. Этот путь был нами открыт во время январских боев. Прокофьев не замедлил пошу-

тить на сей счет: «Сами дверь открыли, сами в нее входим».

Мы встали около грузовика. Расцеловавшись с редактором, Александр Андреевич по-медвежьи обнял меня: «Авось свидимся!» А у меня глаза на мокром месте.

И вывезло это прокофьевское «авось»! Армию нашу перевели на Ленинградский фронт, стали мы в Колтушах, я начал часто бывать в Питере. Одним из постоянных моих адресов была улица Халтурина, где жил Прокофьев. Но это уже другая страница памяти.



ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА



К лету 1944 года армия, в которой я служил, была отведена на переформирование. Начались отпуска, я приехал на побывку в Москву. Спустя короткое время решил позвонить Эренбургу. Мотивов для звонка было несколько, но лишь только по прошествии времени я могу их разъединить. Тогда же они сливались в одну фразу: «Послушайте мои стихи».

Все же сперва о мотивах. Почему именно Эренбургу, больше прозаику, чем поэту, человеку, старше меня многими годами и лично мне незнакомому? А вот почему: молодая предвоенная поэзия скорее интуитивно, чем осознанно, выработала особый вид литературной школы. По телефонным звонкам, через добрых знакомых, при случайных встречах юные поэты добивались возможности прочитать свои стихи мастерам литературы. Никаких меркантильных целей вроде напечатания, редактирования, приема в какие-либо организации не преследовалось. Сама мысль об этом показалась бы нам кощунством. Нужна была оценка стихов и способностей, а в заключение напутственное слово. Оценок и слов мы получали достаточно много, старшие встречали младших с завидной душевной щедростью. Такие встречи очень обогащали нас, импровизированные лекции по теории стиха с наглядными примерами из собственных наших строк запоминались. Но в этих лекциях-беседах был

еще один важный момент: в разговорах старших оживала вся русская поэзия и искусство XX века. Блок, Брюсов, Маяковский, Есенин, Багрицкий, известные нам лишь по портретам и строкам, были близкими друзьями и знакомыми людей, беседовавших с нами. Преемственность культуры ощущалась нами вживе и въявь. Отголоски давних споров, столкновений, дискуссий заново переживались нами. Так как слушали мы людей часто противоположных воззрений на литературные явления, равнодействующую между их взглядами приходилось проводить нам самим. Мы не переносили сора из одной поэтической избы в другую, но сами для себя устанавливали нужные критерии.

Одним словом, такие встречи были у нас в обычае и Эренбург, естественно, входил в число людей, с которыми было интересно увидеться. Ступени преемственности культуры шли от него не только вглубь, но и вширь — он отлично знал европейскую литературу и искусство не только по одним книгам и картинам, а по лицам их авторов. Человека, запросто встречавшегося с Пикассо и Хемингуэем, было, конечно, нужно узнать воочию молодому поэту, каким являлся тогда пишущий эти строки. Ценили мы и поэзию самого Эренбурга. Среди нас отнюдь не прививался скептический взгляд на нее, который был свойствен некоторым сверстникам писателя. Сборник «Дерево» был нами внимательно прочтен, и многие стихи вызвали ответные отклики в наших строках. Стихи о гончаре и о разведке боем получили прямое отражение в творчестве поэтов моего поколения, в том числе и моем.

Надо сказать и о том значении, которое приобрело имя Эренбурга на фронте. Как ни интересен был «довоенный» Эренбург, вряд ли молодой офицер стал бы добиваться немедленной встречи с автором «Хулио Хуренито» и «Дня второго» в короткие побывки. Нашлись бы встречи не то что важнее, но неотложнее. А тут — один из первых звонков. Дело в том, что «Красная звезда», жадно читавшаяся от строки до строки, всегда встречалась на передовой возгласом: «А Эренбург есть?» Его статьи читались сразу же после сводки Информбюро, а то и раньше, поскольку сводку узнавали еще до «Красной звезды» из дивизионной и армейской печати. Эренбурговские статьи, фельетоны, заметки про-

глатывались залпом, как знаменитый «наркомовский паек», и действие их было примерно однозначно. Возбуждающая сила строк поражала своей мгновенностью и безотказностью. Ненависть к фашистам у солдат была естественна и неостановима, но эренбурговские строки обостряли, нацеливали и давали ей вместе со всероссийским и всесоветским всечеловеческое обоснование. Солдат в его статьях ощущал себя прежде всего защитником родной земли, но наряду с этим соратником французских маки́, югославских партизан, всех антифашистов мира. Публицистика Эренбурга помогала армейскому читателю ощутить свое первенствующее место во всемирной борьбе.

Стоило бы, конечно, сказать о стиле эренбурговских статей. Он был неповторим, несмотря на множество попыток ему подражать. В нашей армейской газете тоже пытались следовать его манере, но с весьма малым успехом. «Заладил под Эренбурга,— махали рукой на незадачливого газетчика,— лучше подождем «Красной звезды». Стиль статей писателя, разумеется, не возник на голом месте. В русской журналистике можно было вспомнить В. Дорошевича, в западной — парижских фельетонистов. Но эренбурговский стиль, конечно, был совершенно особенным. Запечатлев характер, темперамент, интеллект незаурядного человека, он следовал всем его изгибам, противоречиям, взрывам. Старинное изречение «Стиль — это человек» применимо к манере письма Эренбурга как нельзя более точно.

И вот с этим Эренбургом, кому посвящали свои «боевые счета» наши снайперы и чьими статьями зачитывались в землянках и траншеях, было крайне необходимо встретиться молодому офицеру. Нечего греха таить, что где-то дремала мысль: «Возвращусь в армию, спросят, как Москва, а я эдак мимоходом брошу про встречу с Эренбургом». В этом молодом тщеславии никакой дурной стороны спустя годы я не вижу. Юного лейтенанта оно не роняет, а Эренбурга тем более. Но тогда такой мысли я несколько конфузился и прятал ее поглубже.

Сама встреча заняла немного времени, и объяснение ее предпосылок как будто затянулось. Но мне важно именно объяснение. Из него читатель 70-х годов поймет, какой комплекс представлений вызывал и объединял в глазах моего поколения Илья Эренбург.

Телефонный звонок соединил меня с «Красной звездой». Глуховатый голос: «Вас слушают».— «Офицер с фронта просит выслушать его стихи».— «Позвоните послезавтра в это же время». Еще раз звоню, напоминаю. «Приходите в четверг, 9 вечера, в «Красную звезду».

Девять вечера для военной Москвы было поздним временем. Вскоре начинался комендантский час, и угодить в лапы патрулю, чтобы на другой день отбивать строевой шаг под началом старшины, никак не хотелось. «В обрез назначил,— подумал я с веселым неудовольствием,— чтобы не зачитал его молодой и начинающий...»

До особняка на Малой Дмитровке меня провожала медноволосая красавица. Она волновалась едва ли не больше меня самого. «А что ты будешь читать?» Мои стихи она тоже знала едва ли не лучше, чем я сам. Оставив свою рыжую печальницу на скамейке перед домом, я выпалил свою фамилию вахтеру и через ступеньку промчался на второй этаж. У назначенной двери перевел дыхание, постучался, услышал — «Войдите» — и оказался в небольшой комнате. Спиной к зашторенному окну, лицом ко мне сидел за письменным столом Эренбург. Я назвал свою фамилию. «Садитесь, читайте»,— сказал он.

Эта кратчайшая фраза произвела на меня должное впечатление. Я был совершенно уверен, что перед чтением стихов меня попросят хотя в двух словах рассказать о себе, и уже приготовил соответственные речения. А тут — «Садитесь, читайте». Ну что ж! Сел и стал читать.

На минуту отвлекусь. Среди множества зачинов бесед поэта с поэтом эренбурговская фраза одна из лучших. Ссылаясь на первоисточник, я не раз употреблял ее потом, и она всегда помогала делу. Стихи все скажут сами за себя — такой смысл фразы,— и он должен устраивать обе стороны. Ибо все остальное — от лукавого или его пособников.

Прочел первое стихотворение. «Читайте дальше». Второе стихотворение. «Читайте еще». Третье. «Хорошо. Вы — поэт». До того я глядел куда-то в стенку, а тут посмотрел прямо в лицо собеседнику. Помню, на черном фоне шторы Эренбург показался мне страшно бледным и еще усталым и старым. Усталым он был бесспорно, но старым... Ему тогда минуло 53 года, и с моей тепереш-

ней точки зрения это не так уж много. Но тогда мне было 24 года и для меня он, конечно, был стариком. Господи, ведь он еще до революции жил! А до революции в те времена было ближе, чем нам сейчас до начала Великой Отечественной...

— Одно замечание,— с некоторой смущенностью добавил Эренбург,— у вас в первом стихотворении несправедливо сказано о французах. Там было несколько поиному, как-нибудь я вам расскажу об этом...

Из всего замечания до меня во всей своей ослепительной перспективности дошел только конец последней фразы: «как-нибудь расскажу...» Эренбург, завершая разговор, поднимается из-за стола и говорит уже впрямь неожиданно:

— Если вы свободны в воскресенье, приходите в «Москву», я там сейчас живу...

Конечно, свободен, конечно, приду...

Мне было что рассказать медноволосой, когда она бросилась мне навстречу с ночной скамейки!

В воскресенье я снова был у Эренбурга. В просторном номере толпилось и шумело много народу, и, кажется, все это были известные люди. Но видел и слышал я только одного человека. И когда медноволосая спросила меня на другой день, кто там был кроме Эренбурга, я ответил несколько рассеянно: «Эренбург».

Врезалась мне в память одна его тогдашняя реплика. Летом сорок четвертого года было уже ясно, что дни гитлеровской Германии сочтены. В числе многих я был уверен, что фашизм будет безвозвратно похоронен, и сказал об этом с некоей — я сказал бы — веселой надменностью. «Не забывайте о трупном яде фашизма»,— сказал Илья Григорьевич. Позже он, кажется, написал об этом.

Теперь о стихах, вызвавших замечание Эренбурга. Там были такие строки, обращенные к женщине, которую я сравнивал с полем сражения:

Я бился, как бьются за города
Не предатели и не трусы,
Не как голландцы за Амстердам.
Не как за Париж французы.

Строки действительно несправедливые, и я печатаю сейчас это стихотворение без них. О Париже Илья Гри-

горьевич, несмотря на обещание, так ничего мне и не рассказал, хотя встречались мы после не раз. Виделись мы на фронте где-то под Данцигом в 1945 году, встречались сразу после войны, а потом в 50-х и 60-х годах. О Париже он не рассказывал, а тем для разговора хватало и без Парижа. Но как бы интересны ни были эти разговоры, память о первой нашей встрече осталась для меня самой дорогой.

Посудите сами: военная столица, двадцатичетырехлетний офицер, медноволосая девушка, знаменитый писатель. Разве этого мало?



Поезд шел в Иваново. Ткачами революции называли ивановских рабочих. Знамя, сотканное их руками, впервые поднялось над городом в дни знаменитой морозовской стачки, стремительно и гневно прошумело в 1905 и навсегда утвердилось в 1917 году. И вот теперь, спустя многие годы, в старом городе пролетарской славы открывалась новая улица. Чье имя она будет носить? Даже не зная его, можно было заранее сказать, что оно будет достойным рабочего города, где жили и действовали Фрунзе и Фурманов.

Но нам, ехавшим на открытие новой улицы, не приходилось домысливать название, которое завтра появится на ее домах. Мы знали его. Это было имя нашего товарища. Четверть века прошло с тех пор, как мы видели в последний раз Николая Майорова. В считанные часы, когда поезд пробегал расстояние между Москвой и Ивановом, мы — черта за чертой — воскрешали его облик и — слово за словом — его речь. И вот он уже без стука отворил дверь купе, присел на полку и вмешался в разговор.

Мы говорили прозой, он — стихами. И это было естественно, ибо иначе и не мог разговаривать поэт его судьбы с друзьями, оставшимися в живых. А судьба его — несколько десятков стихотворений, безымянная могила где-то на Смоленщине и, вот теперь, улица в Иванове.

Мы все уставы знаем наизусть.
Что гибель нам? Мы даже смерти выше.
В могилах мы построились в отряд
И ждем приказа нового. И пусть
Не думают, что мертвые не слышат,
Когда о них потомки говорят.

Печально и свободно вошел он этими строками в наш разговор...

Моим спутником в поездке был Виктор Болховитинов. Он знал Майорова ближе и дольше, я помнил его отрывочнее, избирательнее и, применяя термин живописи, «мазками». Запомнился мне Николай высоким, угловатым, прямым... «Да вовсе он не был высоким,— поправил меня Болховитинов,— сухощавый и угловатый, а росту среднего.— И добавил, помолчав: — Это он в стихах стал высоким».

Так, конечно, это и было. Майоров сам предугадал аберрацию позднего зрения:

Мы были высоки, русоволосы.
Вы в книгах прочитаете, как миф,
О людях, что ушли не долюбив,
Не докурив последней папиросы.

Но во всяком мифе есть зерно исторической истины, и совсем не случайно в моей памяти — да и не только моей! — Николай Майоров остался «высоким». Ведь они и впрямь были высоки, друзья нашей юности, сложившие свои упрямые мальчишеские головы на полях большой войны. Высоки своими помыслами и стремлениями, поступками и подвигами. И эта духовная высота преобразовалась нашей памятью в физическую.

Есть у Майорова и другая строка. В ней уже не угадывание поздней аберрации и не рисунок будущего мифа:

Так я иду, прямой, просторный...

Тот, кто хоть раз видел и слышал Майорова, оценит точность этой самохарактеристики. Он действительно был «просторен», и просторность его была такова, что невольно передавалась соприкасавшимся с ним людям. Отсутствием масштабности никто из нас не страдал — ни Кульчицкий, ни Коган, ни Луконин, ни другие мои сверстники,— и тут дело, видимо, не в размахе дарова-

ний, а в тех событиях, которые надвигались на нас. Мы жили в их предощущении и в тишине предгрозья. Применяли к себе мерки близкой грозы. Но у Майорова была к тому же еще и «просторность». Она являла себя и в его мироощущении, и в емкости поэтического взгляда, и в трагическом жизнелюбии. Я не боюсь соединять эти два последние слова. Их задолго до меня соединило время, в котором жил и погиб Майоров. В просторности своей он объял мысль о возможной необходимости своей смерти в ближайшем будущем. И не убоялся этой мысли, что было бы как будто естественно для молодого человека, полного жизненных надежд, а поднял ее на огромную высоту. С той высоты, которую он определил для себя как будущее, поэт увидел себя таким, каким видим мы его сейчас.

И как бы ни давили память годы,
Нас не забудут потому вовек,
Что, всей планете делая погоду,
Мы в плоть одели слово «Человек»!

В стихах Майорова «я» и «мы» взаимозаменяемы. Щедрость своего взгляда, сердца, души он легко передавал рядом идущим и так же легко брал у них близкие ему чувства и мысли. Ощущение единства судьбы своего поколения развито было в нем в высшей степени.

Мысль о возможной необходимости своей смерти, объединенная с чувством бессмертия дела, во имя которого будет принята смерть, ничего общего не имела с жертвенностью. Мысль эта владела не одним Майоровым — в стихах Георгия Суворова, Павла Когана, Михаила Кульчицкого она повторяется с не меньшей настойчивостью. Напрасно стали бы мы искать в их самоэпитафиях надрывную ноту — ее там нет. А ведь эти стихи писались двадцатилетними юношами, почти мальчиками. Нет, какие же они были мальчики, настоящие мужчины — вот кем они были! И стихи писались мужские. Так прямо и спокойно смотреть в глаза своей участи...

Не одним этим объясняется прямота и спокойствие, с которой высказывалась эта суровая и беспощадная мысль. Поэты поколения твердо верили, что события, которые могут оказаться губительными для любого из них, будут развиваться в оптимальном направлении для народа в целом. Будущее мыслилось им победоносным

для советского строя, с которым они срослись каждой своей жилкой. И потому с такой свободной уверенностью обращались они к Будущему, зная, что в нем, как и в настоящем, им жить с людьми родными и близкими, которые смогут оценить их по достоинству.

Но возвратимся к «просторности». Словно луговой ветер врывался в городское окно, когда Николай начинал читать свои стихи. Медовые запахи разнотравья наполняли комнату, а вслед им уже другой порыв приносил запах смолы и хвои. За лугом начинался лес. Никто из нас так не ощущал природу, как Майоров. А ведь он тоже был горожанином. Правда, Иваново — не Москва, но все же это большой фабричный город. Видимо, связь с землей, где веками пахали и сеяли его деды и прадеды, ощущалась им как первостепенной важности наследство, от которого мы, заколдованные городскими ритмами, бездумно тогда отказывались. А он помнил землю и в трогательных частностях:

Пахнут руки легкой ромашкой,
Спишь в траве и слышишь: от руки
Выползают стайкой на рубашку
С крохотными лапками жучки.

Помнил ее и в жестоких огромностях и любил, любил без конца.

Дерзкой была его просторность! Кажется, лишь в двадцать лет можно удивленно констатировать в жаркий августовский полдень:

Не потому ль, что тени не хватало,
Казалась мне вселенная мала?

Заметьте, что здесь вопросительный, а не восклицательный знак, это не похвальба, а внезапно пришедшее ощущение. Вселенная ему мала...

Мне запомнилось, как он читал стихи на встрече двух литкружков — университетского и гослитиздатского. Николай представлял МГУ и, употребляя старую футбольную терминологию, был как бы центр-форвардом своего коллектива. Мы — П. Коган, А. Яшин, М. Кульчицкий, Б. Слуцкий и я — знали о Майорове понаслышке, отдельные строки были нам знакомы, но общего впечатления еще не было. И мы с ревнивой настороженностью встретили его появление: мол, бахвалятся мгувцы или впрямь заполучили хорошего поэта?

И вот на середину комнаты вышел угловатый паренек, обвел нас деловито-сумрачным взглядом и как гвоздями вколотил в тишину три слова: «Что — значит — любить». А там на нас обрушился такой безостановочный императив — и грамматический, и душевный,— что мы, вполне привыкшие и к своим собственным императивам, чуть не растерялись.

Идти сквозь выогу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее — такую!

«Такую» — он как-то озлобленно и в то же время торжественно подчеркнул.

Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла.

«А ведь хорошо!» — уронил сдержанный на похвалу Яшин. Майоров глазом не моргнул на первую реплику, пробивавшую окружающую его настороженность. Стихи неслись дальше:

Забыть последние потери.
Вокзальный свет.
Ее «прости».
И кое-как до старой двери,
Почти не помня, добрести;
Войти; как новых драм зачатье,
Нащупать стены, холод плит...
Швырнуть пальто на выключатель,
Забыв, где вешалка висит.

Две эти последние строки меня покорили. Так это было жизненно, черт побери, так похоже на то, что и со мной происходило... «Здорово!» — рявкнул я. Майоров только покосился в мою сторону и продолжал обрушивать новые строки. И когда, наконец дойдя до кульминации страсти, вдруг на спокойном выдохе прочитал концовку:

Найти вещей извечные основы,
Вдруг вспомнить жизнь.
В лицо узнать ее.
Прийти к тебе и, не сказав ни слова,
Уйти, забыть и возвратиться снова.
Моя любовь — могущество мое! —

мы облегченно и обрадованно зашумели, признав сразу и безоговорочно в новом нашем товарище настоящего поэта.

Майоров читал в тот вечер еще «Отелло» и «В вагоне». Когда в «Отелло» он прочел:

Ей не понять Шекспира и меня! —

мы заулыбались, но уже влюбленно заулыбались — он стал нам близок, этот ивановский мавр. Мне запомнилось, как он произносил «женщина». Вместо «щ» у него выходило «ч».

Как пахнет женчиной вагон,
Когда та женчина не с нами.

«Лихо! — покачал головой Павел Коган.— Лихо, ничего не скажешь...»

Майоров, казалось, был очень типичен для молодежи предвоенной формации. Сама внешность его как будто несла черты этой типичности. Он чем-то неуловимо напоминал героя «Юности Максима», только без той лукавинки в глазах и углах рта, с которой тот глядел на нас с экрана. Безотчетное доверие вызывают у меня такие лица. Вася Папков, мой отделенный командир, спасший мне жизнь во время финской кампании, тоже был сходной внешности. Конечно, и Майоров, и Папков годились бы тому Максиму в сыновья, но они, надо сказать, и ощущали себя внутренне сыновьями сотен Максимов большевистского подполья и гражданской войны. Так что сходство здесь намечалось не только по внешним признакам.

Типичен как будто был он в одежде и манере держаться. Чиненые башмаки, дешевый костюм, распахнутая рубашка. Галстуки мы носить не любили, надевали их по особо торжественным случаям: «быть при галстуке» каждый день считалось чистоплюйством. «Пижоны» — предки будущих «стиляг» — были не в чести не только среди ребят, но и у девушек. К одежде относились не то что пренебрежительно, а равнодушно. Даже с полным равнодушием. Неряхами не ходили, а дальше этого забота о внешности не простиралась.

Жизненные удобства не отвергались, но никак не переоценивались. Но и то сказать, избытка в них тогда не ощущалось. Судя по стихам Майорова, он, кажется, ни

разу не ездил в плацкартном вагоне. Я обнаружил это с улыбкой, прочитав подряд все стихотворения, где Николай пишет о поездах и странствиях.

Отец и мать у Николая — ивановские рабочие, брат — военный летчик. Семья была типичной и в то же время образцовой по нашим тогдашним понятиям. Да и не только по тогдашним. Сам он пролетарского своего происхождения никогда не подчеркивал и уж совсем не кичился им. В этом чувствовалось некое внутреннее целомудрие. Если человек ощущает свою кровную и неоспоримую принадлежность к чему-либо, ему не приходит в голову кричать об этом на перекрестке первым встречным. Такой человек заявляет об этом самим своим поведением, обусловленным лучшими качествами той среды, в которой он формировался. Лучшими, а не заурядными и тем более не худшими. И в майоровской прямоте, решительности, бескомпромиссности все время ощущался рабочий стержень.

Но, никогда не афишируя своей «рабочести», Николай знал ей цену и гордился своей доброй родословной. Тогда, как и после, писалось много стихов — плохих и хороших, а иногда и превосходных — о крестьянском и интеллигентском детстве. Но среди моих сверстников едва ли не один Майоров написал стихи о пролетарском детстве. Они были созданы по рассказам старших. Николай говорил мне, что если бы его отец умел сочинять стихи, то написал, верно, нечто похожее. Память о предреволюционном прошлом тогда была еще жива. Мы родились вскоре после Октября, и для наших отцов первая мировая война была по времени ближе, чем для меня теперь вторая мировая. И Николай, жадно впитывая разговоры ивановских рабочих о сравнительно недавних временах, мог полностью слиться с тем рабочим мальчишкой, каким бы был сам, родись он лет на десять раньше.

Я жил в углу. Я видел только впалость
Отцовских щек. Должно быть, мало знал.
Но с детства мне уже казалось,
Что этот мир неизмеримо мал.

В нем не было ни Монте-Кристо,
Ни писем тайных с желтым сургучом.
Топили печь, и рядом с нею пристав
Перины вспарывал штыком.

Был стол в далекий угол сдвинут.
Жандарм из печки выгребал золу.
Солдат худые сгорбленные спины
Свет заслонили разом. На полу —
Ничком отец. На выцветшей иконе
Какой-то бог нахмурил важно бровь.
Отец привстал, держась за подоконник,
И выплюнул багровый зуб в ладони,
И в тех ладонях застеклилась кровь.
Так начиналось детство...
Падая, рыдая,
Как птица, билась мать.
И, наконец,
Запомнилось, как тают, пропадают
В дверях жандарм, солдаты и отец.
. . . .
. . . .
Мне стал понятен смысл отцовских вех.
Отцы мои! Я следовал за вами
С раскрытым сердцем, с лучшими словами,
Глаза мои не обожгло слезами,
Глаза мои обращены на всех.

Ощущение преемственности поколений приобретало у Майорова зримые и осязаемые формы. Сам себя он видел как бы соединительным звеном между революционным прошлым и коммунистическим будущим. Причем прошлое и будущее не абстрагировались им. Он перевоплощался в своих предшественников (как в только что цитированных стихах) и глядел глазами преемников (как в стихотворении «Мы») на своих сверстников.

Круг его общественно-художественных привязанностей был очерчен строго и четко. Кто был адресатами стихов Николая, кроме друзей, любимых, поколения? Всего несколько имен: Пушкин, Гоголь, Рембрандт, Горький, Чкалов... Посвящениями он не разбрасывался. Отбор имен был выверен, и краткость списка шла не от бедности, а от строгой щедрости взгляда. Майоров учился на историческом факультете, каждый день приносил ему десятки громких названий, имен и дат. Дня не хватало, и ночами он глотал книги — все русские и западные классики были перечитаны по второму и третьему разу. Но влюбленностей и любовей наперечет — это равно может относиться и к прожитому, и к прочитанному. И вот три писательских имени и одно художническое: Пушкин, Гоголь, Горький, Рембрандт.

О Чкалове разговор отдельный. Он был романтической и героической любовью нашего поколения. Все им-

понировало в нем — размах и удаль, богатырская внешность и богатырские дела. Уверенность в исходе будущих битв в значительной степени покоилась на сознании, что у штурвалов боевых машин будут находиться люди, подобные Чкалову. Для нас он был примерно тем же, чем стал для новых поколений Гагарин. Я не соизмеряю их деяний: первый выход человека в космос — явление всемирно-историческое. Но как Чкалов невозможен был без Нестеровых и Громовых, так Гагарин немыслим без Чкалова. И стихи моего сверстника о всенародном любимце, каким был Чкалов в 30-х годах, были естественны и закономерны в кругу нравственных представлений поколения.

А над всеми этими большими и славными именами стояло и светило одно великое имя. Николай Майоров посвятил Ленину стихи, где были такие строки:

...И бредила — в мечтах носила,
Быть может, им и только им
В тысячелетиях Россия.
И он пришел...

Ленин пришел в жизнь сыновей России, каким был мой сверстник, с самого их рождения и оставался с ними вплоть до их смерти за дело коммунизма. Очень короткой оказалась их земная жизнь. Сколько они не успели увидеть, узнать, испытать... И ведь возможности тогда для молодежи были куда меньшие, чем теперь. Страна была беднее и неустроенней: все, что выходило за пределы неотложных нужд, считалось чуть ли не роскошью. Туризм в «чистом виде» почти не мыслился — он мог быть принятым за праздношатание. Военизированный переход с состязанием на выносливость и быстроту — иное дело; поездка по горьковским местам по Волге до Крыма на лодке и пешком — допустимая возможность. А ездить и глазеть просто так — это уж, извините, безделье.

У Майорова есть малоприметное стихотворение «Одесская лестница». Оно написано как бы на полях больших и серьезных раздумий о жизни и смерти, которыми он запомнился читателю. Обычно на «Одесскую лестницу» пристального внимания не обращают. Меня же эти стихи волнуют до сердечной щеми. В них Коля перечисляет те места и края, где он не бывал и где ему

так хотелось побывать. Нет, не про Аргентину и Новую Зеландию он пишет... Для теперешней молодежи его мечты покажутся настолько наивны, насколько они сейчас достижимы. Сочи — тоже, подумаешь, фантом!.. А для Майорова Сочи были почти что фантазией...

Есть дивные пейзажи и моря,
Цветут каштаны, выросли лимоны.
А между нами, впрочем, говоря,
Я не глотал еще воды соленой.
Не видел пляжа в Сочи, не лежал
На пестрой гальке в летнюю погоду,
Еще ни разу я не провожал
В далекий рейс морского парохода.

И дальше, оказывается, он «не восходил к вершине с ледорубом», «не посмотрел ни разу, как цветут и зноем наливаются черешни», «Ташкента не узнал, не проезжал Кавказа» и — как завершение неудовлетворенной тоски о всех невиданностях:

Еще одесской лестницей ни разу
Я к морю с чемоданом не сошел.

Одесскую лестницу Николай, как все мы, запомнил по фильму «Броненосец Потемкин» и включил ее в свои «семь чудес света», которые ему непременно хотелось увидеть.

Все слова были взвешены в его теперь уже всеизвестной самоэпитафии «Мы», и строки о «людях, что ушли не долюбив, не докурив последней папиросы», щемяще расшифровываются в «Одесской лестнице» и в других майоровских стихах. Папироса его была только прикурена от огня времени, и голубой дымок юношеской романтики свился лишь в первые кольца, как тут же был развеян жестокими ветрами войны.

«Не долюбив...» Да, не долюбив женщину, поэзию, жизнь.

Я не узнаю, у какой заставы
Вдруг умолкну в завтрашнем бою,
Не коснувшись опоздавшей славы,
Для которой песни я пою.
Ширь России, дали Украины,
Умирая, вспомню... и опять —
Женщину, которую у тына
Так и не посмел поцеловать.

И впрямь, свою единственную на всю жизнь женщину ни Майоров, ни другие сверстники его судьбы так и «не посмели» поцеловать перед уходом на войну и в вечность. А человеком он был пылким и страстным, вспомните хотя бы «швырнуть пальто на выключатель, забыв, где вешалка висит», и любил, радуясь и мучаясь, «то робостью, то ревностью томим», по выражению великого поэта. Теперешние девушки могут позавидовать женщинам, в которых влюблялись такие люди, как Николай Майоров. Мало того, что в свои двадцать лет эти люди были не подростками, а взрослыми мужчинами, но их любовь была страстью, всепоглощающей и неоглядной. И женщины, если не сразу, то после, всегда сумеют оценить такое чувство и сберечь его в благодарной памяти.

Так и с поэзией. Как и женщине, Майоров отдавал ей себя без остатка. Но поэзия для него значила тогда больше, чем женщина. Он верил, что ее силе подвластно все: люди и стихии, само мироздание. И если древний поэт заставил своим пением стронуться с места недвижные каменья, то женскую душу поэзия тронет и подавно. В стихотворении «Рождение искусства» он соединил оба высокие адресата. В нем сила поэзии выше женской, но являет себя во имя и ради нее. В этих стихах первый художник

...впроголодь живя, кореньями питаясь,
Он различит однажды неба цвет.
Тогда в него навек вселилась зависть
К той гамме красок. Он открыл секрет
Бессмертья их. И где б теперь он ни был,
Куда б ни шел, он всюду их искал.
Так, раз вступив в соперничество с небом,
Он навсегда к нему возревновал.
Он гальку взял и так раскрасил камень,
Такое людям бросил торжество,
Что ты сдалась, когда, припав губами
К его руке, поверила в него.
Вот потому ты много больше значишь,
Чем эта ночь в исходе сентября,
Что даже хорошо, когда ты плачешь,
Сквозь слезы о прекрасном говоря.

С компетентностью, данной мне тридцатилетним опытом работы в поэзии, скажу, что это не просто хорошие, а превосходные стихи. Ключевые строки: «Так, раз вступив в соперничество с небом, он навсегда к нему возрев-

новал» и последние, замыкающиеся аккордом «сквозь слезы о прекрасном говоря», сделали бы честь любому большому поэту.

Надо подчеркнуть, что Майоров и ощущал себя большим поэтом. И страшился он не смерти, а того, что она не даст развернуться ему как поэту в полную силу. Такое же предощущение, горькое и сильное, было у многих из нас. И к великому несчастью для литературы оно подтвердилось как раз для самых талантливых из поколения их ранней гибелью.

В статьях и воспоминаниях о Майорове, Кульчицком, Суворове, Когане иногда упускается из виду одно серьезное обстоятельство. О них пишут как о чистых и смелых юношах, погибших на войне и сочинявших стихи, интересные в качестве человеческих документов. Меньше обращается внимания на то, что стихи эти были не только лирическим дневником, запечатлевшим высокие чувства патриотизма и партийности, но и серьезным и новым явлением поэзии. В коллективных сборниках, в том числе и составлявшейся мной книге «Имена на поверке», действительно представлено много стихов поистине золотых ребят, храбро сложивших свои головы в бою, но для которых поэтический способ выражения чувств и мыслей не был обязательным языком. Их стихотворные строки и впрямь сохраняют ценность преимущественно человеческого документа.

Совсем иное дело стихи Николая Майорова и еще нескольких поэтов. Лучшие из них несут печать не только яркой талантливости, но и раннего профессионализма. Не бойтесь этого слова, оно не исключает ни порывистости, ни непосредственности, ни вдохновения. Не исключает оно и неизбежных срывов, недоделок, промахов. Обманчивое впечатление неровности и пестроты стихов Майорова и тех же Суворова, Кульчицкого, Когана создается тем, что обычно публикуются вместе стихи, написанные поэтами в четырнадцать, в восемнадцать, в двадцать лет... У зрелого поэта разница в два, три, пять лет подчас незаметна. Смеляков или Мартынов 1970 года так же четок и своеобычен, как Смеляков и Мартынов 1965 года. Но Павел Коган 1934 года — это еще мальчик, а в 1941 году он взрослый человек. Знаменитая «Бригантина» написана почти подростком, а воспринимается она читателем в одном ряду с такими взрослыми

стихами, как «Ракета», «Есть в наших днях такая точность», «Гроза».

То же самое с Майоровым. Разный уровень и пестрота стихов — от их временнóй ступенчатости. Строки, датированные 1936—1938 годами,— это же строки шестнадцати-восемнадцатилетнего паренька. И просто чудо, когда рядом со слабеньким стихотворением «На трамвайной остановке» возникают вдруг зрелые «Торжество жизни», «На родине», «Весеннее». Это чудо таланта, и оно вступает в силу, чем дальше, тем полнее соединяясь с крепнущим мастерством. Такие стихи, как «Мы», «Рождение искусства», «Что значит любить», «Нам не дано спокойно сгнить в могиле», «О нашем времени расскажут» — уже стихи молодого мастера, хрестоматийные произведения, без которых не станет полной любая антология советской поэзии XX века.

Кстати говоря, IV том хрестоматийного издания «Русские поэты», выпущенного «Детской литературой», составлялся В. О. Перцовым и мной. Этот том включил стихи поэтов, вошедших в литературу еще в предвоенное время. Когда будет издаваться V том, а он должен обязательно восполнить оставшийся пробел, в него войдут стихи поэтов фронтового поколения и среди них почетное место займут майоровские строки.

Майоров готовился стать поэтом-профессионалом и бесспорно стал бы им, как стали бы мастерами поэзии Георгий Суворов, Павел Коган, Михаил Кульчицкий. Он взращивал в себе художника-реалиста, проверяющего истину сомнением, находящегося в беспрерывном поиске.

Одно художник в сердце носит —
На глаз проверенным мазком
Пейзаж плашмя на землю бросить
И так оставить. А потом
Все взвесить, высчитать, измерить,
Насытиться ошибкой всласть,
Почти узнав, почти поверив,
К концу опять в безверье впасть.
И так все дни.
                    И с риском равным
Быть узнанным, взглянуть в окно.
Весь мир
            принять вдруг за подрамник,
В котором люди — полотно.

И дать такую волю кисти,
Так передать следы земли,
Чтоб в полотне живые листья
Шумели, падали, цвели.

Как подлинный писатель, он уже любил свое рабочее место, свой «стол, заваленный стихами», и относился к нему как к живому существу. Это был бедный студенческий стол, который был «пятнами изрыт, как щеки мальчугана рябью». На столе Николай не только писал, но и спал, прижимаясь мальчишечьей скулой к рябой щеке деревянного товарища. И стол платил ему добром за добро, лаской за ласку:

Проходят дни, и все короче,
Все явственней и глуше мне
Поет мой стол, и чертят ночи
Рисунок странный на стекле.

Многое напел ему стол...

Нет, поэзия не была мачехой для Майорова и его сверстников — поэтов. Она была доброй, хотя и строгой матерью и как бы ждала: вот дети окончательно вырастут, окрепнут, тогда и выпущу их в свет. И они не торопились печататься, довольствуясь признанием друзей и учителей. Стихи Майорова высоко ценили Сельвинский, Луговской, Антокольский, их одобрение он принимал со спокойной гордостью. Виктор Болховитинов, старший его сверстник, работавший тогда в университетской многотиражке, пользовался каждой возможностью публиковать его стихи, но многотиражка остается многотиражкой. Газеты, журналы, сборники — все это пришло много позже того, как на Смоленщине вырос безымянный холмик. И если они — Майоров и его сверстники — ушли из жизни «не долюбив» поэзию, а плоды этой будущей любви могли бы быть щедрыми и прекрасными, то поэзия не забыла о своих детях, наградив их посмертно скромной и строгой славой. Не долюбили они и жизнь — слишком мало узнав ее радостей, мало «испрожив-испроведав», по народному выражению.

Но страну свою они долюбили до конца. В этом они расписались уже не стихами, а кровью, хлынувшей из смертельных ран под Нарвой и Новороссийском, в Сталинграде и на Смоленщине. И Родина отдарила их ответной любовью. Одним из знаков этой любви было то

событие, которое ожидало нас с Болховитиновым на другой день.

И завтрашний день наступил. Были цветы и речи, и на доме, в котором жил наш сверстник, появилась дощечка с надписью: «Улица Николая Майорова». Да, казалось, совсем типичный для нашего поколения человек, но это была типичность обобщающего образа. Когда будущие великие романисты станут рисовать Павлов Власовых и Павлов Корчагиных нашего поколения, немало черт им подарит и наш Николай Майоров. Соединенные с другими лучшими чертами его сверстников и друзей, отдавших жизнь во имя Родины, они создадут впечатляющий образ человека большой и прекрасной судьбы.

О нашем времени расскажут,
Когда пройдем, на нас укажут
И скажут сыну: — Будь прямей!
Возьми шинель —
покроешь плечи,
Когда мороз невмоготу.
А тем — прости: им было нечем
Покрыть бессмертья наготу.

Священная нагота бессмертья!..





ЧЕСТЬ СМОЛОДУ

Многие мои очерки — о Майорове, Когане, Кульчицком, Суворове, Молочко,— если повернуть их к окну, обнаружат просвечивающие изображения. Пирамиды со звездами, «мрамор лейтенантов, фанерные монументы» явственно увидятся вами. Это рассказы об ушедших.

А теперь начну разговор о том, кто сотни раз мог оказаться среди них, но, к счастью, не оказался. Здесь не будет заданной концовки, и просвечивающее изображение так и не возникнет на бумаге.

С Михаилом Лукониным наши пути шли долгие годы рядом, сходясь и перекрещиваясь при таких обстоятельствах, что нарочно не придумаешь. Даже в пределах общей судьбы поколения такие совпадения и сближения почти невозможны. Но факты остаются фактами. И факты эти интересны и значительны не только для нас с ним, а, пожалуй, и для других.

Беглый взгляд на совпадения и сближения вызывает запоздалую улыбку. Словно перед тобой зеркало, в котором видишь самого себя — молодого, зрелого, постаревшего, рядом с таким же молодым, зрелым, постаревшим товарищем. Скорее, конечно, это кадры киноленты, начавшей крутиться еще в конце 30-х годов и продолжающей пока что проецироваться на экраны. Сохраню на мгновение улыбку и вспомню, что примерно сорок лет назад на Садовом кольце был кинотеатр «Экран жизни».

Сейчас такое название выглядит несколько безвкусно, но, как говорит один мой знакомый, что-то в нем есть. Так вот, наша кинолента проецируется именно на экран жизни. Самый что ни на есть доподлинный.

Жаль, не были тогда в ходу портативные киноаппараты. Вот бы посмотреть сейчас, как мы выглядели в те времена! Впрочем, Луконина образца 40-х годов я помню хорошо. Внешность и стихи его решительно совпадали. Им была свойственна та мягкая угловатость, что в повседневности безотказно действует на женщин, с трибуны на слушателей, с книжной страницы на читателей. Угловатый, поджарый, стремительный, с явной калмытчиной скул и глаз, он был плоть от плоти людей волжской вольницы, щедрой, широкой, безоглядной. Позже, конечно, все мы менялись, и Луконин в том числе, но основу переменить было нельзя, и, быть может, в этом-то и заключалось наше счастье.

Просмотрим несколько кадров. Экспозиции, которой бы хватило на повесть с продолжениями,— довоенные поэтические вечера, финская кампания, Литинститут, истребительный батальон — касаться не будем. Объектив сразу на заснеженное поле под Негином. Это 10 октября 1941 года. Первый мокрый снег упал на Брянщину, и на нем наши шинели выделяются как напоказ: бей, не хочу! И по нас бьют, прицельно, не спеша, на выбор. Попытка прорыва не удалась, и мы, отстреливаясь, отходим от сожженной деревни к темнеющему впереди лесу. Только бы до него добраться! Наискось от меня — Луконин. В одну из секунд — вижу! — как сбоку из-под хлястика у него летит вверх кусок сукна. Мишка вгорячах не замечает ранения — в лесу после разберется. Слышу звонкий удар по каске — пуля — срикошетила, пошла мимо.

Слышала бы ты — ознобом по коже
Пули о каску стальную стук.
Имя твое, словно имя божье,
Младший твердил политрук.

А тут из-за ближней кочки выкрик: «Умираю... партбилет — комиссару». И ты под пулями ползешь к смертельно раненному товарищу, расстегиваешь карман гимнастерки, вынимаешь красную книжку.

Последние десятки метров нет уже мочи перебегать и падать, наплевать на все, встаем и, просвистываемые пулями, в рост уходим из-под выстрелов. Через десяток-другой минут у зажженного костра сидим среди однополчан. Теперь мы окруженцы и нам предстоит пройти 600 верст, пока мы не минуем вражеские посты. И все шестьсот — шаг в шаг, плечом к плечу с Лукониным. В своей поэме «Дорога к миру» он опишет этот страдный путь, и один из героев ее будет носить мое имя.

Бои под Ельцом, Ливнами, Верховьем — вместе, а потом весной меня посылают на политкурсы в Иваново. Луконин тоже не пропустит их, но после меня. Нас раскидывает по разным концам фронта. Он — под Сталинградом, я — под Ленинградом. И вот следующий кадр: весна 1945 года.

Велением судьбы и Ставки наши армии — одна с севера, другая с юга — сходятся на немецкой земле. Сходимся и мы вопреки всякому вероятию, по одной из тысяч возможностей. После штурма Данцига временная передышка. Я еду к Луконину. Три дня стихи и песни. Он дарит мне фотографию со знаменательной надписью: «На земле тех, которые так хотели убить нас».

Побежденный фашизм и освобожденная Германия. Участниками победы и освобождения встречаем конец войны. Меня демобилизуют позже Луконина. И в июле 1946 года на вокзале среди встречающих я вижу его серую кепку. Выступаем на одних вечерах, печатаемся в одних журналах, выпускаем книги в одних издательствах. Листаются не только книги, а годы. Далеко позади молодость.

И вот еще один кадр: самолет между Новым Орлеаном и Лос-Анжелесом. На соседних креслах, коротая время, год за годом перебираем мы всю нашу жизнь. Здесь, в служебной поездке по США, самый раз оглянуться на свой путь, так непохожий на пути наших соседей по самолету. И память снова возвращается к Негину, заснеженному октябрьскому полю на Брянщине тридцать лет тому назад.

Известность раньше всех в нашем поколении пришла к Луконину. Впечатлительный до страстности, он первым выплеснул из сердца увиденное и пережитое в финских снегах. После долгого перерыва — со времен гражданской! — это оказались первые солдатские стихи о

войне. На финском фронте побывали поэты старше и опытнее нас, но война их так не обожгла, как двадцатилетних ребят, сразу попавших в ее морозное пекло. Стихам Луконина поверили с первой до последней строки, это была сама жизнь, жестокая, неприкрашенная, честная. Честная жизнь! Не раз вспоминалась на протяжении лет поговорка из «Капитанской дочки»: «Береги платье снову, а честь смолоду». И наша молодость начиналась по этой поговорке. Неуловимая грань разделяет юность с молодостью. Для многих этой грани вовсе не существует. Для нас с Лукониным — это финская кампания. До декабря 1939 года — юность, с апреля 1940 года — молодость. И свою молодость Луконин встретил стихами, замеченными всей поэзией, всей страной. Одно из стихотворений было посвящено «Коле Отраде». Начиная их читать, вы сразу понимали, что пришел новый, незнакомый вам поэт, со своим способом изъяснения, своей интонацией, словарем, взглядом на жизнь. Удивляло уже начало стихотворения, обращенное к подруге убитого товарища, обращение свысока, через плечо, пренебрежительно:

Я жалею девушку Полю.
Жалею
за любовь не открывшую:
ласков иль груб.
За:
«мы мало знакомы»,
«не знаю»,
«не смею»...
За ладонь,
отделившую губы от губ.

У Миши Молочко тоже была своя «Поля», с другим, конечно, именем, и эти строки легко могли быть адресованы и к моему товарищу, погибшему на другом участке финского фронта. Я тогда сразу запомнил их наизусть. Но суть была не только в этих строках, они становились трамплином перед прыжком. Прыжком к великолепным обобщениям, вошедшим потом в философию поколения:

Я бы всем запретил охать.
Губы сжав — живи!
Плакать нельзя!
Не позволю в своем присутствии плохо
Отзываться о жизни, за которую гибли друзья.

Последние строки звучали как лозунг, и они действительно стали лозунгом, активным и наступательным. А иногда яростно наступательным, когда приходилось утверждать его правоту в открытых схватках с открытыми врагами, что не раз случалось за рубежом.

Стихи заканчивались заповедью дружбы:

Мы суровеем,
Друзьям улыбаемся сжатыми ртами,
Мы не пишем записок девочкам,
                    не поджидаем ответа...
А если бы в марте, тогда, мы поменялись местами,
Он
  сейчас
        обо мне написал бы вот это.

Для нас всех луконинское ощущение было не мгновенным душевным выплеском, а началом выплаты пожизненного долга перед памятью друзей. Этот долг выполнялся именно в твердой уверенности, что, сгинь мы в северных снегах или южных степях, на улицах больших городов или на окраинах заброшенных деревень, товарищи, оставшиеся в живых, вспомнят нас добрым словом.

Ольга Берггольц как-то сказала, что лучшим своим произведением она считает надпись на Пискаревском кладбище. Не хочу спорить с ней,— может быть, это так, а может быть, и не так, но слова «Никто не забыт, ничто не забыто» — и впрямь великие слова.

Пройдите по улицам своих городов. Сколько улиц названо именами павших товарищей! Среди них вы найдете улицы Николая Майорова и Георгия Суворова. «Бригантина» Павла Когана развернула паруса через много лет после его героической смерти под Новороссийском. В Могилеве и Харькове бережно хранят память Михаила Молочко и Михаила Кульчицкого. В Москве вышли посмертные книги наших друзей. Не счесть сборников, в которых напечатаны их стихи. Студенты пишут курсовые и дипломные работы об их творчестве.

В утверждении памяти этих замечательных ребят большую роль сыграли их друзья, пережившие войну: Виктор Болховитинов, Борис Слуцкий, Давид Самой-

лов, Сергей Орлов, Михаил Дудин, Владимир Жуков и многие другие. Но, оглядываясь далеко назад, видишь, что первое осмысление нашего пожизненного долга дал еще в 1940 году Михаил Луконин. И за это ему всегдашнее спасибо. У него с рождения была чуткая душа, и как раз она дала ему возможность уловить одно из главных чувств поколения — чувство дружбы, сплоченности, единения. Единения на годы, до конца...

Нашему сближению с Лукониным, наверное, подсознательно помогло то, что и он, и я только что потеряли своих лучших товарищей. Он — Николая Отраду, я — Михаила Молочко. Конечно, это не было заменой: в дружбе замен нет. В молодости чувство локтя попросту необходимо, потом оно не то что ослабевает, а трансформируется в более широкие понятия. Теряется, к сожалению, непосредственность и свежесть, но не век же быть всем нам двадцатилетними.

Передо мной книги Луконина. Строка за строкой, страница за страницей, и чуть ли не везде частицы общей памяти. Вот стихи, ставшие знаменитыми: «Приду к тебе» и «Пришедшим с войны». Я даже помню первые варианты, Михаил мне присылал их в письмах. Последующие исправления характерны не только привычной работой над словом, а иной раз как бы психологическим переутверждением. Первый вариант «Приду к тебе» ослабляла излишне точная рифма (бывают и такие случаи). Рифмовалось «роковом — рукавом», и строфа приобретала выспреннее звучание. Потом Луконин заменил «роковом» на другое слово, добротно, но не столь полно рифмующееся, и концовка стихотворения приобрела теперешнее хрестоматийное звучание:

В этом зареве ветровом
выбор был небольшой.
Но лучше прийти
с пустым рукавом,
чем с пустой душой.

Стихи «Пришедшим с войны» были бы интересны для исследователей психологии творчества. Конец стихотворения, утверждавшего непрерывность подвига, переход его из боевого в трудовой заключался обращением к женщине: «Ты прости меня, милая, || Ты мне жить помоги». Строки сочинялись в нелегкую для Михаила пору,

и «жить помоги» перерастало в возглас: «И кольцо твоих рук, как замок, как венок, как спасательный круг». Луконин вскоре почувствовал, что такой вывод противоречит основной мысли стихотворения, где были такие слова:

Нам не отдыха надо
и не тишины.
Не ласкайте нас званьем:
«Участник войны!»
Нам —
трудом обновить
ордена и почет!
Жажда трудной работы нам ладони сечет.

Что здесь поделать? Изменились в это время и психологические обстоятельства. Смелая рука поэта переутверждает концовку, и теперь стихотворение выглядит цельным с начала до конца. А конец получается поистине великолепным:

Я вернулся к тебе,
но кольцо твоих рук —
не замок,
не венок,
не спасательный круг.

«Заменил «как» на «не»,— скажет неискушенный читатель.— Всего делов-то!» Нет, «делов» здесь много, и лишь рука молодого мастера могла осуществить такую переориентировку стихотворения. Рука, которой водило ощущение поэтической и политической незавершенности стиха. И я уверен, что луконинские стихи в окончательном варианте помогли многим и многим фронтовикам найти свое место в мирной жизни.

Стихи «Мои друзья», в которых поэт пишет в госпитале под диктовку раненых письма к их родным, Михаил читал мне на площадке полупустого трамвая, когда мы ехали с ним на вечер в фабричном клубе. Клуб был где-то у черта на куличках, трамвай шатало из стороны в сторону, громкий шепот Луконина не давал пропасть ни одному слову. Победа еще не праздновала двухлетний юбилей, война только отгремела, люди луконинских стихов, недавно вышедшие из госпиталей, заполняли московские улицы. Стихи на меня произвели тогда сильнейшее впечатление, и оно не исчезло до сих пор. Поэт пи-

шет письмо любимой ослепшего в боях человека. В порыве горького самоотречения раненый хочет покончить с прошлым и будущим счастьем. Поэт придумывает за него письмо, где жизнь дает отпор смерти.

Я взял перо.
А он сказал: «Родная».
Я записал.
Он: «Думай, что убит...»
«Живу»,— я написал.
Он: «Ждать не надо...»
А я, у правды всей на поводу,
водил пером: «Дождись, моя награда...»
Он: «Не вернусь».
А я: «Приду! Приду!»
Шли письма от нее. Он пел и плакал,
письмо держал у просветленных глаз.
Теперь меня просила вся палата:
— Пиши! — Их мог обидеть мой отказ.

Луконин не был бы Лукониным, если бы ограничил стихотворение пересказом драматического случая. Он выводит лирическое повествование на широкие просторы всесоветской дружбы:

Друзей моих ведет ко мне земля.
Один мотор заводит на заставе,
другой с утра пускает жернова.
А я?
А я молчать уже не вправе.
Порученные мне горят слова.
— Пиши! — диктуют мне они.
Сквозная
летит строка.
— Пиши о нас! Труби!..
— Я не смогу!
— Ты сможешь!
— Слов не знаю...
— Я дам слова! Ты только жизнь люби!

То, что говорил поэт раненому в госпитале, повторяют ему теперь друзья со всех концов страны — его читатели. Для стихотворения это отличная находка, но, вообще-то говоря, Михаила любить жизнь уговаривать не приходилось. Редко встретишь такого жадного к жизни человека, как он. Сколько его помню, ничего вокруг себя упустить не хотел, а что упускал, то его, кажется, и не интересовало. И вместе с тем покоряющая щедрость. Не только к

друзьям и любимым, а к посторонним и случайным людям. Конечно, как и у всех нас, в нем куча недостатков, но по природе своей он человек добрый, и доброта у него покрывает все шероховатости характера. Такая доброта от силы, а не от слабости.

Я помню его, как говорится, во всех случаях жизни. В счастье и несчастье, в радости и горе. Запомнились крепче всего напряженные моменты.

Помню, в первые дни войны нас, студентов Литинститута, только что принявших резолюцию об общем уходе на фронт, послали до времени в военизированный лагерь. Доехали,— кажется, по Северной дороге,— благополучно, разместились в палатках. Ночью меня будят — я был старшим в команде как секретарь комитета ВЛКСМ. Пакет из райкома комсомола, явиться туда в 10 часов утра вместе со всеми ребятами. Я сразу понял, в чем дело: заявлению о добровольчестве дан ход. И вот первым моим движением — душевным и физическим — было разбудить двух друзей — Михаила Луконина и Платона Воронько. Оба, как и я, прошли финскую кампанию; с ними можно было говорить обо всем. Через несколько минут они уже были в штабной палатке. Дал им прочитать предписание. «Начинается»,— сказал Луконин. «Началось»,— прибавил Воронько. Мы прошли уже северные снега, потеряли близких друзей, лежали в госпиталях, узнали, почем фунт лиха. Никаких иллюзий о легкости предстоящих испытаний у нас не было. Помолчали. Каждый заглянул в такую глубь, в которой и дна было не видать. Сейчас я как будто снова вижу своих друзей — суровых, сосредоточенных, решающих свою судьбу раз и навсегда. Пламя свечки чертило тени на лицах, папиросы прикуривались одна от другой. С этой ночи для нас троих, пожалуй, и началась Великая Отечественная война.

И очень хорошо помнится наш отъезд в действующую армию. Нас с Михаилом за два дня перед тем заново обмундировали во Втором доме Наркомата обороны. Это было чудо, а не шинели! Это было сумасшествие, а не ремни! Это была сказка, а не сапоги! Фуражки с красными околышами были видны за версту. Ах, как мы были хороши... Не шли, а шествовали по улице, казалось, все прохожие от нас глаз оторвать не могут. О женщинах говорить нечего. У К. Симонова в дневниках есть маленькая

сценка. За час до первого отъезда на фронт он глядит на себя в зеркало. Тоже в новом обмундировании. И кажется, что он век таким будет. Вот и нам казалось. Передовая быстро нас обработала, уже через неделю мы в своих новых мундирах перебегали и переползали через Негинское поле. Весь лоск соскочил с нас. А тогда... Спустя два месяца, уже после окружения, я воскресил в памяти тот день.

ОТЪЕЗД

Проходим перроном, молодые до неприличия,
Утреннюю сводку оживленно комментируя.
Оружие личное,
Знаки различия.
Ремни непривычные:
Командиры!

Поезд на Брянск!
                    Голубой, как вчерашние.
Тосты и речи, прощальные здравицы,
И дождь над вокзалом, и крыши влажные,
И асфальт на перроне.
Все нам нравится.

Семафор на пути отправленье маячит
(После поймем — в окруженье прямо!).
А мама задумалась...
— Что ты, мама?
— На вторую войну уходишь, мальчик!

Написанные по свежим следам, стихи довольно четко воспроизводят те прощальные минуты. Одна лишь минута, вернее — мгновение, не отпечаталась в них. Поезд тронулся, и мы, вырываясь из объятий, уже на ходу вскочили на ступеньки. И тут у Мишки сорвалась фуражка. Помню, как ахнул перрон,— страшная примета! Но Михаил каким-то отчаянным рывком успел подхватить фуражку на лету. И вдогонку послышался облегченный вздох: голова не потеряна. Мы долго потом вспоминали этот случай.

В стихах Михаил часто возвращался к тем временам. Впрочем, как все мы, его фронтовые сверстники. Из многих его стихов мне особенно близко одно, короткое. Я был его первым слушателем в сорок первом году.

Хорошо перед боем,
когда верится просто
в то, что встретимся двое,
в то, что выживем до ста,
в то,
        что не оборвется
все свистящим снарядом,
что не тут разорвется,
дальше, где-нибудь, рядом.
В то, что с тоненьким воем
пуля кинется мимо.
В то,
        чему перед боем
верить необходимо.

Мы верили, и «возможная необходимость нашей гибели», о которой я не раз говорил в других очерках, миновала нас. Да так миновала, что сперва я, а потом Михаил побывали на полувековых юбилеях друг у друга. Луконин старше меня почти на год, и в зале ЦДЛ после добрых слов в адрес именинника я нахлобучил на его голову буденовку. Она чудом сохранилась у меня с финской кампании. Михаил спустя год с лихвой отдарил меня. После речи он бросил на пол саблю, отобранную у немецкого генерала в Сталинграде. Мгновенно вспомнив былые каноны, я не поднял саблю, а наступил на нее ногой.

Конечно, нам повезло. Скольких друзей в пути потеряли, скольких недосчитались! Отсюда то, с чего я начал очерк,— чувство долга перед ушедшими. Они сказали нам словами Георгия Суворова: «Свой добрый век мы прожили, как люди, и для людей».

И долг оставшихся в живых — пронести это бессмертное чувство по всей земле, по всем меридианам. Ведь оно погубило фашизм тридцать лет назад, оно спаяло людей во имя мира и ведет их по дороге мира.

Из последних стихов Луконина мне близко одно, в котором явственно звучит именно эта нота. Михаил часто читал эти стихи в Америке, и они растапливали лед в самой замороженной аудитории. Называется оно «Спите, люди», и я буду выборно его цитировать.

Спите, люди.
Отдохните. Вы устали.
Отдохните от любви и маеты.
Млечный Путь усеян звездными кустами.
Ваши окна отцветают, как цветы.

Наработались, устали ваши руки,
нагляделись
и наискрились глаза,
и сердца, устав от радости и муки,
тихо вздрагивают, встав на тормоза.

Поэт вспоминает земли и моря, реки и города, которые он повидал, странствуя по свету:

Я на цыпочках хожу, и мне счастливо.
Вспоминаю,
как цветасто спит Париж,
спит Марсель у знаменитого залива.
И тебя я помню, Прага,— сладко спишь.
Вспоминаю ночи Дели и Рангуна.
К пальмам голову — некрепко спит Ханой.
И Пномпень, устав от солнечного гуда,
спит на ложе красоты своей земной.
В Таиланде тихо спит вода Сиама.
Спят плавучие базары. Ночь в порту.
«Тише, тише! —
Я шептал над ухом прямо.—
Берегите, люди, эту красоту!..»

Эта последняя строка — ключевая в стихотворении. Говоря о друзьях, мы редко подчеркиваем ценнейшее в них. Луконин — настоящий коммунист. И прирожденный поэт. И естественно, он стал поэтом-коммунистом.

Каждый по-своему борется за мир. Каждый выделяет в мирной жизни то, что кажется ему наиболее дорогим. Присоединяясь к этим стремлениям, благословляя эти желания, поэт страны Коммунизма выделяет свое ощущение мира: «Берегите, люди, эту красоту». Очень емкие слова.

Спите, люди, сном предутренним одеты,
отдыхайте
для работы,
для игры,
привязав на нитке дальние ракеты,
словно детские зеленые шары.
Чтобы дети и колосья вырастали,
чтоб проснуться
в свете дня,
а не во мгле,—
спите, люди,
отдохните,
вы устали.
Не мешайте жить друг другу на земле.

Всем своим существом, творчеством, поэзией Михаил Луконин помогает людям жить на белом свете.

Никогда уже мы не станем двадцатилетними и тридцатилетними, разве что в стихах и воспоминаниях. Но у каждого возраста своя жизненная задача. Время сеять и время собирать, сказано в одной старой книге. Естественно и спокойно Луконин стал одним из лучших советских поэтов. Не для себя он сеял, не для себя собирал. Золотое зерно поэзии отдавал он в руки друзей. А друзей у него — вся страна!



В ПОЛЬШЕ



Мы ехали к Ивашкевичу. Выбираясь за город, машина долго кружила по варшавским улицам. Наверно, путь был не кружным, а прямым, но в незнакомом городе самый короткий маршрут кажется длинным. А с Варшавой я знакомился впервые. Четверть века назад знакомство не состоялось: армия, в которой я служил, развертывала наступление на север, и Варшава осталась за плечами. Мы все дальше уходили от нее, а казалось, приближались к ней. Во всех этих городах и городках, в которые мы входили вечером, чтобы покинуть утром, тысячи беженцев дожидались нашего прихода, рассчитывая тут же пуститься в обратный путь. Они знали, что Варшава разрушена чуть ли не до последнего дома, но это не останавливало, а, наоборот, торопило в дорогу. Всюду — в Цеханове и Млаве, в десятках хуторов и деревень — с посиневших от январского холода губ шелестело: «Варшава, Варшава, Варшава...» Мы понимали стремление людей возвратиться на родные пепелища, но понимали не до конца. И лишь спустя много лет, встав лицом к лицу с прекрасным городом, воскресшим из небытия, я сам себе ответил на давний вопрос.

Навстречу нам со стен жилых домов, с фасадов общественных зданий, с заборов и оград парков вставали транспаранты и плакаты, посвященные двадцатилетию народной Польши. Мне подумалось, что в известной ме-

ре это и мой собственный юбилей. Большие даты принимают для нас особую окраску, если наша память включается в память народа соучастницей давних событий. И каков бы ни был твой вклад в них, а преувеличивать его, конечно, не стоит, все же он дает тебе право ощущать свою причастность к общему празднику.

Тогда, осенью 1944 года, Польша встречала нас пожарищами и развалинами. Гитлеровский сапог пять лет перед тем топтал польскую землю. Но израненная и разоренная страна представала перед глазами молодого офицера совсем в ином свете. Глядя на нее, он все время незаметно для себя привносил ослепительные поправки на ее прошлое и будущее. И не то что в каждом поляке он видел Володыевского, а в каждой польке — Басю; не в том дело, что на месте любых развалин он прозревал будущие дворцы, но ощущение «прекрасности» этой страны не покидало его. «Красавица и в лохмотьях остается красавицей» — прочитал я запись в дневнике тех лет.

Невольно я заговорил о себе тогдашнем в третьем лице. Как-никак целая жизнь прошла с тех пор. Но, вспоминая впечатления четвертьвековой давности, я не нахожу в них ложных штрихов. Чувство, владевшее мною, иначе как влюбленностью не назовешь, а влюблен ли ты в женщину или в страну, сопутствующие обстоятельства одинаковы. Идеализация и романтизация здесь не только возможны, но прямо-таки обязательны.

Боже, сколько стихов я тогда написал! Чуть не каждый день появлялось новое стихотворение. Бумага и карандаш не всегда были под рукой, я сочинял стихи вслух, затверживая наизусть, чтобы не забыть. Сейчас, перечитывая их, с каким-то щемящим чувством я вспоминаю обстановку, в которой они сочинялись. Вот эти строки пришли ко мне, когда я лежал в воронке от авиабомбы, пережидая огневой налет немецкой артиллерии. Трудно поверить, что они могли сложиться именно тогда,— снаряды рвутся, раненые кричат, а молодой человек стихи сочиняет.

И светлее на сердце, и горше,
Оглянусь на цветное крыльцо:
— Не твое ли, красавица Польша,
Просияло сквозь слезы лицо?!

Чьими вновь ожило ты вестями?
Что, коханая, видишь вдали?
Это наши червленые стяги
Через Вислу-реку перешли!..

Дело прошлое, и сознаюсь, что моя влюбленность в Польшу не всегда носила четко государственный характер. Недавно, в груде старых бумаг, я обнаружил записную книжку, помеченную датами тех лет. На ветхой страничке слепым карандашом было выведено: «Уроки польского». Что это были за уроки? «Губы — уста», «глаза — очи», «ручки — рончки», «люблю — кохаю», «красивая — пенкна» и дальше в том же роде. Забегая вперед, скажу, что, когда в разговоре с Ивашкевичем я вспомнил эту историю и мы вместе посмеялись над филологическими изысканиями молодого офицера, мой собеседник заметил, что прекрасных наставниц, дававших мне эти уроки, можно было бы разыскать. «Да, но четверть века могут сделать краше страну, а не женщину»,— вздохнул я. «К сожалению, верно»,— ответил автор «Панны из Вильно» — светлой и грустной повести об умершей молодости.

А машина давно уже выехала за город и продолжала мчаться через километры и воспоминания. Вскоре мы свернули с шоссе и тенистой просекой подъехали к крыльцу старого, но еще крепкого дома. Он вызвал у меня в памяти Мелихово и Абрамцево, и, думается, значение его в истории польской культуры будет сходным с тем влиянием, что получили писательские гнезда в развитии русской словесности. Литературный и общественный авторитет Ярослава Ивашкевича заслуженно велик в стране, которой он целиком и без остатка отдал свой выдающийся талант, ум и знания. Вся народная Польша отмечала его 75-летний юбилей и высшей наградой республики увенчала заслуги писателя.

С понятным волнением я поднимался по лестнице на второй этаж, где на пороге своего кабинета ждал нас хозяин дома. Общественная деятельность — общественной деятельностью, но Ивашкевич интересовал меня прежде всего как человек, создавший поразительную по яркости галерею образов «Хвалы и славы» — трилогии о судьбах польской интеллигенции. Как-то в Крыму я проглотил ее в первую неделю отдыха, а остальные три

недели все время возвращался к ней, разыскивая подтверждения возникшим мыслям. Польский мотив отзывался в русском читателе какими-то тургенево-бунинскими струнами, и на душе становилось прозрачно, печально и неизъяснимо хорошо. Впечаталась в мою память и одна странная новелла Ивашкевича «Битва на Сейджмурской равнине», написанная им в годы войны совсем не на польском и совсем не на современном материале. Сюжет ее был заимствован, кажется, из «Истории Англии» Маколея и мог, пожалуй, заинтересовать скорее Вальтера Скотта, чем писателя другой страны и другого века. Но философия и история, раскрывающиеся в соотношении личности и событий, никак не вальтерскоттовская; просторная трагичность ее — родная сестра нашему времени, и, вчитавшись, понимаешь, что эта новелла могла быть написана только в 1942 году и только в Польше. Для меня она была как бы добавочным свидетельством мощи человеческого духа, свободно передвигавшегося во времени и пространстве, вопреки заслонам, поставленным на его пути тупой силой фашистского варварства.

И наконец, я знал и помнил стихи Ивашкевича. Сравнительно редко крупный талант не прокладывает параллельные курсы в обоих морях — прозы и поэзии. Могут сослаться на Толстого и Достоевского,— примеры, конечно, разительные и как будто опровергающие такое утверждение. Но можно насчитать куда больше других образцов. Ярослав Ивашкевич принадлежит к числу писателей, счастливо сочетающих оба дарования — прозаика и поэта.

Мне трудно будет нарисовать портрет Ивашкевича, я не столько смотрел на него, сколько слушал его чуть старомодную, но изысканную русскую речь. Так говорило старшее поколение российской интеллигенции, и сейчас лишь где-то в арбатских переулках стены домов, обреченных на снос, сохранили в деревянных досках отзвук полузабытого произношения. Мне всегда становится грустно, когда я слышу эти «конешно», «скушно», «шегать», «танцевать», спокойно льющиеся из уст человека старшего возраста. Это все равно что смотреть на какую-нибудь неостановимо погибающую фреску. Ивашкевич рос и воспитывался в давней России, и речь его сохранила особенности живого языка современников Бу-

нина, Куприна, Вересаева. Внешне — раз об этом надо сказать хоть два слова — он показался мне старше, но значительнее и интереснее тех портретов, которые рисуют его человеком в расцвете лет и обычно открывают книги писателя. Стало банальностью подчеркивание того обстоятельства, что какой-нибудь видный художник держится просто. Оно возникло в свое время как некий антиштамп к описаниям, в которых объект выступал, так сказать, «в грозе и буре» романтико-эпических аксессуаров. Но факт остается фактом, что чем крупнее человек, тем проще и естественнее он держится. Для позы нет ни времени, ни желания, ни глупости. Самый величественный человек, которого я встретил в последние годы, проверял билеты у входа на речной вокзал.

И старый мудрый писатель держался, конечно, естественно и просто, и я лишь делаю уступку банальности, упоминая об этом. Мне нелегко воспроизвести наш разговор: записей я не вел, да и как-то противу человеческого обихода черкать карандашом во время интересной беседы. Темы возникали сами собой, они подсказывались случайным словом или, наоборот, неслучайным замечанием. Я спросил, например, как развивается традиция исторического романа в современной польской литературе. Крашевский, Сенкевич, Прус — имена, знакомые с детства, а они как раз эту традицию и знаменуют. Оставлена она или продолжается? Ивашкевич сказал, что традиция жива и внимание привлекают сейчас полузабытые страницы истории Польши, времена первых Пястов, Болеслава Смелого. Я заметил, что Киево-Новгородская Русь тоже дала содержание ряду романов наших писателей, но широкой популярности они не приобрели. Видимо,— продолжали мы беседовать,— в современных условиях давние события легче воскрешаются средствами новых видов искусств. На польских экранах в эти дни демонстрируется «Пан Володыевский» по одноименному роману Г. Сенкевича. Стоит на него сходить, он хорошо принимается массовым зрителем, несмотря на свою подчеркнутую традиционность, а может быть, и благодаря ей.

Кстати говоря, я принял совет и посмотрел этот фильм на другой же день. Не знаю, как он покажется приверженцам новых путей киноискусства, но человека вроде меня, достаточно равнодушного к его проблемам и до

сих пор позорно называющего фильм «картиной», он может взволновать. В нем не стесняются называть своими именами действительно большие понятия: Родина, верность, самопожертвование. Называют, показывают, воодушевляют — и зритель, отталкиваясь от опостылевшей дегероизации, аплодирует героям Речи Посполитой.

Неизбежно разговор должен был коснуться поэзии. Русское и польское стихосложения развиваются на основе разных языковых структур, и проблемы, тревожащие поэтов сопредельных стран, не одинаковы. Достаточно сказать, что возможности рифменного стиха в Польше значительно меньше, чем у нас. Ударение в польском языке, как правило, на предпоследнем слоге, следовательно, приходится придерживаться преимущественно женских рифм при ограниченном запасе мужских, которые от частого употребления стали банальными. В таких условиях развитие польского стиха от классического к свободному естественно и закономерно. Сам Ивашкевич пишет свободным стихом, он согласился прочесть вновь написанное им, и мне эти строки показались совершенными.

В русском языке ударение возможно даже на пятом и шестом слоге от конца. В принципе у нас могут использоваться даже гипердактилические рифмы. Обилие мужских окончаний тоже способствует гибкости и разнообразию рифмовки. Одним словом, рифмованный стих у нас еще не скоро исчерпает себя. Отсюда — иные профессиональные проблемы и заботы. Обо всем этом — все поэты немного авгуры! — мы с удовольствием побеседовали с Ивашкевичем. Наконец я ответно прочитал ему свои стихи — те, давние, времен войны и молодости, где польские и русские слова, дополняя друг друга, сливаются в одном славянском русле:

Не дружиться с долей печальной
И не черной темнеть тоской,
Но тенскнотой томиться чарной
Очарованному тобой.

Не горячими, так горючими,
Но словами вспомню любви
То ли руки твои, то ли рученьки,
То ли белые рончки твои.

Я перечел статью и подумал: а не создается ли впечатление чрезмерной непринужденности нашего разговора? «Мы с Ивашкевичем», «я с Ивашкевичем» — не прочтутся ли мои строки с таким акцентом, боюсь этого пуще всего. Надеюсь, что такого акцента здесь нет, да и не может быть,— мною все время ощущалась дистанция возраста и размеров сделанного. А мое уважение к Ивашкевичу, как к старшему мастеру, беспредельно.

Воскрешая в памяти впечатления того дня, скажу одно: отличная была беседа и на редкость симпатичный человек поддерживал ее со мной в течение добрых полутора часов. В нем соединились старая и новая культура Польши, вся многовековая история польского народа глядела на меня его глазами.

После встречи, как говорится, с живым классиком, никакая другая встреча в Варшаве, казалось, не могла бы меня взволновать. Но это оказалось не так. Директор Национального музея профессор Лоренц — явление отнюдь не менее интересное, чем учреждение, которое он возглавляет. Именно явление, ибо этот подвижной, словоохотливый, решительный человек, выглядящий на сорок лет, хотя ему перевалило за семьдесят, олицетворил в моих глазах перспективную действенность гуманитарной интеллигенции. Ту самую действенность, которая долго подвергалась сомнению в среде тех же гуманитариев. Профессор Лоренц возглавляет Национальный музей с 1935 года, то есть еще со времен санации. В условиях буржуазно-помещичьей Польши он, возможно, упрочил и приумножил бы свою известность крупного авторитета среди музейных специалистов, но никогда бы не приобрел живой человеческой известности среди людей, наполняющих музейные залы. Апокалипсические годы войны, оккупации, освобождения повернули польскую интеллигенцию лицом к народу, включили ее в орбиту народных интересов. В тишину музея ворвался бурный поток истории. Музей перестал быть только музеем: гитлеровцами под корень уничтожалась тысячелетняя культура Польши,— и старое здание приобретало значение цитадели и символа этой культуры. Когда стало ясно, что фашисты собираются окончательно разрушить Варшаву, не оставив от нее камня на камне, профессор Лоренц, связавшись с подпольными организациями Сопротивления, организовал спасение художественных сокро-

вищ Польши. История этого спасения могла бы дать содержание и сюжет хорошему фильму, мысленный подзаголовок которого составляли бы три слова: коммунисты, интеллигенция, народ. Железнодорожники и шоферы, не страшась расстрела и виселицы, вывозили ящики с музейными экспонатами в глубь страны, дальше от немецких глаз; крестьяне разбирали по домам картины, керамику, фарфор из дворцов и поместий, чтобы после освобождения все без остатка возвратить государству; музейные работники вели тщательный учет ценностей: что вывезено оккупантами, что осталось в Польше, где, у кого, в каком месте; коммунисты, озабоченные тысячами других дел, точно и планомерно руководили операцией. Профессор Лоренц находился в самой гуще событий. Может быть, именно тогда он полностью ощутил и понял, что единичная судьба интеллигента приобретает смысл и значение лишь тогда, когда она соединяется с общенародными судьбами.

Деятельность профессора Лоренца в эти месяцы нельзя оценить иначе как подвижническую. Но его культурный и человеческий подвиг не оборвался с изгнанием немцев из Польши и победоносным окончанием войны. Духовный разбег, взятый в те напряженные дни, нашел свое развитие в работе по восстановлению культурного достояния Польши.

В здании Национального музея 1 мая 1945 года профессор Лоренц открыл выставку «Варшава обвиняет». Были выставлены картины, проткнутые фашистскими штыками, изрешеченные немецкими пулями образа, обожженные книги, поломанные статуи. В Варшаве не работал водопровод, а перед главным входом музея бил фонтан. Простой механик — помощник профессора в спасении музейных ценностей — сидел в помещение под фонтаном и качал воду вручную. Разумеется, об этой простодушной хитрости никто не знал или делали вид, что не знали, и все удивлялись, как это профессору удалось даже фонтан пустить при всеобщей разрухе. Кстати говоря, механик, приводивший в движение фонтан, вместе с другим помощником профессора, музейным электротехником, были потом награждены орденами Польши за спасение культурных ценностей.

Летом того же года с визитом в Варшаву приехал генерал Эйзенхауэр. Тогдашний мэр города Мариан Спы-

хальский пригласил его на выставку. После осмотра Эйзенхауэр спросил:

— Вода есть в городе?

— Нет.

— Электричество?

— Нет.

— Газ?

— Нет.

— Продукты?

— В общем, живы.

— И вы восстанавливаете музей?

Больше американец ничего не спросил и не сказал.

Сейчас профессор Лоренц является активнейшим деятелем польской культуры, энтузиастом демократизации музейного дела. Он ставит вопрос о том, чтобы музеи были открыты по вечерам,— тогда они будут доступны трудящимся, занятым днем на службе и производстве. Пропагандирует он также идею социалистического меценатства. Профессор Лоренц считает, что крупные предприятия, заводы, комбинаты в тех Дворцах культуры, которые они строят, могут и должны выставлять картины и скульптуры, поощрять художественные дарования, вести культурно-просветительную работу. Эта идея пускает первые корни, и профессор особенно гордится местным музеем в городе Лович, созданным рабочими и руководством химического комбината.

В машине и пешком проехал и прошел я предпраздничную Варшаву. И спустя четверть века сам себе ответил на вопрос, возникший у меня на дорогах войны: что заставляло тогда голодных, разутых и раздетых людей стремиться в разрушенный и разоренный город? Ослепительные проспекты между рядами прекрасных зданий, любовно восстановленные дома Старого Места, оживленная и деятельная толпа, заполнявшая городские улицы, несли в себе разгадку. Фашизм обрек Варшаву на уничтожение, как обрек он на гибель всю польскую землю. Гордый народ Польши поклялся в те горькие дни восстановить из пепла и руин Варшаву — символ своего бессмертия. И прекрасный социалистический город, столица народной Польши, являет сейчас миру исполнение этой клятвы.



ПОСЛЕ ВОЙНЫ



Полцарства за коня! За коня с крыльями? Нет, с крылами! Пусть перенесет он тебя через долгие годы и опустит в послевоенную Москву. Серебряными копытами коснется он выщербленного асфальта у Сретенских ворот и тут же растает в воздухе. Ты даже не проводишь его взглядом, все равно он по первому свистку окажется рядом с тобой, ведь возвращение в молодость предполагает такое условие.

Расплата не сразу, а после, и с тобой не полцарства, а все царство. Без конца и края, без низу и верху, это царство — молодость. А может быть, не царство, а царствие, про которое верно напоминает поговорка: «Сему царствию конца не будет».

Да разве найдется смельчак, балбес, безумец какой-нибудь, кто решится утверждать, что конец ему все-таки будет? Может быть, у кого-то другого царствие это кончится, только не у тебя. «Двадцать раз помру до того». И сама смерть тебе, видевшему ее сотни раз на войне, не кажется уж такой большой неприятностью. Во всяком случае, до сорока лет она тебя в жизни не задержит. Ну, до пятидесяти... Хотя вряд ли. Даже в стихах как о пределе допустимости ты пишешь: «В шестидесятых, далеких и светлых...» Имея в виду не свои шестидесятые, а 60-е годы XX столетия. Так-то.

Летняя Москва 1946 года. Пять лет прошло с июньского дня, перевернувшего всю жизнь, и вот чудо совершилось, ты возвратился сюда, побывав на четырех фронтах, перейдя Одер, дойдя до Эльбы. Все эти годы ты сотни раз представлял в мыслях свое возвращение в Москву. И хотя ты, конечно, знал, что она станет не такой, какой осталась в памяти, тебе хотелось до боли сердечной увидеть ее, какой она была в последнем мирном сиянии накануне войны.

Но за три недели, прошедшие после демобилизации, ощущение перемен исподволь овладевает тобою. Оно начинается с твоих друзей. Ребята? Да какие же это ребята? Молодые офицеры с раскатистыми голосами, привыкшими командовать. Взрослые люди, умеющие постоять за себя. Хозяева жизни, такими они себя чувствуют.

Девушки? Юные женщины, без довоенной девичьей скованности, самостоятельность в каждом взгляде, улыбке, движении. Нет, они уже не станут спрашивать у родителей разрешения. На что разрешения? Да на все!

Что же произошло? Мы бесповоротно стали взрослыми. Взрослость уже не хвастовство, не бравада, а постоянное состояние. И надо сказать, отличное состояние. Мы еще только перешагнули за свои первые четверть века, а позади выигранная война. Нами выигранная война! И какая война! А впереди... Чего только нет в этом впереди!

Каково же нам будет в послевоенной Москве? Ну, прежде всего, мы сами послевоенная Москва. Уж как-нибудь определим, что с собою делать, не в чужой город вернулись. И все-таки надо хорошо осмотреться и дать свою оценку окружающей тебя жизни. Два года назад, в сорок четвертом, я застал Москву в праздничных огнях салютов. Каждый вечер вспыхивали разноцветные ракеты, гремели победные залпы. На улицах была толчея почти как до войны, победа стала близкой, государственную границу перешли на нескольких участках фронта. Я только что не ходил на голове в короткие дни побывки, кровь во мне ходуном ходила, и, кажется, не только во мне, а во всех моих знакомцах и знакомках.

А теперь, спустя какие-то два года, столица выгля-

дит совсем иначе. Сдержаннее, спокойнее, одноцветнее. Фейерверки отполыхали, орудия отсалютовали. Оценка и определение наконец найдены. Это — будни победы.

Точнее, пожалуй, ничего не придумаешь. Как победа стала постоянным явлением, а не только ослепительным сиянием Девятого мая, так и ее будни распространяются на недели, месяцы, годы. На фронте порой казалось, что вся послевоенная жизнь будет сплошным походом, похожим на тогдашний: «Даешь Данциг, даешь Штеттин, даешь Одер и Эльбу!» И после достижения каждой цели — праздничный салют, а если не салют, то во всяком случае дружеское застолье. Ну, а на деле — никакого тебе похода; а раз нет похода, то нет и салютов. Что же касается застолья, то характер его приноравливается скорее к позиционным, а не наступательным обстоятельствам. И потом день попировали, два, три, а там и за работу приниматься надо. Тем более что выходные пособия растрачиваются быстро.

Будни победы... Для меня они начались с определения своего места в послевоенной Москве. Кажется, четыре месяца отпуска полагалось тогда демобилизованному офицеру. Дожидаться истечения этого срока я, естественно, не стал. Моим поприщем была поэзия, и опорные точки мне нужно было искать в литературной жизни столицы, а для этого годится и отпуск. Из армии я вернулся позже других, и ступени, пройденные товарищами, мне предстояло преодолеть. Многих своих сверстников поэтов я знал, но с некоторыми и очень заметными предстояло познакомиться. К ним принадлежали Недогонов и Межиров.

С Межировым, скорее всего, меня свел Луконин. Они были дружны. Не исключена возможность, что первая встреча произошла в других обстоятельствах. Во всяком случае, когда в квартире у Сретенских ворот раздался звонок, неожиданным он не был. А звонил мне Межиров, и случилось это в конце лета 1946 года.

— Саша,— отрекомендовался родителям мой новый знакомец.

Отец после сказал: «Так ведь он совсем мальчик».— «Что ты! — возразил я.— Политруком роты был, ему скоро двадцать три стукнет». Мне самому тоже «того гляди»

должно было миновать двадцать семь. Я чувствовал себя, естественно, бывалым человеком, но и Сашин возраст представлялся мне значительным. Ведь точка отсчета была иная, чем теперь. Политрук роты — во́т эта точка! Отсчитанные от нее двадцать три года растягивались едва ли не вдвое.

Впрочем, Межиров всегда выглядел моложе своих лет. И не мальчишечьи подвижная фигура была тому поводом. Взрослеть и стариться ему все время мешали глаза. С них никогда не сходило некое странное выражение. Словно еще в колыбели кто-то шепнул в младенческое ушко нечто раз навсегда поразившее проснувшееся воображение. О чем бы при мне ни рассказывали Межирову, он, как правило, отвечал: «Меня это не удивляет». Видимо, в сравнении с первоначальным удивлением, так сказать — с большой буквы удивлением, все последующие новости казались ему незначительными. Ну, сами посудите, если человеку доподлинно известно, что в ближайшую среду начнется светопреставление, вряд ли его озадачат выборы нового президента Америки или вздорожание цен на водку.

Вот эти постоянно изумленные глаза делали Сашу Межирова еще моложе своих вовсе не старых лет. Безотносительно к такому впечатлению мы с Лукониным, Недогоновым, Воронько ощущали себя с такими ребятами, как Межиров и Гудзенко, много старше. Это был как бы следующий призыв. Несколько лет разницы в молодости значат очень много. В сравнении с младшими мы были участниками еще финской войны. Отечественную прошли «от звонка до звонка», написали кучу стихов, кончили вузы, успели жениться, обзавестись детьми. «Все» здесь перемешано без разбора, но так и было в жизни. Следующие возрасты попросту не успели развернуться на всех этих направлениях. Шучу, конечно, но и в шутке есть верное зерно.

И все же взрослость таких ребят, как Межиров, вызывала у нас уважительное чувство. Мальчишками мы их не считали, да и не были они мальчишками. Юность свою они оставили на перепаханных войной полях и сейчас вместе с нами входили в большую послевоенную жизнь. А мне самому для полноты жизнеощущения, казалось, только и не хватало удивленных межировских глаз. Их

изумленная голубизна отражала сущий мир под самыми внезапными углами зрения.

Привлекала меня в Межирове короткая, но значительная общность военных биографий. Воевал он на Ладоге и в Синявинских болотах. Там же его ранили. Мне эти места хорошо были знакомы. Я участвовал в прорыве блокады Ленинграда со стороны Волховского фронта, и, может быть, мы с Сашей лежали под соседними кочками и вели огонь по рядом лежащим целям. Комбатанство очевидное.

Естественно, мне стали близки такие межировские стихи, как «Ладожский лед».

Страшный путь!
                    На тридцать
                                    последней версте
что ты мне посулишь хорошего?!
Под моими ногами
                        устало
                              хрустеть
ледяное
        ломкое крошево.

Строки, бьющие напрямик пережитой достоверностью, принимались без оговорок. Дальше говорилось о ленинградских детях, шедших из осажденного города навстречу нашим бойцам. «Сотни детей!.. Замерзали в пути... Одинокие дети на взорванном льду». И —

у меня в зрачках
                    черных
                           ладожский лед.
Ленинградские дети
                     лежат
                           на нем.

В Краткой литературной энциклопедии о Межирове сказано категорически. «М.— поэт трагедийного склада...» Объяснить эту весомую формулу не сочли нужным. Между тем объяснение необходимо, человек ни с того ни с сего трагедийным поэтом не станет.

Разумеется, всякая война — трагедия, но в войне освободительной и победоносной, какой была наша Отечественная, различались разные периоды. Молодому поэту суждено было испытать неимовернейшие тяготы в самых

трагических из них и на одном из самых трудных участков фронта. Да еще вспомните, что мальчику, когда он ушел в действующую, было всего семнадцать лет. В автобиографии, предпосланной стихам в «Библиотеке советской поэзии», сам поэт говорит так:

«Война потрясла меня до глубины души. Вмерзший в лед блокированный Ленинград. Окопы на Пулковских высотах. Рубежи под Синявином, в болотах, где нельзя рыть землянки, потому что под снегом незамерзающая вода. Костры и шалаши. Засыпая у костров, мы во сне инстинктивно ползли к огню, чтобы согреться, и вскакивали, когда загорались шинели. Было тяжело, но ощущение духовного подъема всего народа придавало силы, чтобы жить и бороться».

Под Синявином Межирова ранило, и на фронт после госпиталя он не возвращался. Война на время замкнулась для него в синявинских торфяниках. На время! Ибо позже, духовным оком поэта, он сумел окинуть неизмеримо большие пространства, чем те, которые лежали в пределах видимости политрука стрелковой роты. Ему не пришлось участвовать в наступательных боях, в освободительном походе наших войск за границу. И будоражащий хмель стихов, которые сочинили его сверстники, перешедшие Вислу и Дунай, Одер и Эльбу, миновал солдатскую чарку, в которой плескался горький наркомовский паек сорок второго года. Пусть другие поэты узнают вкус иных громкокипящих вин, Межирову до конца дней хватит бездонной наркомовской стограммовки.

Синявинские костры и шалаши стали отправной точкой ранней межировской поэзии. За ними не встанут, как у других, стены и башни европейских столиц, неудержимый размах освободительного похода, война замкнется на себе самой в его стихах. Трагедия найдет свою первую и постоянную опору.

С удивительной точностью поэт скажет в своей автобиографии: «В первые послевоенные годы стихи мои выражали войну как нечто обособленное от жизни». Такую характеристику целиком можно отнести к процитированным здесь строкам. Останется справедливой она и для другого стихотворения. Оно называется «Утром» и в годы, о которых здесь рассказывается, очень мне нравилось. В нем была прозрачная свежесть ранней молодо-

сти, о которой мы, прошедшие войну, уже начинали грустить. В стихах разведчики прямо с ночной операции, выйдя на шоссе, просят шофершу подвезти их до места.

Утро майское.
                    Ветер свежий.
Гнется даль морская дугой,
И с Балтийского побережья
Нажимает ветер тугой.
Из-за Ладоги солнце движется
Придорожные лунки сушить.
Глубоко
          в это утро дышится.
Хорошо
          в это утро жить.

Зацветает поле ромашками,
Их не косит никто,
                         не рвет...

Сколько раз я встречал такое утро с тугим ветром, ромашковыми полями, неуемной жаждой жизни. А рядом —

Эй, шоферша,
                    верней выруливай!
Над развилкой снаряд гудит.
На дорогу, не сбитый пулями,
Наблюдатель чужой глядит.

И то навсегда запомнившееся чувство:

А до следующего боя —
Сутки целые жить да жить.

Сутки... Великое дело? Великое!

Ничего мне не надо лучшего,
Кроме этого — чем живу,
Кроме солнца
                    в зените,
                              колючего,
Густо впутанного в траву.

Кроме этого тряского кузова.
Русской дали
                    в рассветном дыму,

Кроме песни разведчика русого
Про красавицу в терему.

Самое бесхитростное стихотворение у Межирова. Но именно такая бесхитростность придает ему значение, о котором вряд ли думал двадцатитрехлетний автор. Война была бы совершенно непереносима, если бы состояла из одних рвущихся бомб и пулеметных очередей. У Межирова здесь настолько четкая психологическая картина фронтового бытия, включающая в себя не только громыхающие схватки, но и счастливые передышки, что становится понятной жизнестойкость его собственной трагичности.

Она — эта трагичность — не выдержала бы испытание на разрыв, если бы не такие светлые интермедии.

Возвращусь, однако, в тот летний вечер 1946 года. В разговоре возникло имя Недогонова, и я посетовал, что до сих пор с ним не знаком. «Так сегодня и можно познакомиться,— спокойно заметил Межиров.— Встали и пошли».— «Удобно ли?» — усомнился. «Вполне удобно. Он о тебе знает, только рад будет».— «Ну, раз так...»

Не помню, почему мы пренебрегли средствами московского транспорта, только весь путь от Сретенских ворот до Гоголевского бульвара был пройден пешком. Скорее всего хотелось просто потолкаться среди людей, поглазеть по сторонам, вволю наговориться друг с другом, а время есть, ноги живые, обоим нам вместе меньше лет, чем теперь любому из нас. Шли через центр, и вся послевоенная Москва развертывалась перед нами черно-белой лентой.

Еще преобладали гимнастерки над пиджаками, сапоги над башмаками, но погон было куда меньше, чем два года назад, когда я приезжал последний раз в Москву. На Кировской однорукий маляр ловко орудовал кистью, закрашивая маскировочную стряпню на старом доме чаеуправления. На площади Дзержинского возле большого здания стояли строгие часовые. Там, где сейчас «Детский мир», у подвального бара торговал зажигалками одутловатый парень в шинели без хлястика. У гостиницы «Москва» нас окликнул общий знакомый. Тихой скромницей стояла с ним девушка нескромной профессии. Зажигались ранние фонари. «Совсем как до войны...» — «Нет,

так уж не будет никогда». Это ощущение пришло не сразу. Долгое время казалось, что все снова будет, как 21 июня 1941-го... Все переменилось. Прежде всего, мы сами.

Дом, где жил Недогонов, стоял во дворе. Запущено было это жилище изрядно. На лестнице ничего не видно, черт ногу сломит в коридоре. Дверь открыла Аня — жена поэта. Мы пришли, кажется, не в пору: хозяин лежал в постели. «Болен?» — «Да нет, устал невесть от чего...» Межиров представил меня. «Заочно-то мы давно знакомы», — улыбнулся Алексей, протягивая руку. И то: ровно два года назад Константин Симонов объединил Недогонова, Луконина и меня в одной статье газеты под заголовком «Поговорим об отсутствующих», щедро процитировав наши стихи. Кроме того, мы слышали друг о друге от общих друзей и знакомых.

Пока Аня собирала чай, почитали друг другу стихи. А уже за чаем пораздумались над ближайшими перспективами. Перед фронтовыми поэтами встала тогда проблема, кажущаяся теперь невероятной. В редакциях крайне неохотно стали принимать стихи о войне. А кроме них у нас ни черта не было. Жди-гляди, когда придут новые впечатления, а с ними новые переживания, а с ними новые темы. Может быть, и не придут!.. Неужели фронтовые стихи никому теперь не нужны? Черта с два! Конечно, нужны...

И все же в каждом из нас происходило внутреннее переосмысление военных впечатлений. И Недогонов, и Межиров, и я нащупывали новые ступени фронтовой темы, выводившие ее на послевоенный простор. Недогонов завоевал всесоюзное признание поэмой «Флаг над сельсоветом», Межиров... О нем — через несколько строк.

Домой возвращались запоздно, наговорившись до сухости в горле. Межирову Лебяжий переулок был в двух шагах ходу, а я к Сретенским воротам добрался на «аннушке».

Военные стихи вошли в первые сборники, накануне которых все мы стояли. У Межирова книга называлась «Дорога далека», выпущена она была в свет в следующем, 1947 году. Первый сборник закрепил за ним первую известность. Сильнейшим эхом разговора на недогонов-

ской квартире прозвучали для меня стихи, написанные вскоре после выхода книги. Им была суждена не только известность, а нечто большее.

Стихотворение «Коммунисты, вперед!», обладай Межиров, вдобавок к поэтическому, музыкальным талантом, могло бы сыграть роль современной «Марсельезы». Посвященные могучей политической идее, стихи эти обладают сильнейшим зарядом лирического пафоса. Последнее понятие выглядит странно — лирика и пафос как будто бы противостоят друг другу. Но сила истинной поэзии в совмещении противоречивых свойств, стирании граней между ними, рождении новых качеств.

Не буду повторять строк, известных не только по книгам, а по радиопередачам, календарям, бесчисленным цитатам, скажу лишь, что тогда, в первые послевоенные годы, поэтической неожиданностью стало такое переключение фронтовой реалии на мирную. В руках Межирова оказался огромный рубильник, позволивший ему зажечь свет политической поэзии на «тыщи тысяч плотин».

И пробило однажды плотину одну
На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре.
И пошли головные бригады
Ко дну
Под волну
На морозной заре
В декабре.
И когда не хватало
«Предложенных мер...»
И шкафы с чертежами грузили на плот,
Еле слышно
сказал молодой инженер:
— Коммунисты, вперед!..
Коммунисты, вперед!

Обращаю внимание на одну особенность стихотворения. В нем совмещаются фотографическая достоверность частностей и головокружительный размах общностей. «Шкафы с чертежами» и «На Свирьстрое, на Волхове иль на Днепре». Так по всему течению стиха ведет нас эта властная поэтическая струя, составленная из двух взаимопроникающих слоев. Не удержусь и все же процитирую конец этого великолепного стихотворения:

Повсеместно,
Где скрещены трассы свинца,
Сквозь века,
                на века,
                        навсегда,
                                до конца!
Коммунисты, вперед! Коммунисты,
                                вперед!

Здесь уже не струя, а сама река: река у своего устья, за которым море.

С Александром Межировым, никогда не теряя друг друга из виду, мы прошли три десятилетия. Начало этого пути на послевоенных московских улицах, когда два демобилизованных офицера шли от Сретенских ворот, мимо Лебяжьего, на Гоголевский...

А может быть, еще прежде, у Синявинских высот?



И ДЕВУШКА НАША В ПОХОДНОЙ ШИНЕЛИ...

Однажды я встретился со старой знакомой. Нас когда-то свели, а потом разъединили фронтовые дороги. Разговор долго не клеился. Тогда женщина внимательно поглядела на меня и сказала: «Я пью за те печальные времена, когда мы были так счастливы». Пронзительная грусть этих слов вызвала к жизни милые тени, и давнее счастье не чинясь присело за наш стол.

Сходное ощущение возникло у меня, когда я стал читать книгу Юлии Друниной «Тревога», в которой собраны ее лучшие стихи. Двадцать лет — нет, не только работы, но жизни в поэзии — запечатлела эта чудесная книга. Первые ее страницы — это скупая исповедь щедрого сердца девочки-подростка, которая прямо со школьной парты «шагнула в сырой блиндаж».

Худенькой нескладной недотрогой
Я пришла в окопные края.
И была застенчивой и строгой
Полковая молодость моя.

Кто не помнит строк светловской «Каховки»? Как мы пели эту песню в далеком сорок первом! «И девушка наша в походной шинели горящей Каховкой идет...» Слова эти воскрешали образы первых комсомольцев, но мы их адресовали самим себе. Ведь снова горела Каховка, снова свистели пули и ровно строчил пулемет, и снова нам

«сквозь дым улыбались ее голубые глаза». Такой девушкой была семнадцатилетняя Юля Друнина. Но, в отличие от той светловской, о которой говорит песня, она сама сложила свою собственную — о себе, о подругах, о поколении.

Девушки военных лет... Связистки, разведчицы, медицинские сестры — как много они сделали для нас и как скудно мы их отблагодарили! Многие были обязаны им жизнью. Но скольким они спасли души? Этот подвиг не отмечался ни орденами, ни медалями, ни приказами по части. А ведь даже не примером — просто присутствием своим они будили «чувства добрые», которые могли утратиться в те злые времена. «За этот участок обороны я спокоен,— говорил мне комиссар,— здесь санинструктором девушка, она посильнее политбеседы действует на бойцов».

И впрямь, трусы становились храбрецами, а храбрецы — героями на глазах у бесстрашных девчонок, чье осуждение было нестерпимо, а одобрение необходимо. Каждый из нас, в зависимости от возраста, видел в той Ане, Вале или Гале, с которой он делился последним сухарем и вместе шел на пули, не только верного и смелого товарища, но и вставшую с ним рядом из далекого далека невесту, жену, дочку. А при невесте стыдно струсить, при дочке нельзя опускаться, от жены не скроешь правду... И девушки, чувствуя, чем они становятся для бойцов, старались не исказить создаваемый образ. Целомудренная строгость фронтовых стихов Юлии Друниной точно передает духовный облик «светлокосого солдата» Отечественной войны, прямой преемницы песенной девушки Светлова.

А как трудно приходилось этим золотым девчонкам! Ведь дело не только в том, что они видели то, чего лучше бы никогда не видеть девичьим глазам:

Я только раз видала рукопашный.
Раз — наяву. И тысячу — во сне.
Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне.

Дело и в том, что в свои семнадцать лет им хотелось хоть краем полудетской ладошки прикоснуться к тому неиспытанному счастью, которое взрослые называют любовью. И вот прорывается:

За траншеей — вечер деревенский,
Звезды и ракеты над рекой...
Я грущу сегодня очень женской,
Очень несолдатскою тоской.

И если приходило тогда первое чувство, каким коротким и тревожным счастьем оно оборачивалось... И все же было счастьем. Об этих минутах, которые приходилось «делить на двоих», со светлой печалью пишет Друнина.

Читая ее стихи, я с досадливой усмешкой думал о той мотыльковой любви, которая одно время безмятежно порхала в стихах наших молодых поэтов. Иногда под это порханье даже пытались подводить базу. Один критик в разговоре со мной сказал: «Знаете, в наш атомный век ощущение неуверенности в прочности земного существования неизбежно порождает подобные настроения». Странное суждение! Не говоря уже о том, что война отнюдь не представляется нам неизбежностью, надо сказать о моральной стороне этого дела. На фронте возможность погибнуть через день, через час и даже через минуту была ощутимой реальностью. Но разве кто-нибудь распоясывался в эти считанные мгновения? Наоборот, хотелось прожить их так, чтобы тебя не поминали лихом. Не зря старые солдаты надевали чистые рубахи перед боем.

Фронтовая любовь в стихах Друниной — это одновременно и сигнальная ракета, и колеблющийся огонек в землянке. Как ракета, она вспыхивает, выхватывая на мгновение из темноты неповторимо главное в эту минуту. Видишь зубчатые верхушки черного леса на горизонте, комья мерзлой земли на бруствере, кожух станкового пулемета и совсем рядом с собой странно незнакомое в мертвенном ракетном блеске, бесконечно дорогое лицо. Погасла ракета, тьма сгустилась еще сильнее, но никогда уже до конца жизни ты не забудешь того, что увидел в эти долгие секунды. Как колеблющийся огонь в снарядной гильзе, она освещает короткие строки письма, что пишется урывками во время ночного дежурства под громкий храп товарищей и приглушенные бревенчатым накатом разрывы. И строки этих писем превращаются в стихи:

Не знаю, где я нежности училась,—
Об этом не расспрашивай меня.
Растут в степи солдатские могилы,
Идет в шинели молодость моя.

Итак, те печальные времена, когда мы были так счастливы. Что же сталось после с этими «светлокосыми солдатами»? Казалось, им сторицей должны были воздать за все, что они сделали, отдав свою единственную молодость сперва поражениям, а потом трудно доставшимся победам. Впрочем, если брать в широком плане, они свое получили сполна — ордена и песни. Если же несколько сузить этот план, до размеров личной судьбы каждой из них,— а ведь это-то куда как важно! — картина получится не особенно радужной:

Возвратившись с фронта в сорок пятом,
Я стеснялась стоптанных сапог
И своей шинели перемятой,
Пропыленной пылью всех дорог.

Какие правдивые и горькие строки! Казалось бы, гордиться надо было девушкам своей боевой биографией, а они смущенно прячут от чужих взглядов «пороховые пятна» на обветренных руках... Помню, сразу после войны я встретил свою фронтовую знакомую. Она шла вместе с молодым человеком явно тылового обличия. «Томка!» — радостно вскрикнул я. Поздоровавшись, она оттянула меня в сторону и торопливо зашептала: «Только не говори, что я была медсестрой. Знаешь, это сейчас не котируется...» Бедная Томка! Значит, и на нее брызнуло сплетней с обывательской сковородки. Не обжегшись, такого не скажешь. Но и этот гусь недорого стоит — я про ее спутника,— раз от него надо скрывать лебединую песню своей молодости. Посмотрел бы я на него рядом с Томкой на минном поле!

Но эта растерянность, к чести всех Томок нашей молодости, быстро проходила и сменялась спокойной уверенностью в жизненной своей правоте. Фронтовая юность оставила им непреходящие ценности, которые нельзя было разменять на медь мещанства и обывательщины. Даже если бы они хотели, у них плохо это получилось бы:

Только разве это в нашей власти?
Разве ты не понимаешь сам,
Как непрочно комнатное счастье,
Наглухо закрытое ветрам?

Не буду говорить о само собой разумеющемся, о чем-то вроде того, что женщины-фронтовички активно вклю-

чились в трудовую жизнь мирного времени. Конечно, «включились», да еще как включились! Война не любила белоручек, и наши девушки были мастерицами на все руки — все это потом пригодилось. Но главное, я считаю, не в этом. Главное — в той душевной чистоте и духовной закалке, которые приобретались с глазу на глаз со смертью. В сердце у каждой — иногда тише, порой громче — звенит та верная струна, по которой настраиваются все остальные. Бывает, конечно, что глохнет эта струна, а то и вовсе рвется, но это уже трагедия, и последнее ее действие горько досматривать. В те годы выработался твердый нравственный критерий, и безнаказанно переступать его нельзя — обожжет стыдом, и долго потом будешь мучиться, сравнивая себя теперешнего с тем, прошлым и лучшим.

Если ж я солгу тебе по-женски,
Грубо и беспомощно солгу,
Лишь напомни зарево Смоленска,
Лишь напомни ночи на снегу.

Так пишет о себе Друнина. Но у каждого есть свое «зарево Смоленска», и строки эти становятся общими для всех нас в своей нравственной значимости. А разумею я не только фронтовиков.

Это верная струна, зазвучавшая в военные годы, определила мотив всего творчества Друниной. Удивительная чистота тона и выверенность каждой ноты далеко не полностью объясняют притягательность этого мотива. Талантливая уверенность почерка бросилась мне в глаза в первых же ее стихах. Твердо, без оговорок, желая донести до слушателя лишь самое главное и говоря лишь о самом наболевшем,— так может писать лишь поэт, знающий цену и себе, и своему читателю.

Мы любовь свою схоронили,
Крест поставили на могиле.
— Слава богу! — сказали оба.
Только встала любовь из гроба,
Укоризненно нам кивая:
— Что ж вы сделали?
Я — живая!

Это сильные строки. И они действуют безотказно. Сила их, как и всего творчества Друниной, в том, что вы почти физически чувствуете боль человека, произносяще-

го эти слова. Вы, наконец, видите этого человека, и вы ему верите безусловно. Вот что, пожалуй, и сообщает притягательность лирике Друниной — ее абсолютная человеческая достоверность. Причем достоверность значительного, а не пустячного. Иные поэты под предлогом «самовыражения» говорили нам все, что бог на душу положил. Но бог, как оказалось, положил им не так-то много. Выражаемое было либо мелким, либо никчемным. Так на кой черт нам сдалось их самовыражение? И раздосадованный читатель стал понемногу от них отворачиваться. Со стихами Друниной такого не произойдет.

Ее последние стихи всегда хочется считать предпоследними. Сказано главное, но сейчас пойдет еще главнее. Где только не побывала за эти годы бывшая фронтовичка! И всю Россию объездила, и чуть ли не во всех республиках Союза побывала, и заграницу увидела. И отовсюду стих о виденном и передуманном. Читаешь их с напряженным вниманием.

Да, сердце часто ошибалось,
Но все ж не поселилась в нем
Та осторожность, та усталость,
Что равнодушьем мы зовем.

Все хочет знать, все хочет видеть,
Все остается молодым.
И я на сердце не в обиде,
Хоть нету мне покоя с ним.

Перелистываешь одну за другой страницы ее книги и на каждой находишь что-то новое для себя. Новое и вместе с тем родственное по общности восприятия и совпадению жизненных оценок.

По улице Горького — что за походка! —
Девчонка плывет, как под парусом лодка,
Девчонка рожденья военного года.
Рабочая косточка,
Дочка завода.
Прическа — что надо!
И свитер — что надо!
С «крамольным» оттенком губная помада!
Со смены идет (не судите по виду) —
Ее никому не дадим мы в обиду!
Мы сами пижонками слыли когда-то,
А время пришло — уходили в солдаты!

Так фронтовое поколение подает руку теперешнему «младому, незнакомому». Такое ли оно «незнакомое»? Та же неуемная тревога в крови у этих девчонок и мальчишек, та же святая тревога, которая звала нас — всюду и везде — на передний край событий. И нынешние девчонки, «рабочие косточки», — прямые преемницы девушек «Каховки» Светлова и «светлокосых солдат» Юлии Друниной.



«НАЗВАНЫЙ МОЙ БРАТ»



ла вторая мировая война. Она шла уже седьмой месяц, но в Москве затемнения не было, вздорожания продуктов и строгого закона о прогулах с перестрелками на линии Мажино никто не связывал. Короткая финская кампания воспринималась как изолированное явление. Короткая! Она длилась три с половиной месяца, но пережившим ее показалась за три с половиной года. Среди них был и я. Наш 34-й добровольческий батальон хлебнул горя. Я об этом писал в очерке «На той войне незнаменитой» и любопытствующих отсылаю к нему.

Правда, возвращение с войны было ослепительным. Как-никак это была война, и притом настоящая. Лучшие мои друзья погибли на ней, а сколько было раненых и обмороженных... Я сам с черными ступнями валялся в госпитале, и лишь несокрушимое двадцатилетнее здоровье спасло меня от ампутации. На своих двоих — собственных двоих! — шел уцелевший боец 34-го легколыжного демобилизовываться в Сокольнический военкомат. Он находился на Стромынке, неподалеку от студенческого общежития, отсюда мы пасмурной колонной уходили на фронт. Нас было тогда сорок с небольшим человек. Возвратилось четверо.

В военкомате меня встретили как сына родного. Со всех комнат сбегались поглазеть на вернувшегося фронтовика. Я оказался первым из четверых и принес первые

новости. Меня пожелал видеть сам военком. Дистанция между бойцом и капитаном была внушительной, но радушный здоровяк не дал мне ее почувствовать. Еще в поезде, когда я возвращался из глазовского госпиталя в столицу, меня окружило почтительное внимание соседей по вагону. Двадцатилетний мальчишка, каким я был тогда, стал магнитом, стянувшим к себе общее внимание: «Ну, как там, на финской?»

С таким же вопросом обратился ко мне и военком. Рассказал ему, тщательно отбирая выражения. Но и отобранных оказалось достаточно, чтобы капитан загрустил и, заглянув в недалекое будущее, сказал: «Теперь разговоров с родственниками не оберешься. Я их к тебе буду направлять. Если даже не видел, как погиб, говори, что видел. Да распиши погероичней, ребята-то были хорошие. Ты же, кажется, стихи пишешь». Откуда он это взял? На лбу, что ли, написана у меня такая склонность? О своих поэтических делах я ему не докладывал. Разве что мои друзья, справляясь обо мне, выложили все, что надо и не надо.

Военком как в воду глядел, и долгие месяцы, чуть ли не до самой Великой Отечественной, передо мной проходили отцы и матери, братья и сестры, жены и любимые погибших солдат. Не только моего взвода и роты — всего батальона. А их набралось немало. Чего я только не навидался и не наслушался в свои двадцать лет! Мне бы прозаиком стать...

Но хватит о невеселом. Я же обещал рассказать об ослепительном. А оно и впрямь было не за горами. Во-первых, военком тут же мне выдал наркомовский подарок (так он и назывался) — триста рублей. В 1940 году это были хорошие деньги. Цену им я быстро распознал с военкомовским писарем в ближайшем заведении, где мировые судьбы обсуждались стоя. Оформив демобилизацию, он увязался за мной, и я, конечно, не возражал. «Обмундирование тоже при тебе остается»,— напомнил он за третьей кружкой пива. Я насмешливо хмыкнул, и, как оказалось потом, напрасно хмыкнул. Дело в том, что добровольцам было выдано совершенно великолепное одеяние. Другого слова здесь не подберешь, обмундированием трудно назвать белые лыжные комбинезоны на гагачьем пуху, чистой шерсти свитера, коричневые с черным воротником, отличное теплое белье, толстенные нос-

ки. И так далее. Все это роскошество не спасло нас от пятидесятиградусных морозов в финских снегах. Ночевали-то в сугробах, не зажигая костров. Рейды по тылам противника, черт их перечерт. Потом, когда мы возвращались на базу, белоснежные наши костюмы покрылись гарью у долгожданных костров, но все-таки сохраняли свой горделивый вид. Кстати говоря, пользуюсь случаем напомнить Алексею Александровичу Суркову, если он прочтет этот очерк, об одном его давнем обещании. Оно имеет прямое отношение к моему рассказу.

Проходило второе совещание молодых писателей. Если на первом я был участником, то теперь, спустя несколько лет, выступал уже в роли младшего начальства. Точнее, я состоял руководителем семинара, но бразды власти были предоставлены Вере Михайловне Инбер, а нам с Макаровым были оставлены ассистентские функции. Вера Михайловна была милым человеком в домашнем кругу (я это ощутил, побывав у нее в гостях летом 1943 года в Ленинграде), но не дай бог столкнуться с ней в деловой обстановке. Михаил Светлов, однажды задетый ею, сказал, что она стремится с вязальными спицами идти в штыковую атаку. Кололи, однако, эти спицы больно и нацеливались в незащищенные места. На семинаре мы быстро это почувствовали. Первым пришлось рассориться с ней мне. В первые послевоенные годы фронтовым поэтам, как ни странно, пришлось нелегко. С нетерпеливым нажимом с нашего брата требовали новых тем. «Война давно позади. Пишите о трудовых делах». Так напрямик и говорили. Конечно, здесь была жестокая несправедливость. Всего несколько лет отделяло нас от Дня Победы. Мы еще не успели переварить и сотой части увиденного и пережитого. До сих пор, спустя тридцать с лишним лет, наша литература живет Великой Отечественной войной. Живые и деятельные люди, мы, естественно, были настежь открыты новым делам и деяниям. Они вскоре хлынули в нашу поэзию неостановимым потоком. Но это произошло не сразу, и подчас приходилось горько. Моя мать до сих пор вспоминает, как однажды, возвратившись из очередного похода по редакциям, я бросил на стол кипу отвергнутых стихов и устало сказал: «Не берут ничего фронтового. Как корова языком слизнула четыре года...» Ну все-таки эти преграды были преодолены. Мы двинули паровозами новые стихи — ударные, резкие, программ-

ные, а они потянули за собой составы военных стихов. Во многом помогло фронтовым поэтам первое совещание молодых писателей. Мы на нем выступили плечом к плечу. О нем речь впереди. Пока же и на втором совещании продолжались стычки.

Нетрудно догадаться, что ссора с Верой Михайловной разгорелась у нас именно по этому поводу. Все стихи фронтовой темы решительно браковались. Мы с Макаровым грудью встали на их защиту, но старшего руководителя семинара было трудно переспорить. То и дело пускалась в ход газетная терминология. Мы тоже, нечего греха таить, прибегали к ней, но с меньшим успехом. Требования момента, как говорится, склонялись на сторону противника.

Среди участников семинара была Юлия Друнина. Почему она так «засиделась в девках», когда ей пора было находиться на одинаковых правах со мной и Макаровым, не знаю, но факт остается фактом: после перерыва предстоял разбор ее творчества. Юля подошла ко мне, всерьез обеспокоенная. «Инбер на меня обрушится — это совершенно ясно. Надо звать подмогу». Сошлись на Суркове. Истовый фронтовик, он, кроме всего, был руководителем Союза писателей. А на Веру Михайловну такое обстоятельство должно было подействовать.

Совещание проходило в помещении ЦК ВЛКСМ, хорошо знакомом мне по недавней работе. Я быстро разыскал Суркова в одном из кабинетов и объяснил ему, в чем дело. Алексей Александрович охотно согласился на «оперативное вмешательство», как он окрестил эту акцию. Первый секретарь СП СССР появился на семинаре, когда Друнина кончила читать стихи и спор вокруг них уже набрал силу. Сурков медлить не стал, а, предваренный мной, с ходу рванулся в бой. Это было зрелище, достойное богов! Я искренне насладился пожаром Трои. Только что грозная Вера Михайловна напуганной девочкой Дороти (были у нее такие давние и, надо сказать, прелестные стихи) зажалась в кресле. Официальная терминология, которую она сама вызвала, как джинна из бутылки, обвалилась на нее с сокрушительной силой. Старый полемист беспощадно обвинил ее в демобилизационных настроениях, а для острастки — в подрыве оборонной мощи. В неосознанном, но все же подрыве. Вера Михайловна даже оправдываться не стала и лишь испытанно сосла-

лась на женскую психологию: «Война — здесь каждое новое напоминание...» Сурков уже насытился громыханием и принял капитуляцию. Правда, последние слова вызвали в нем новую, но уже стихающую волну: «Надо напоминать!» И тут же в качестве примера стал цитировать стихи Друниной. Хорошо он их разобрал и похвалил. И опять вернулся к напоминаниям. «Вот ведь, за большой войной, когда действительно решалась судьба народа, страны, коммунизма, почти забыли финскую кампанию. На ней народные судьбы не решались, зато человеческие... Помню один эпизод». И здесь я ушам не поверил. Сурков рассказал, что, будучи корреспондентом «Красной звезды» на Ребольском направлении, он увидел, как в жестокий мороз, прямо на сугробах у сожженного хутора, вповалку спали ребята-лыжники. Они вернулись из похода, от батальона мало кто уцелел. «Бедные парни,— сказал далеко не сентиментальный Сурков.— Я их тогда сфотографировал».

«Да это мой 34-й батальон,— хрипло выговорил я,— а финский хутор назывался Хилики».— «Правильно, Хилики,— подтвердил Сурков.— Но это невероятно! Неужели вы были в этой группе?!» Тут, как говорится в тихоновских стихах, «стало холодно у огня».

Алексей Александрович обещал найти фотографию, но в московской суматохе так и не добрался до недр своего архива. Может быть, теперь разыщет? Интересно было бы взглянуть на себя в февральских сугробах сорокового года.

После такой интермедии какие-либо споры о значимости военной темы стали неуместны. Тихий ангел пролетел над семинаром.

Спали мы на снегу как раз в тех комбинезонах, о которых говорилось вначале. Боюсь, что мое повествование стало сильно смахивать на марк-твеновскую новеллу, где рассказчик в бесконечных отступлениях и пояснениях безвозвратно теряет нить сюжета. Схема новеллы примерно следующая: так вот, у этого Джека был дядя (идет рассказ про дядю), а у этого дяди была свояченица (рассказывает про свояченицу), а у свояченицы — подруга... И так далее и тому подобное. Возвратимся к писарю, третьей кружке пива и разговору о льготах демобилизованным добровольцам.

Я не напрасно тогда хмыкнул над башмаками, обмот-

ками и другим обмундированием, оставшимся в мое вечное пользование. Ведь комбинезоны и прочее роскошество осталось в госпитале, а взамен нам выдали «бу», то есть бывшее в употреблении, с чужих плеч. Но спустя много-много лет буденовка с красной звездой сослужила мне неоценимую службу. Ведь в сороковом году носили еще красноармейские шлемы, и я сохранил свой до 1968 года. Почти тридцать лет дожидался он единственного дня, когда понадобилась его последняя служба. Долго я размышлял, что бы подарить Михаилу Луконину в полувековой юбилей. Вдруг вспомнил про буденовку. Ведь Миша тоже был на финской, тоже добровольцем, только в другом батальоне. И на юбилейном вечере я с торжеством надел ему на голову заветный шлем.

Михаил отдарил меня по-царски. Через год, на моем пятидесятилетии, он бросил мне под ноги саблю, отобранную им в Сталинграде у немецкого генерала. Я мгновенно вспомнил о воинском ритуале и тут же наступил на нее ногой. Сабля побежденного!

А пока мы стояли с веселым писарем на Сокольническом кругу, и очень нам было хорошо. Выпито было изрядно, и не только пива, но хмелел я тогда медленно, и хмель праздновал возвращение. Первая война была позади, а впереди еще вся биография. Я это ощущал со всей точностью и полнотой. Читал писарю стихи, написанные в госпитале, они были тяжелыми и хмурыми, но весеннее солнце, звеневшее на гранях кружек и стаканов, не давало сгуститься настроению. А солнце и впрямь звенело, а не сверкало, и даже горькие и жестокие строки не могли его одолеть. А строки были вроде таких:

Мы сухари угрюмо дожевали
И вышли из землянок на мороз,
А письма возвращенья нам желали
И обещали счастья полный воз.
В глазах плыла уже шестые сутки
Бессонница. Шагая через падь,
Из писем мы вертели самокрутки
И падали, чтоб больше не вставать.

Все же письма оказались пророческими. Возвращение начало сиять радугой, а полный воз счастья, влекомый праздничными конями, двинулся мне навстречу.

Распрощавшись с захмелевшим писарем, я сел на трамвай № 14 и, почти ни в одном глазу, поехал в институт. Это был знаменитый ИФЛИ — Институт истории, философии и литературы. Еще никто не знал, что я возвратился в Москву, и мной уже предвкушался эффект неожиданного появления.

Ну, и величали меня! А девушки, девушки... С лихвой мне воздалось за финские снега. Эх, хоть бы на день вернуться в то время! Я и возвращаюсь, только на страницах, а это возвращение далеко не полное.

Праздничный хмель, девичьи объятия и поцелуи кружили меня весь апрель, а в середине мая добровольцев Литинститута (я перешел учиться туда, а в ИФЛИ остался на экстернате) отправили в Коктебель загорать, купаться и забывать далекие сугробы. Но они не забывались. Потрясение было настолько сильным, что никакое вино, никакие объятия и поцелуи не могли вытеснить страшные впечатления. Слова Твардовского были мне тогда неизвестны, а если бы я их знал, то во многом бы с ним согласился. «Я как бы обижен за фронт и его людей. Как это все могут жить, как жили, интересоваться, чем интересовались, когда они должны же знать, какая это была война, сколько тысяч людей (теперь-то хоть это известно) заглянули в ее жуткие глаза, пережили ни с чем не сравнимое и никогда об этом не расскажут. Это чувство — вроде какой-то ревности. Оно неверное. Жизнь больше войны, хотя когда война, то кажется — на первый взгляд по крайней мере,— что ничего больше ее нет». Ревности я не ощущал, но «жуткие глаза» войны забыть не мог. Эта память жила и в моих товарищах по финской кампании. Первым выплеснулся Михаил Луконин. Стихи о зимней войне, напечатанные в «Знамени», принесли ему первую известность. Это были стихи бойца-очевидца, которых наша поэзия не знала со времен гражданской войны. В них твердо заявило о себе наше поколение — прямых участников и свидетелей войны. Поколение держалось удивительной духовной цельностью и спаянностью. Еще тогда, в стихах о первой смерти, встреченной на войне, Луконин написал о своем друге:

А если б в марте
тогда
мы поменялись местами,

Он сейчас
обо мне написал бы
вот это.

Наиглавнейшим, что мы вынесли из финской кампании, было чувство начала огромных событий. Тяжелая уверенность в том, что нам предстоит войти в большую войну, воевать с немецким фашизмом, не покидала нас с тех пор ни на минуту. Никакие пакты о ненападении успокоить нас не могли. Мне попала однажды на глаза стенограмма одного литинститутского семинара. Она поразила меня своей нацеленностью. Недавние фронтовики только и говорили что о будущей войне. Однако тогда ни в прозе, ни в поэзии, ни в драматургии вступление в большие события почувствовано не было. Финская кампания, повторяю, воспринималась как изолированное явление. И все-таки нашлось исключение. Встал человек и сказал вещие слова:

И час как век.
И нет рассвета.
Кругом война на много лет,
Как будто нет на свете света
И в мире мира больше нет.

Эти строки принес с финского фронта Платон Воронько.

Все, что только ощущалось нами, получило здесь полное выражение. Какой страшный размах в этих словах! Действительно «на много лет»... И света на свете нет, и мира в мире не сыщешь. Но что же это я пересказываю отличные стихи! Лучше, чем в них, не скажешь.

Платону Воронько было тогда двадцать шесть лет. Он встретил их во время финской. Между нами была небольшая разница в годах, он прошел уже армию, служил в Таджикистане, выглядел по-военному собранным и подтянутым. Сравнительно недавно я увидел старую фотографию декабря 1939 года, на которой были сняты четыре добровольца перед отправкой на фронт. Я долго не мог оторвать взгляда от этого снимка. Узнал сразу Луконина и Воронько. Что меня поразило в них — это какая-то беспощадная самоотреченность. Или наоборот — самоотреченная беспощадность. С такими парнями не задумываясь можно идти в огонь и воду. Вязаные подшлемники открывали упрямые лбы, яростные глаза, твердо очерчен-

ные скулы, жестко сжатые рты. На Западе превознесли до небес «зеленые береты». Куда этим «зеленым беретам» до подобных ребят!

Вот такой отвагой и привлекало лицо моего нового товарища. Только было оно в обычное время куда мягче и веселее, чем на том жестоком снимке.

Платон был красивым человеком. Во всех смыслах — внешне и внутренне. Скульптурная посадка головы, славянский облик, волнистые русые волосы, крепко сколоченная фигура. По характеру он был прямой запорожец — широкий, раскидистый, смелый. Великолепный смех, открытый и звонкий. В. П. Катаев в своем последнем романе дает реальным людям прозрачные псевдонимы, в которых передает главные черты рисуемого человека. «Командор», «королевич», «мулат». Воронько я бы, по катаевским следам, так бы и окрестил запорожцем. Тарасу Бульбе он был бы хорошим соратником, как стал таким в наше время Ковпаку.

Из Финляндии Платон привез несколько хороших стихотворений. Печатали нас тогда трудно, и, кроме Луконина, никто не прорвался в журналы. Стихи, подобные процитированным, с «войной на много лет», еще ждали своего срока. Дело не в официальных препонах, их не понял бы и читатель тогдашних лет. С внешней стороны ведь все выглядело благополучно. Финская кампания — эпизод. Стоим пока в стороне от войны, вздорожание продуктов пережить можно. Не такое видали в гражданскую войну и первую пятилетку, к трудностям не привыкать. Нет, не поняли бы этих стихов.

Мои собственные стихи я даже не показывал в редакциях. Знал, что не пройдут. Слишком мрачны они были. Для них тоже время не пришло. Нужна была откровенная тяжесть 1941 года, чтобы открыть им дорогу к читателю. А пока я только сам себе задавал молчаливые вопросы.

Ни у кого, ни за что не спросим
Про то, что не расскажешь никому,
И тянутся кривые сучья сосен
Замерзшими «зачем?» и «почему?».

Но вот почему не печатались такие стихи, какие написал зимой 1940 года Платон Воронько, я до сих пор не пойму. Теперь они стали хрестоматийными.

Я стоял на посту — и заря
Золотила крыло глухаря.
Он сидел на высокой сосне,
Но, глухой, не услышал во сне,
Как снаряд разорвался литой
Между ним и зарей золотой.
Между ним, между светом и тьмой,
Между смертью и жизнью самой.
Он лежал на снегу — и заря
Золотила крыло глухаря.

Превосходные строки. И мудрые совсем не двадцатишестилетней мудростью.

Ну что ж, в нашем распоряжении оставались литинститутские аудитории, студенческие общежития, прокуренные комнаты, московские улицы и бульвары. Читали мы стихи друг другу днем и ночью, а некоторые даже во сне разговаривали стихами. Какой-то поэтический угар владел нами. Мы втаскивали в него за́ руку своих подруг, и они, закрыв глаза, плавали на его сладостных волнах. Конечно, мы не только своими стихами зачитывали их до головокружения. От «Слова о полку Игореве» до Тихонова и Прокофьева вся русская поэзия была у нас под руками. А у Платона Воронько еще и украинская. Именно с его чтения я впервые ощутил силу шевченковского слова. Конечно, великого кобзаря я знал и до того.

Как умру — похороните
Вы меня в могиле
На кургане, над простором
Украины милой.

Мы помнили эти строки еще со школьной скамьи. Но Шевченко, конечно, надо слышать на родном языке. И в вороньковской передаче я его услышал так, что до сих пор в ушах звенят прекрасные строки.

Большая война, которую так остро предчувствовал Платон, неумолимо приближалась к нашим пределам. И 22 июня она взорвалась неостановимым грохотом. Вся граница от Баренцева до Черного моря стала единым фронтом. В одном из своих очерков я уже рассказал о воскресном июньском дне, когда на партийно-комсомольском собрании литинститутовцы решили подать коллективное заявление о добровольном уходе на фронт. Рассказал я и о том, что райком партии отправил нас до выяснения обстоятельств и возможностей в подмосковный воени-

зированный лагерь. Рассказал я, как началась Великая Отечественная война для недавних лыжников финской кампании. Ночью меня растормошил курьер из Москвы. Я получил предписание немедленно прибыть в райком с вверенным мне студенческим коллективом. Секретарь комсомольской организации Литинститута, я состоял старшим по команде. Приказал немедленно разбудить Луконина и Воронько. При свете карманного фонарика ознакомил их с предписанием. «Начинается»,— сказал Луконин. «Началось»,— уточнил Воронько.

Из студентов Литинститута образовали взвод 22-го истребительного батальона Советского района. Взвод был полного состава — свыше сорока бойцов. Несколько человек влились из других организаций, а так одни студенты. Командиром взвода был назначен молоденький лейтенант — Черток. Очень милым и добрым юношей он оказался, хотя и строгости у него хватало. Когда я сейчас написал «юношей», то, конечно, написал это слово рукой немолодого человека. Даже спустя два года, в блокадном Ленинграде, когда Мария Константиновна Тихонова, желая похвалить, назвала меня «хорошим юношей», я очень обиделся. Помилуй бог, я был уже старшим лейтенантом, медаль на груди блестела, а тут «юноша». Сейчас такая мальчишеская щепетильность кажется смешной, но в отличие от теперешних ребят мы взрослели очень рано, любая инфантильность считалась позорной.

Помкомвзвода утвердили Платона Воронько. Командирами отделений — Луконина, меня и еще кого-то из добровольцев-лыжников. Участие в недавней кампании выделило нас среди других. Впрочем, я был вскоре освобожден от своих командирских обязанностей, так как меня избрали секретарем комсомольской организации батальона.

Платон лихо командовал взводом, который часто поступал в его единоличное пользование. Голос у него был звонкий, команды он чеканил явственно и слышно. К своим начальственным функциям мой новый товарищ относился улыбчиво, впрочем, как и все недавние фронтовики. Нам было ясно, что истребительный батальон — дело временное, что в Москве мы не засидимся, отправимся на фронт.

Взвод нес дежурства у Центрального телеграфа, где, помню, я познакомился с Джеймсом Олдриджем, посы-

лавшим корреспонденцию в английские газеты. Через тридцать лет я напомнил ему об этом в Лондоне, и мы подивились диковинному стечению обстоятельств. Службу несли на знакомых улицах, у знакомых окон, под знакомые песни. К неимоверному удивлению москвичей мы распевали старую солдатскую «Нам ученье не мученье, между прочим, тяжело, что не знаем ничего», а сразу за ней давнишнюю фабричную «Господин хороший Чешер завсегда рабочих тешил» и, наконец, киплинговскую «День-ночь, день-ночь, мы идем по Африке». Последняя, наверное, воспринималась как выражение единства с союзниками. Под эту же категорию подходила шуточная баллада «Дочь короля сидела у окошка». Но тут же распевались песни революции и гражданской войны. А потом без перехода — «Все хорошо, прекрасная маркела». Помкомроты носил фамилию Маркелов, и утесовскую песенку «Прекрасная маркиза» переделали в честь его. Мальчишки, сорванцы, студенты!

Но к этим мальчишкам и сорванцам большая война подходила все ближе. И шутить она не думала. Это мы напоследок озоровали, зная, что скоро будет не до смеху. Военные ограничения вводились не сразу, и мы еще бегали пить пиво в Дом журналиста, находившийся неподалеку от наших казарм. Ведь казармы-то вначале помещались в Литинституте, а после — в школе напротив консерватории. Да и какие это были казармы: студенческие аудитории и школьные классы, заставленные кроватями под суконными одеялами. В коридорах — пирамиды с трехлинейками.

Конечно, война ощущалась и в Москве. Не только затемнением, карточками и сводками Совинформбюро. Через месяц после ее начала состоялась первая вражеская бомбардировка. В эту ли, другую ли бомбежку загорелись составы с боеприпасами у Белорусского вокзала. Нас бросили тушить вагоны. Того гляди взорвутся. Ребята оказались молодцами. Одного из бойцов даже наградили орденом Красной Звезды, что было тогда редкостью. На памяти пожар Тишинского рынка, зажигательные бомбы на крышах, железная балка в огромном окне телеграфа. Она влетела из разбомбленного соседнего — через переулок — дома. Уже появились первые храбрецы, первые трусы. Удивительную формулу трусости высказал один из вчерашних студентов. Когда начиналась бомбеж-

ка, он совсем терялся. Сядет на корточки, голову вниз, только винтовка стоит торчком. Стыжу его: такой-сякой, немазаный, тебя же на передовой расстреляют. Приподнял голову: «В жизни все равно один раз умирать, так лучше попозже». И это без тени юмора. Я потом потерял его из виду и фамилию не называю намеренно. Война длилась долго, и он мог из труса превратиться в героя. Такие случаи бывали.

Платон в эти дни вышел на орбиту, унесшую его вскоре далеко за пределы Москвы. Он стал готовиться к боевой службе в тылах противника. Подрывником-диверсантом его сбрасывали с парашютом в разных точках обширной территории, занятой врагом. В 1944 году, при новой встрече в Москве, Платон насчитывал, если не ошибаюсь, 38 мостов, взорванных им собственноручно. Это была служба храбрости, и мой товарищ прошел ее с честью. Ему бы давно нужно присвоить звание Героя Советского Союза и, думается, еще присвоят. Не шуточное дело — один мост взорвать, а тут тридцать восемь!

Платон — потомственный поэт. Его дед, Василий Воронько, ослепший от оспы в детстве, был бродячим лирником. Дедовский дар передался внуку. Где бы он ни был, стихи никогда его не оставляли. Осмысляя все сделанное им во вражеских тылах, Платон Воронько дает обобщение партизанской борьбы. Волшебный мир Леси Украинки окрыляет это обобщение. Ее эпиграфом «Той, що греблі рве» начинает он стихи о своей тяжелой боевой профессии. Как она поэтизируется в строках Воронько!

Укрытый, я лежал под партизанским кровом,
И кровь текла по капле сквозь бинты,
А лесовик склонялся седобровый
И спрашивал:
«Ты все взорвал мосты?»
«Да, все».

Редко кому удавалось с такой спокойной гордостью ответить на прямой и суровый вопрос. Молодец, Платон Никитич,— так и хочется сказать ему после этих слов. Вступают в разговор Мавка, роза, ясень, оживает мир украинской легенды. «И полетели фермы, лонжероны, обрушась на крутые берега» — входит в стихи партизанская действительность. А потом снова горделивая перекличка с Лесей Украинкой: «Да, я плотины рвал, я не скрывался в скалах».

С близкого языка гораздо труднее переводить, чем с далекого. Обманчивая простота соответствий затрудняет, а не облегчает переложение. За редким исключением стихи украинских поэтов звучат на родном языке гораздо сильнее, чем на русском. Относится это и к стихам Платона Воронько. Может быть, лишь одна небольшая поэма «Из Неметчины в Чернетчину» с одинаковой силой прозвучала на русском языке в чудесном переводе Сергея Васильева. Мне случилось перевести несколько партизанских стихов моего товарища. Кажется, самый удачный из них — перевод «Карпатской песни». Помню, я принес его на квартиру Платона в Москве, и мы читали вслух горячие, с пылу строки. Приведу это короткое стихотворение целиком:

Ты встаешь бессонными ночами
И идешь к знакомой крутизне,
Где неопаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.

С ней на кручу всадники взлетели
Из пыли горячей и степной,
И ее припевом прошумели
Ветры над безвестной крутизной.

И сказал один из нас: «До века
Не забыть ни губ твоих, ни кос,
Твоего русалочьего смеха...»
И коня пришпорил под откос.

Бой потом гремел над Верховиной...
Ты его нашла среди травы:
Те же руки, взгляд такой же синий,
Только чуб в запекшейся крови.

Потому бессонными ночами
Ты идешь к знакомой крутизне,
Где неопаленными крылами
Наша песня плещет в вышине.

Расставшись с Платоном осенью 1941 года, мы снова встретились с ним в Москве летом 1944-го. Воронько получил отпуск после госпиталя, где лежал с тяжелым ранением. В возу с сеном, рискуя каждую минуту нарваться на немцев, его перевезли через линию фронта. Биография сложилась у него просто легендарная. Конечно, не сложилась, он сам ее так сложил. Платон Воронько служил у

знаменитого Ковпака и с его отрядом участвовал в Карпатском рейде. На груди у него блестел орден Красного Знамени — самая желанная боевая награда по памяти гражданской войны.

Так случилось, что мы стали соседями по Сретенскому бульвару. Платон женился, и квартира Ляли, его жены, оказалась в рядом стоящем доме. Не проходило дня, чтобы мы не встретились. Москва 44-го вся была в праздничных салютах, каждый вечер они рассыпались разноцветными огнями под залпы орудий у нас на глазах. Настроение было под стать салютам — такое же праздничное. Моя армия стояла на отдыхе, мне дали побывку в столицу по вызову Николая Семеновича Тихонова. Его только что избрали председателем правления СП СССР. Он переехал в Москву из Ленинграда, где мы познакомились, подпись его дорого стоила. Дни были счастливыми. После долгих месяцев впервые надо мной и Платоном ничего не висело, дела на фронте шли хорошо, наши собственные тоже не заставляли желать лучшего.

Знакомых в Москве опять стало много. Ожил Литературный институт. Вечная благодарность Славе Щириной, возглавлявшей его партийную организацию. Веселая, настойчивая, энергичная, она сумела превратить Дом Герцена в межфронтовой узел связи. Через Литинститут, а персонально прямо через нее, мы разыскивали потерявшихся друзей, узнавали об их делах, получали новые адреса. О гибели товарищей тоже оповещали Славины письма.

В литинститутских коридорах звенели новые голоса. Преимущественно девичьи: ребята были на фронте. Некоторых, задержавшихся всякими правдами-неправдами в Москве, было жалко. Сколько они упустили! Причем безвозвратно. Другой жизни не будет.

Помню, с одним из них я сидел в известном баре № 4 на Пушкинской площади. Недавно этот дом снесли, на нем можно было бы прикрепить коллективную мемориальную доску: кого только не видели у себя его стены! Мой знакомый все интересовался: «Ну, как там, очень страшно?!» Я его старательно разубеждал, приводя в подтверждение разные боевые эпизоды, но в результате только еще больше нагнал на него страху. Соль фронтовых россказней всегда состояла в анекдотическом описании опасностей. Ход мышления у моего московского приятеля

был таков: «Если он про такие вещи рассказывает шутя, то про что же он говорит всерьез?»

Мы с Платоном несколько недель подряд варились в этом веселом котле, который держала на быстром пламени победоносная наша молодость. Есть чем вспомнить те недели!

Я ввел Платона в дом на улице Серафимовича. Он там сразу пришелся ко двору. Мария Константиновна Тихонова, тогда еще оживленная, стремительная, молодая, души в нем не стала чаять. Если мне случалось прийти одному, сразу вопрос: «А почему без партизана?» Николай Семенович, сам отличный рассказчик, мог часами слушать Платона. Тихоновское радушие было исключительным. Порой мы засиживались до утра, комендантский час находился еще в полной силе, а ночных пропусков у нас не имелось. У Платона обнаружился отличный слух и голос. Он прекрасно пел, дед-лирник получил достойного внука. Здорово у нас пелась «Любо, братцы, любо», до сих пор еще звенит в ушах эта песня моей молодости.

Атаман узнает, что парня не хватает,
Эскадрон пополнится, забудут про меня.
Любо, братцы, любо,
Любо, братцы, жить,
С нашим атаманом
Не приходится тужить.

Прикроешь глаза — и увидишь большой стол в тихоновской гостиной. За столом Николай Семенович в офицерской гимнастерке, с блокадными угловатыми скулами и втянувшимися щеками и Мария Константиновна в коричневом платье с белым кружевным воротником. Они вместе со мной вторят сильному голосу Платона, выводящему «Любо, братцы, любо...». Платон, откинувшись на стуле, раскрасневшийся, живой, с блестящими молодыми глазами, держит песню на чистом дыхании. Вдруг слышатся орудийные залпы. «Салют! — кричит Шура, моя ровесница, тихоновская домоправительница.— Гасите свет, шторы раздвинем!» «Минск освободили»,— говорит Николай Семенович, глядя на разноцветное полыхание за окнами.

Всему хорошему, однако, приходит конец, и слава богу, если ждешь еще лучшего. А нас оно ждало. Шли последние месяцы войны, и впереди светил весенним светом

зарубежный поход, победное окончание немыслимо тяжелых лет. И с Платоном я встретился уже после демобилизации, а она у меня затянулась. Только в июле 1946 года я окончательно возвратился в Москву. Платон с Лялей по-прежнему жили в квартире по Сретенскому бульвару, и наши встречи возобновились. У них росла маленькая дочка, и Платон прохаживался с ней вдоль окон своего дома, под бульварной листвой. Одно из самых прочных ощущений, вынесенных нами из войны, была теснота фронтовой дружбы. Вскоре у меня появилось стихотворение «Костер», где такая дружба переходит в интернациональную, а она, в свою очередь, перерастает в единый отпор поджигателям новой войны. «Костер», по сути, стало первым стихотворением вновь открываемой темы. Борьбы за мир во всем мире. Его напечатал «Новый мир», который только что возглавил К. М. Симонов, и первая известность постучала мне в окно. Своеобразным дубликатом «Костра», тоже написанное в форме баллады, стало другое стихотворение — «Друзья», посвященное уже просто дружбе, правда, тоже с выходом на международный простор. Процитирую стихи выборочно.

ТЕТРАДЬ

Когда давно в казарме спят,
И всюду тишь да гладь,
И уж никто меня в штадив
Не вздумает позвать,
Я вынимаю из стола
Тяжелую тетрадь.

В ней все, чем в детстве бредил я,
Ночами невпробуд,
В ней лучшая из всех моих
Немыслимых причуд,
В ней марки всех времен и стран
Радугой цветут.

Дальше перечисляются марки. Каждая из них напоминает страну, город, человека, с которыми меня соединила жизнь.

И а́нглийская тоже здесь.
Газеты говорят,

Что в Лондоне идет конгресс,
А там, как делегат,
Платон Никитич Воронько —
Названый мой брат!

Вот отсюда и возникло название моего очерка. Стихи заканчивались такими строками:

Мелькают марки ста земель,
Что мы спасли от бед,
Я все края твои узнал,
Бескрайний белый свет,
Везде сейчас мои друзья,
И — удержу им нет!

Действительно, нам казалось, что удержу нет нашим мечтам, стремлениям, целям. А значит, их выполнению и достижению. Мы тогда недалеко ушли от одного лихого командира, который, покручивая гвардейские усы, заявил при нас: «Поставить цель — значит ее достичь!»

Платон Воронько действительно ощущался названым братом, все у нас было общее — прошлое, настоящее, будущее. В прошлое, хоть и очень короткое, входили две войны. В настоящее — утверждение в литературной Москве. В будущее — поэзия, поэзия и поэзия. Мы безгранично верили друг в друга, нравились друг другу, ставили ставку друг на друга. Чувства, владевшие нами, были, конечно, не дружескими, а братскими. Не было вещи, которую бы я мог утаить от Платона. Луконин, с которым мы тоже были близки, в тяжелую минуту сказал: «Беда пополам». Вот с Платоном у нас были пополам и счастье и горе. Каждый входивший в литературу знает, что на первых порах неприятностей и обид, ранящих самолюбие, хоть отбавляй. И здесь не словесное, а даже молчаливое сочувствие товарища многое значит. Мы плечом к плечу шли тогда по своему неторному пути, и слава богу, что и у него и у меня плечи оказались крепкими.

Помогло нам первое совещание молодых писателей. Московский комитет комсомола привлек нас к его подготовке. Мне было поручено выступить с первым словом от молодежи. Это выступление, которое превратилось в доклад, мы готовили вместе с Платоном в комнате на улице Мархлевского, где я тогда жил с родителями. Мама носила нам с кухни кофейники и чайники. Лист исписывался

за листом. Выступление получалось лиричным и резким, светлым и злым. Полностью оно соответствовало нашему настроению, в котором перемешивались противоположные чувства.

Молодым вином бурлило в коридорах совещания, где из конца в конец слышались голоса: «Это ты, Недогонов?», «Это ты, Луконин?», «Гудзенко! На память помню твои стихи: «Ведь самый страшный час в бою — час ожидания атаки», «Олесь Гончар, вот какой ты, оказывается!», «Нонешвили, будем знакомы», «Геворг Эмин, рад узнать тебя!», «Что это за девушка?», «Сильва Капутикян».

На трибуне я продержался около часа. «Свои стихи мы сочиняли при дымном свете походных костров и коптилок в землянках. Они привезены из гущи жестокой и яростной жизни. Первыми их слушателями были солдаты, которые теперь лежат под фанерными пирамидами в Подмосковье и Черноморье, за Вислой и Эльбой. Можно ли отмахиваться от таких строк, как это делают сейчас в редакциях газет и журналов».

Зал, состоявший из таких же фронтовиков, загромыхал аплодисментами. Дальше я выдвинул подробную программу мероприятий, которые следовало осуществить нам в помощь. Просьбы не походили на просьбы, это были требования. Мы знали себе цену и пришли на свое совещание не просить, а требовать. Новое поколение советской литературы впервые подняло свой голос в эти дни. И голос был услышан. Когда я, окончив доклад, шел мимо стола президиума, председатель сказал: «Зайди в перерыве, надо переговорить».

Я зашел. Разговор был коротким. «Мы берем тебя в ЦК ВЛКСМ, будешь проводить в жизнь свои собственные предложения». Я рассмеялся и отказываться не стал.

Позвонил я дней через десять, не хотел спешить. «Какого черта не являешься на работу? — услышал я в трубке недовольный голос.— Тебя давно утвердили». На другой день я пришел на новую службу. Я был назначен инструктором отдела пропаганды, а вскоре — завгруппой художественной литературы. Вдобавок я был утвержден постоянным представителем ЦК ВЛКСМ в Союзе писателей СССР. На моей памяти этот редкостный пост никому больше присвоен не был, ни до меня, ни после. Удостоверение храню до сих пор.

В развитие наших предложений при СП СССР была создана Комиссия по работе с молодыми писателями. Председателем ее был назначен А. Т. Твардовский, ответственным секретарем — П. Воронько, а зампредом утвердили меня. На первых порах мы взялись за дело весьма ретиво. Издательства запланировали к выпуску книги молодых поэтов и прозаиков. В редакции молодежных журналов и газет были введены наши креатуры. Платона назначили в правление Литфонда СССР, чтобы он заботился о материальных нуждах молодежи. ЦК комсомола и Союз писателей предоставили в распоряжение молодых писателей творческие командировки. Во все концы страны разлетелись наши друзья-товарищи с командировочными удостоверениями высоких организаций. По всему СССР были проведены по образцу всесоюзного республиканские, краевые, областные совещания молодых писателей. Наконец, по следам совещания в Союз писателей были приняты поэты и прозаики, недавние молодые фронтовики.

В эти месяцы 1947—1948 годов мы встречались с Платоном едва ли не ежедневно. Разве что по воскресеньям не бывало встреч, да и то... С горечью встретили мы безвременную смерть Алеши Недогонова. С версткой первой книги, спеша к друзьям, чтобы показать им желанные листы, он спрыгнул на ходу с трамвая и попал под колеса. Маленький сынишка, услышав от ошеломленной матери про несчастье с отцом: «Разрезал трамвай», в невинности своей пролепетал: «И пальто тоже разрезано?» Пальто Алексею справляли долгие месяцы, отказывая семье в необходимом, покупка была событием. Бедно мы жили.

Правда, как раз незадолго перед смертью Алексея наши дела поправились. С ним на двоих, зная о нашей дружбе, выделили литер «А». Была такая форма повышенного отоваривания продуктовых карточек. Обычно родные наши стояли в очереди, а мы с Алексеем обсуждали житье-бытье на скамейке Сретенского бульвара, неподалеку от магазина. Вспоминается, что заветный литер был получен как раз стараниями Платона, начавшего именно с нас свою литфондовскую деятельность.

В большой комнате, которую я занимал с тремя товарищами в ЦК комсомола, всегда была труба нетолченая народу. Несмотря на то что в те строгие времена у подъезда стояли часовые, а вход был по пропускам, литера-

турная молодежь шла сюда неостановимым потоком. Помощь оказывалась всесторонняя — от командировок и печатания до московской прописки.

В те годы мы много писали. Газеты и журналы наконец открыли нам свои страницы и уже больше их не закрывали. Стали выходить в свет первые наши книги. Каждое новое стихотворение мы с Платоном читали друг другу. Не скупились на похвалы, но и ругню, когда следовало, не держали при себе. Очень помогали нам старые писатели. К дружелюбию Тихонова присоединились товарищеские советы Фадеева и Твардовского.

Несмотря на видимые и осязаемые успехи, а может быть, именно поэтому, Платон стал все чаще говорить о переезде на Украину. «Поэт должен жить на своей родине,— сказал он однажды.— И не только должен, а просто обязан». Жаль было терять рядом стоящего товарища, не хотелось соглашаться, но я полностью одобрил его решение.

Мой доблестный запорожец возвратился на Украину. Теперь я за ним мог следить главным образом по стихам. Письма, подобно лермонтовскому офицеру, каждый из нас «писать ленив». За годами шли годы. Платон Воронько упрочился в числе лучших украинских поэтов. Поэзия его вышла за родные пределы, его стихи мне читали в Софии на болгарском, а в Праге — на чешском языках.

В его московские приезды я внимательно всматривался в черты старого товарища. Не изменили годы ни взгляда Платона, ни голоса, ни интонации. Все чаще приходится навсегда провожать старых друзей, тех, кто, по словам самого Воронько, шел когда-то «...в сугробы, в мерзлый пристрелянный бор». Из добровольцев «войны незнаменитой» чуть не подряд распрощались с нами Куприянов, Бауков, Луконин. Тем дороже остающиеся здесь, на земле. Пусть бы Платон подольше пожил! Очень этого хочу. Будет еще много хороших дней, появится много хороших стихов. И мой неповторимый запорожец осветит их неповторимой улыбкой. Не о том ли говорят его строки:

Новые вижу года я,—
Что нам седин белизна!

СЛОВО О ЩЕДРОМ МАСТЕРЕ

Все дальше и дальше отступают в дымку времени годы молодости. Вот еще листок календаря, перевернутый моей неуклюжей рукой. Двадцать второе июня... Но перед ним за полтора месяца стоит девятое мая — славная дата всех фронтовиков. В этот день по негласному уговору мои друзья прикрепляют на себя все регалии. Никто не кичится друг перед другом. Орден Красного Знамени соседствует с орденом Славы, орден Отечественной войны встает рядом с медалью «За отвагу». Бывший комполка, забыв чины и звания, целуется со своим бывшим сержантом, медсестра легендарного сорок первого года запросто разговаривает с генералом нашего мирного шестидесятого года. Что объединяет их за праздничным столом Победы? Неужели только чины и ордена? Да нет! Они равны друг с другом в знаках отличия — от солдата до маршала. Возраст? И это не имеет значения, если в наше время шаг засчитывался за километр, а минута — за месяц. Любовь к родине? Да, это самое главное! Какие, казалось бы, привычные слова... Но не слова, а их суть стала основой жизни всех этих людей.

Поредел круг моих товарищей. Вот и за этим столом — праздничным столом Победы — пустуют стулья. На гладко расстеленной скатерти нетронутыми стоят стаканы вина, непочатый искрится графин с коньяком, припасенный ради дорогого случая. Николай Майоров, Павел Коган,

Всеволод Багрицкий, Михаил Молочко, Николай Отрада, Георгий Суворов, Арон Копштейн, Георгий Стружко. В снегах Суоми, в Мясном бору, у Нарвской переправы, на взгорье под Новороссийском, в Брянских лесах сложили они свои последние песни, перед тем как сложить головы. Сложили они свои последние песни о самом своем дорогом и заветном, а сложили они свои головы за самое свое дорогое и заветное — имя ему Родина.

Но и среди тех, кто пережил войну, кого миновали вражеские пули, многих мы недосчитываемся. Нету за праздничным столом Семена Гудзенко, Михаила Спирова, Владимира Замятина, Анатолия Чивилихина. А все они были честными солдатами и не менее честными поэтами. Не хочется говорить сейчас о разности дарования и жизненных судеб. Не разность, а общность — вот главное.

И уж совсем рядом со мной стоит нетронутой наполненная чарка. Сейчас придет ее черноусый хозяин, поглядит на друзей прищуренными карими глазами и с умной усмешкой скажет... но неосторожный толчок — и опрокинулась чарка и расплылось красное пятно на белой скатерти. Алексей Недогонов!.. Как дико и нелепо оборвалась его жизнь! Так и не увидел он своей первой книги, которую встретило народное признание. С версткой в кармане пиджака возвращался он домой из издательства, когда случай толкнул его под колеса трамвая. А всего лишь через две недели после того, как проводили поэта в невозвратный путь, портрет его замелькал на миллионах газетных страниц — Государственной премией первой степени была отмечена его поэма.

С тех пор прошло много лет. Мой товарищ был старше меня на шесть лет, сейчас я оказываюсь старше его на сколько-то годов. Из двадцативосьмилетнего стал я сорокалетним, пятидесятилетним, а ему всегда будет тридцать четыре года. Грустная арифметика жизни и смерти...

Чем дальше, тем ценнее становятся для меня, да и не только для меня, воспоминания о моем товарище, рассказы о тех чертах его жизни и творчества, которые в свое время были неизвестны мне и были узнаны и подмечены другими. Немало статей в наших журналах и газетах было написано о нем, каждая из них дополняла другую, открывая все новые страницы его бурной биографии, останавливая внимание читателей на новых сторонах его поэзии, на которые до того не обращали должного вни-

мания. Но долго не появлялось такого произведения, которое бы обобщило все нам сейчас известное о жизни и стихах Недогонова. Я намеренно выбрал неопределенное слово «произведение», потому что, как представлялось мне, здесь должны были быть слиты воедино литературный анализ стихов с лирическими воспоминаниями, биографический очерк с очерком творчества. Короче говоря, очень недоставало литературного портрета А. Недогонова. Но вот уже стоит у меня на полке книга Виктора Тельпугова, посвященная нашему общему другу. Виктора Тельпугова связывала с Алексеем Недогоновым многолетняя дружба, восходившая еще к предвоенным годам совместной учебы в Литинституте. Наверно — нет, не наверно, а наверняка — именно это дало возможность автору книги с такой глубиной и с такой любовью рассказывать о жизненном пути поэта, о его творчестве.

Только человек, сам вступавший в жизнь в начале кипучих 30-х годов, мог живо восстановить в своей памяти и передать читателям ощущение того времени. «Это были нелегкие, достойные вечной славы годы первой пятилетки...— пишет Тельпугов.— «Социализм уже не мечта!», «Социализм побеждает!» — такими заголовками запестрели страницы газет...» В рядах безусых энтузиастов в конце 20-х — начале 30-х годов находим мы и будущего автора «Флага над сельсоветом». Но это, как говорится, лишь преамбула разговора. И она неизбежно повисает в воздухе, если не подкрепляется твердыми и ясными доказательствами, не только в ее подтверждение, но и в развитие. «Рабочие одного из московских заводов, с которыми в те годы трудился Недогонов, рассказывают, что он приходил по утрам бледный, изможденный, но всегда с новыми стихами, с острой шуткой и все на заводе ждали его появления. «Наш поэт»,— говорили о нем парни в замасленных комбинезонах. «Наш поэт»,— писала о нем стенгазета. И это было так. Все в нем подкупало и располагало к себе простого рабочего человека — и его умение держать тяжелый слесарный молоток, и его манера разговаривать, и его колючие, как донецкие угольки, глаза, и его стихи — молодые и чистые, как родник».

Это хорошо сказано. Воочию видишь безусого энтузиаста первой пятилетки, замечательного поэта, который бессонной ночью обгрызенным карандашом писал на обрывках свои юношеские стихи, а бессонным днем орудо-

вал прочным и более привычным молотком. Поэзия первой пятилетки — как прозаична, сурова и вместе с тем прекрасна ты была!

Я не прошел школы молотка и зубила, дальний север одарил меня в те годы ижевской одностволкой, собачьей упряжкой и медвежьей охотой. На первый взгляд, куда романтичней была моя колымская юность; в своей яркой праздничности неосознанного риска, она, казалось бы, куда была интересней, чем юность шахтерского паренька, в пятнадцать лет принесшего из шахты вместе с выброшенным на-гора антрацитом свою первую получку. Отдал он ее матери потому, что после смерти отца он стал добытчиком не только для шахты, но и для семьи. И кем только не был за десять лет после этого дня. Нет, юность моего друга была романтичнее моей. Работал он и плотником, и крепильщиком, ремонтником и врубмашинистом, монтером и слесарем. В дополнение и продолжение рассказа Тельпугова я вспоминаю, что однажды, когда Алеша Недогонов минут пять наблюдал за моими попытками вбить маленький гвоздик в расщелину двух бетонных балок для укрепления вешалки в квартире моей матери, досадливо усмехнулся и сказал: «Да этот гвоздишко и часа не продержится. Он же вывалится из стены от одной только робости перед нашими одеждами (кстати говоря, наши одежды в то время далеко отставали от наших надежд). Дай-ка вот этот, подлиннее». И одним ударом тяжелого молотка, почти не глядя, вогнал по самую шейку трехдюймовый гвоздь, прибив к стене на долгие годы злосчастную вешалку. «Видимо,— подумал я,— тридцатый год сейчас помог сорок шестому». Деталь, казалось бы, незначительная, но она характеризует облик бывшего «слесаря и монтера». В хорошие ширококостные рабочие руки попало слово, и поэт пригвоздил его одним ударом к долговечной стене памяти. Не слишком ли я сближаю две разные биографические линии? Нет! Нить — туго натянутая нить, как бы туго она ни была натянута,— никогда не прервется. Ни в моей памяти, ни в памяти друзей. Сближение биографий не зависело ни от меня, ни от моего товарища. Мы сближались, чтобы расходиться, расходились, чтобы сближаться! Разумеется, не споры — их не было никогда,— а лишь суровые и беспощадные ветры бурь и непогод разносили нас в разные концы своей страны и своих биографий. Возвращаясь к началу, скажу, что

вступление в жизнь «шахтера и слесаря» было значительнее одновременного вступления в жизнь «каюра и медвежатника». Правда, Недогонов держался другого мнения. «Тебе-то повезло, а вот мне повезет ли?» Он говорил, конечно, о том, что ему его молодость давалась гораздо труднее, чем мне. Гордясь смелыми днями своей юности, я, когда вспоминаю Недогонова, думаю, что первая лопата антрацита, которую он выбросил на-гора, перевесила на весах биографий первую звериную шкуру.

Вот сколько размышлений вызвали самые первые страницы небольшой книги. Я уже не в силах оценить полностью четкую последовательность автора, вникнуть в скрупулезный и умный анализ творчества нашего товарища. Сейчас одно владеет мной: как дальше сомкнет наши биографии автор книги? «Поздней осенью 1939 года студент Недогонов одним из первых ушел на фронт, добровольцем». Об этом периоде жизни поэта в его биографии сказаны две скупые фразы: «В финскую служил рядовым бойцом. В дни штурма Выборга был тяжело ранен».

Черною зловещей тишиною,
Линией незримого огня,
Проволокой, пулей разрывною
Ты, Суоми, встретила меня.

Копштейн, Молочко, Отрада, Стружко и те, которых я поименно назвал за несуществующим праздничным столом, подписались бы под этими строками. Подписались бы под ними и Михаил Луконин, и Иван Бауков, и Иван Куприянов, и Виктор Панков, и еще с полдюжины людей, последних ветеранов добровольческих батальонов войны с белофинами.

Алексей Недогонов воевал со своим батальоном на много сот километров южнее, чем наш 34-й легколыжный батальон. Общая судьба вела нас тогда. Михаил Луконин писал по свежим следам кровоточащее стихотворение о Николае Отраде. Я, потеряв счет своим лучшим друзьям и глядя на свои черные с «отливом в синь» гангренозные ноги, выговаривал свои первые настоящие строки:

И о нас зачинались сказанья и были,
Хоть висла в землянках смердящая вонь,
Пока с санитарами песни мы выли
И водкой глушили антонов огонь.

Все это было примерно однозначно. Но первым из всех нас возвел тогда частное до общего Алексей Недогонов. И спасибо Виктору Тельпугову, что он напомнил всем нам полузабытые строки:

Сколько передумано
И с болью
Сколько перечувствовано раз —
Сколько пало нас под Сердоболью,
На Карельском сколько пало нас.

Сказав о живописности стихов Недогонова, о его необыкновенно остром зрении художника, В. Тельпугов говорит об умении поэта всякий раз так «поворачивать стих, что он становится произведением на самую важную тему». В доказательство он приводит великолепные стихи А. Недогонова о воробье. Здесь нет описки. Именно «комок живого тельца» крохотной пичужки, замерзавшей на холоде и отогретой в руках солдата, вдохновил поэта на создание этого маленького шедевра. Поэзия — это человечность. Если бы я никогда не знал Алексея Недогонова как поэта, по одним только этим стихам я бы влюбился в него как в человека. И правильно говорит Тельпугов: «Это целая повесть, со страниц которой встает все то, что называется коротким словом «Война»:

В моих руках барахтался комок
Живого тельца,
Он продрог, промок,—
Его всю ночь морозом донимало.
Он вырваться пытался, но не мог,
Хотел ударить клювом —
Силы мало.

Я в домик внес его и положил
На стол. И твердо счел его спасенным.
Из пехотинцев каждый дорожил
Его дыханьем, крошечным и учащенным.

Они, под крылья ватки подложив,
Заботливо платочком накрывали.
И вслух решили:
— Выживет едва ли...—
Но воробей настойчив был:
— Жив, жив...

Придет стрелок с разведки —
Мы навстречу
С вопросами:

— Ну, как (и в шутку), жив? —
А воробей опережает:
— Жив...—
Он понимает шутку человечью.

Так время шло.
Покой сердца знобил.
— Пожалуй, этак зиму прозимуем...—
Но днем пришел приказ.
Он краток был:
«Сегодня ночью высоту штурмуем».

Закат сквозь окна
Красный свет сочил,
А он,
Довольный новою судьбою,
О грань штыка
Спокойно клюв точил,
Как будто приготавливался к бою.

Процитировав и разобрав эти строки, Виктор Тельпугов показывает, как развивается и утверждается гуманный талант поэта. Подчеркиваю слово «гуманный», ибо человечность непременное и определяющее условие в формировании художника. Ведь «гений и злодейство — две вещи несовместные»,— говорит в великом простодушии пушкинский Моцарт своему отравителю. Всыпая в бокал «гуляке праздному» смертельный яд, Сальери — тоже незаурядный композитор, который «алгеброй гармонию поверил»,— подписывает тем самым смертный приговор своему творчеству. И, как умный человек, он сам это чувствует. Пушкин вкладывает ему в уста мучительное раздумье, последнюю попытку самооправдания — «А Бонаротти? или это сказка тупой, бессмысленной толпы — и не был убийцею создатель Ватикана?» Нет! Не мог быть убийцей Микеланджело, само имя которого свидетельствует об ангельской чистоте его души,— утверждает своим великим философским произведением наш национальный и интернациональный поэт. Нет! Не может истинный талант быть античеловечным, это всегда граничит с духовным самоубийством.

Не ломлюсь ли я в открытые двери? Не сказано ли до меня все это более сильно и весомо? Не слишком ли высоки примеры и сравнения? Разумеется, никто — в том числе Тельпугов и я, да и сам Недогонов не решились бы даже мысленно сравнивать автора «Флага над сельсоветом» с автором «Моцарта и Сальери». Разумеется, силь-

нее и весомее моих слов и слов Тельпугова звучали мудрые слова наших великих критиков о правде и человечности. Разумеется! Но, повторяю, большая заслуга критика и неоценимая его услуга читателю в том, что он привел нас к этим открытым дверям, ввел нас в них, показал, как устроен обширный и щедрый дом человечества и человечности, в котором, к сожалению, временным гостем и, к счастью, постоянным хозяином был, а затем стал Алексей Недогонов.

Да, мало ты погостил на великом пиру жизни, мой товарищ! Но хозяйствует он за этим столом долго-долго после своего ухода. А хозяин он добрый и радушный, но и требовательный и суровый, когда это понадобится.

Истинная гуманность отнюдь не исключает, а — более того — предполагает непримиримость ко всему тому, что мешает человеку стать человеком. Этот высший ленинский принцип настойчиво проводится в жизнь нашим Советским государством. И не случайно на двух центральных площадях Москвы высятся памятники Дзержинскому и Горькому,— эти рыцари революции, следуя за Ильичем, умели ценить добро в людях и одновременно оберегать его от зла.

Доброта нашего советского социалистического общества — не пассивная, но активная доброта. В этом наше неоспоримое превосходство перед миром капиталистического засилья. И мы это не только знаем и ощущаем, но и должны говорить об этом во всеуслышание. Алексей Недогонов посвятил этому одно из лучших своих стихотворений, которое так и называется: «Превосходство». Вот отрывок из него:

Мы книги читали о счастье —
они их сжигали в огне;
мы ставили звезды на елке —
они — на еврейской спине.

Мы ландыши рвали руками —
они их срезали ножом;
стрижей мы ловили силками —
они их сбивали ружьем.

Мы землю водой орошали —
они ее брали в штыки;
мы бронзой дворцы украшали —
они из нее воскрешали
для страшных орудий замки.

Но в праведный час испытаний
мы встали с оружием в строй;
мы девушку Зою назвали
своею народной сестрой.

Мы клятвою благословили
Матросова в правом бою,
мы дали Олегу упорство
и сильную дружбу свою.

И как бы нам ни было туго,
мы верили в дружбы накал:
никто из друзей в эти годы
ни пулей, ни сердцем не лгал.

Мы силу сломили такую,
что вправе гордиться собой:
и юностью нашей железной,
и нашей бессмертной судьбой.

И тем, что девятого мая
в Шенбрунне — в четыре руки —
баварец с лицом пивовара
надраивал нам башмаки.

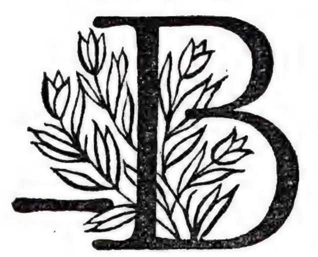
Когда я читаю последние строки, я невольно вспоминаю мясистую рожу Олленхауэра — недавно разоблаченного гитлеровского преступника, министра боннского правительства. Эту мясистую рожу убийцы я встретил впервые на страницах газет и на экране телевизора, но сколько я насмотрелся на них в годы Отечественной войны! Я сам был в составе оккупационных войск «на земле поверженных» и видел, как эти маленькие и большие олленхауэры, не поднимая голов, «драили нам башмаки». Сейчас они снова поднимают головы. Неужели они забыли свои сапожнические щетки пятнадцатилетней давности? Как сильно и заново звучат — гремяще и саркастически — эти строки Недогонова в наши дни.

Сила критического дарования В. Тельпугова не в блестящих отрывочных заключениях о природе таланта поэта, но в мягкой и твердой последовательности разбора его творчества, его эволюции. Он внимательно идет шаг за шагом, стих за стихом большого поэта, радуется его жизненным и поэтическим удачам, огорчается его промахами. Но во всех случаях критик не остается сторонним наблюдателем, который либо аплодирует чужим успехам, либо хохочет над чужими неудачами, либо, подняв воротник, равнодушно проходит мимо неинтересного ему —

плохого или хорошего человека. К сожалению, такие жизненные не «точки», а «кочки» зрения,— как выражался А. М. Горький,— еще бытуют в нашей писательской среде. Виктор Тельпугов прям и откровенен как коммунист. Только человек, близко знавший Недогонова и безгранично любивший его, мог так верно и умно сказать о начальных стихах молодого поэта, о его юношеской учебе у классиков нашей литературы. Послушайте, как умело ведет нить своего рассказа автор: «Алексей Недогонов часто говорил, что он видит поэзию даже во сне — то в образе девушки, у которой многие просят руки, но не получают в ответ и небрежного взгляда; то в виде птицы, у которой каждое перо может стать крылом». Какое хорошее высказывание и как оно хорошо замечено критиком! Алексей Недогонов был влюблен в стихи своих старших и младших собратьев по перу. Вот что я сам вспоминаю: «От Гомера до Данте, от Петрарки до Державина, от... (он улыбнулся) — ты ведь любишь ленинградцев — от Дудина до Хаустова...— Помолчал.— На Пушкине и Лермонтове мы тоже, кажется, сойдемся?» До сих пор вспоминаю его милую и добрую усмешку во время этого пятиминутного разговора, который вызвали в моей памяти строки Виктора Тельпугова. «Известно... когда его вдохновляли стихи других поэтов, но, отправляясь в плавание от «чужого» поэтического берега, ему всегда удавалось вести корабль по своему курсу». Так брал на время молодой мичман поэзии, учась вождению кораблей, прихотливое колесо мореходства у опытных капитанов — Тихонова, Багрицкого, Светлова, Твардовского. Полученное от них возвратил с благодарностью читателям, по достоинству оценившим и вклад учителя, и труд ученика. А вскоре он сам стал за штурвал поэзии ее опытным рулевым.



ПОЭТ И РУСАЛКА



В одном из горных озер на Тянь-Шане наблюдали странное явление. Лунными ночами в темной влаге блестело нагое женское тело. Удивительная купальщица ныряла в ленивых волнах. Однажды с берега попробовали окликнуть ее, в ответ раздался журчащий смех. Рыбаки снарядили лодку и погнались за ней. Женщина стала стремительно уплывать к середине озера. Наконец рыбаки догнали ее. Она обернула к ним лицо нечеловеческой красоты. Впрочем, это чудо и не принадлежало к человеческому роду. Рыбаки застыли с веслами в руках. Женщина нырнула, и, к ужасу людей, волны разбил большой рыбий хвост. «Русалка!» — крикнул один из рыбаков. Это было последним его воплем. Сильная женская рука высунулась из воды и потащила его в озеро. Могучий парень, он стал упираться. Над волнами опять показалось лицо, красивое и страшное. Зеленые волосы переливались в лунном свете. Русалка произнесла несколько слов на незнакомом языке. Рыбаки — таково было нервное потрясение — точно запомнили их, не понимая смысла. Как я установил, это оказался древнегреческий язык, а слова означали: «Наконец я нашла себе жениха». Русалка рванула парня из лодки и навсегда погрузилась с ним в озеро. Все это произошло в ночь на 3 августа 1938 года. Этим рыбаком...

— Были вы! — крикнул с места Луконин.

— Мишка, выгоню! — загремел оглушительный бас Луговского.— Может быть, ты не веришь в русалок?

— Верю, дядя Володя.

— Тогда оставайся на месте. Кто здесь сомневается в их существовании? Может быть, вот этот молодой человек? — мохнатые брови повернулись в мою сторону.— Он, кажется, пришел с семинара Сельвинского. Там не верят в русалок?

— Верят, Владимир Александрович, все верят,— подтвердил я.

— То-то. Как фамилия? Запомните, Сергей Наровчатов заверил нас, что братский семинар целиком и полностью верит в этих нагих, прекрасных, удивительных бестий. Конечно, бестии,— сокрушенно размышлял вслух дядя Володя.— Так, за здорово живешь, схватить бедного парня и утащить его на дно, даже не спросив, хочет он этого или не хочет. Но тут ничего не поделаешь — русалка...— После паузы он продолжал: — Гомер называл их наядами. Андерсен ундинами, Лермонтов посвящал им стихи. Что же, все они были лгунами? Наровчатов, прочитай наизусть лермонтовскую «Русалку». Это твое боевое крещение на нашем семинаре.

Я поднялся с места:

Русалка плыла по реке голубой,
Озаряема полной луной,
И старалась она доплеснуть до луны
Серебристую пену волны.

И шумя, и катясь, колебала река
Отраженные в ней облака.

— Довольно. Хватит. И после таких стихов кто-нибудь осмелится отрицать русалок? Были и другие, родственные им, существа. Знаете ли вы, что Бенвенуто Челлини, знаменитый ваятель и ювелир, удостоверяет в своих записках наличие саламандр. Он собственными глазами видел, как эта маленькая тварь извивалась в огне. Я не вижу оснований не доверять старому мастеру. Он писал это в те годы, когда лгать неприлично.

Услышалось значительное молчание. Я не оговорился. Молчание действительно услышалось. Все, что делал Луговской, выглядело весомым. И говорил он весомо, и молчал весомо. В эту минуту он, видимо, перевоплотился в

создателя «Персея», современника Рафаэля и Браманте. И сразу постарел на пятнадцать лет, ведь Челлини писал свои мемуары, когда ему было под шестьдесят.

Так началось мое знакомство с Владимиром Александровичем Луговским, продолжавшееся вплоть до его смерти. На его семинаре я был гостем, в Литинституте тех лет можно было свободно переходить из одной аудитории в другую, слушая разных преподавателей. Основная прописка, конечно, не менялась. Мы оставались в семинаре Сельвинского, но бывали в гостях у Асеева, Кирсанова, Луговского.

«Дядю Володю» мы знали как одного из лучших советских поэтов. «Песню о ветре», «Басмача», «Балладу о пустыне» мы помнили наизусть. В непременную азбуку поэзии, твердимую днем и ночью, входили строки:

Итак, начинается песня о ветре,
О ветре, обутом в солдатские гетры,
О гетрах, идущих дорогой войны,
О войнах, которым стихи не нужны.

В таких строках есть, конечно, какая-то колдовская сила. Я вот, переписывая их в который раз, опять вздрогнул. В этих повторах слышится отзвук давних-предавних времен, когда у ночного костра, отмечая такт ударами в бубен, древний певец слагал песню в честь победителей. Проза редко достигает такого быстрого и резкого результата, как поэзия. В стихах, песне, речитативе заложена добавочная мера ритмического воздействия.

Луговской мастерски владел ритмом. В этой стихии он плавал всеми стилями — саженками, кролем, брассом, а когда хотел, переворачивался и отдыхал на спине. Сравнения мои вольные, но профессионалы меня поймут, ритмы легко уподобляются речным и морским течениям.

Михаил Луконин с той поры до самой своей смерти не уставал восхищаться ритмическими перепадами «Песни о ветре». Сколько раз он повторял мне строки:

А пока поручики пиво пьют,
А пока солдаты по-своему поют:

«Россия ты, Россия, российская страна!
Соха тебя пахала, боронила борона.
Эх, раз (и), два (и) — горе не беда,
Направо околесица, налево лабуда.

Дорога ты, дорога, сибирский путь.
А хочется, ребята, душе вздохнуть.
Ах, сукин сын, машина, сибирский паровоз,
Куда же, куда же ты солдат завез?
Ах, мама, моя мама, крестьянская дочь,
Меня ты породила в несчастную ночь.

Помню дороги окружения. Идем с Михаилом Лукониным лесной просекой по Брянщине. Временная безопасность. Немцы на первых порах не решались соваться в брянские чащи. Да и после, кажется, не лезли. Движемся на Восток. Пишу слово с большой буквы. Оно носило тогда не только географический характер. Помогаем нелегкой своей ходьбе — приходилось порой вышагивать по 50 километров за день — речитативными строками.

Идет эта песня, ногам помогая,
Качая штыки, по следам Улагая
То чешской, то польской, то русскою речью —
За Волгу, за Дон, за Урал, в Семиречье.

По-чешски чешет, по-польски плачет,
Казачьим свистом по степи скачет
И строем бьет из московских дверей
От самой тайги до британских морей.

Читались строки раздельно, в такт шагу. «И-дет э-та пес-ня, но-гам по-мо-гая, Ка-чая шты-ки по сле-дам Ула-гая». Здорово получалось. Так Луговской прошел с нами долгие версты по вражеским тылам. Сразу после войны мы с Михаилом рассказали об этом дяде Володе. Он растрогался, сдали нервы, слезы на глазах.

Довоенный Луговской поражал своей военной выправкой. Гвардейский рост, в строю стоять всегда правофланговым. Грудь — крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль — как на древнеримской медали, эдакий Троян или Тит. Взгляд — как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови... Всем бровям брови. Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу.

Женщины всех рас, наций и племен, всех возрастов и характеров возносили доброхотные жертвы на алтарь этого ходячего божества. Молодые разбойники, мы иногда натыкались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах. «И ты тоже...» — «Что ты, что ты, он относился ко мне совсем по-отечески».

Хорош был Владимир Александрович в ту предвоенную пору. Да и после похода в Западную Украину можно было на него залюбоваться. Как влитые сидели на нем шинель, гимнастерка, бриджи. Фуражка с лакированным козырьком посредине лба. В сапоги глядись, как в зеркало. В петличках по три шпалы — интендант 1-го ранга, но — конечно — именовал он себя полковником. Весь в ремнях. Удивительно внушительный вид. В старину ему только бы в кавалергардах служить.

Поход прошел для него спокойно, вряд ли он даже выстрелы слышал, вернулся с уймой трофейного оружия. Прямо целый арсенал: сабли, шашки, кинжалы, даже какой-то дуэльный пистолет. Потом он все это раздаривал, человек был щедрый. Мы по-мальчишески ахали, глядя на всю эту мушкетерщину, когда он приглашал нас в свои покои.

Продолжал писать отличные стихи. За год до большой войны, когда мы с Лукониным возвратились с финской кампании, он прочел на своем семинаре только что написанную «Курсантскую венгерку». Не стихи, а блеск сплошной:

Сегодня не будет поверки,
Горнист не играет поход.
Курсанты танцуют венгерку,
Идет девятнадцатый год.

Все в них было, в этих стихах,— и беломраморный зал, и царские люстры, звенящие холодным хрусталем, и ребята в скрипучих ремнях, и печальные трубы. И — романтика, романтика, романтика.

Странно, но мы тогда остались к ней холодны. Впрочем, почему странно? Мы только что вернулись из морозного пекла короткой, но злой войны и курсантского упоения разделить не могли. Мы поняли, что война штука серьезная. Прошло много времени, прежде чем мы заново ощутили неизбывную прелесть строк Луговского:

Летают и кружатся пары —
Ребята в скрипучих ремнях.
И девушки в кофточках старых,
В чиненых тупых башмаках.

...Заветная ляжет дорога
На юг и на север — вперед,
Тревога, тревога, тревога!
Россия курсантов зовет.

Навек улыбаются губы
Навстречу любви и зиме.
Поют беспечальные трубы,
Литавры гудят в полутьме.

Светлая и печальная, как весь этот прощальный курсантский бал, концовка.

На хорах — декабрьское небо,
Портретный и рамочный хлам;
Четверку колючего хлеба
Поделим с тобой пополам.

И шелест потертого банта
Навеки уносится прочь.
Курсанты, курсанты, курсанты,
Встречайте прощальную ночь,

Пока не качнулась манерка,
Пока не сыграли поход,
Гремит курсовая венгерка...
Идет
девятнадцатый год.

Блистательные стихи!

Владимира Александровича я встретил вскоре после своей демобилизации в 1946 году. Он давно уже возвратился из Средней Азии в Москву, выглядел не столько подавленным, сколько растерянным. Видимо, не мог найти себе места в послевоенной кутерьме. Напряженно прислушивался к нашим фронтовым стихам. Будто пытался уловить родственные мотивы. Но прежние его ученики писали по-другому. Это было естественно: война оказалась совсем иной, чем в его стихах, а мы свою поэзию строили на военных впечатлениях. В бескрайней своей доброте дядя Володя гордился и любовался нами, показательно, что критические оценки совсем исчезли у него из обращения. Не потому что мы стали поэтически непогрешимыми. Просто он считал непогрешимой биографию всего военного поколения и приноравливал к этому остальные свои оценки. Мы встречались в первое послевоенное десятилетие достаточно часто, встречи были добрыми, но в глубине души нас озабочивала тревога: не исчерпался поэт, не оскудела ли его кладовая?

Нет, Владимир Луговской, поэт божьей милостью, еще не сказал последнего слова. Оно было сказано им в последние годы жизни. «Солнцеворот», «Синяя весна», «Се-

редина века» — сборник, книга, поэма. Три неколебимых вершины его творчества. Все лучшее, что было заложено и сохранено в широкой его душе, поэт явил миру в этих исповедальных стихах. Поэму он назвал «Серединой века», но перед читателем проходит все наше столетие, оборванное для поэта в 1957 году. Войны и революции шумят над землею.

Да, весь я твой, живое время, весь
До глуби сердца, до предсмертной мысли.
И я горжусь, что вместе шел с тобой,
С тобой, в котором движущие силы —
Октябрь, Народ и Ленин, весь я в них.
Они внутри меня. Мы неразрывны,—

пишет Луговской во вступлении к поэме. Мне привелось слышать в его чтении несколько глав «Середины века», особенно запомнилось «Лондон до утра». Когда я после побывал в британской столице, я все время сличал свои впечатления со строками Луговского. На отдалении меня поражала точность наблюдений и оценок поэта. Врезались в память строки о смерти Киплинга, он связал ее с началом второй мировой войны.

А Киплинг мертв!
                    И мертв не потому,
Что на четырнадцати окнах пали
Чешуйчатые траурные шторы,
Не потому, что строгая вдова
Собравшимся о смерти объявила.
Замолкнул навсегда жестокий голос,
Воспевший бремя власти, легкость гнета,
Сказавший миру, что Восток и Запад
Недвижны будут до конца веков.
Но Запад полон грозовой тревогой.
Близка, близка всемирная война,
И вихрь зари поднялся над Востоком,
Свои оковы Индия срывает,
Багровым светом пышут Гималаи,
Малайский тигр готовится к прыжку.

Одно из лучших качеств поэзии Луговского — масштабность в полном объеме проявилась в «Середине века». Масштабности в восприятии и обрисовке событий мы всегда у него учились, и здесь, напоследок, он снова развернул ее в щедром великолепии.

Порой Владимир Александрович звонил мне по утрам. Низкий голос: «Приходи, потолкуем». Садился в автобус,

ехал на Лаврушинский. Дядя Володя встречал новыми строками, сообщал находки в старых книгах. «Послушай, какая рифма в давней песне: приветница — привернется. А знаешь ты, что знаменитое песенное начало «Во лузях» совсем не имеет в виду луга. «Лузь» — это прогалина в лесу. А слышал ты о прилагательном «часовой»? Временный, недолгий, а еще почетный, уважаемый. Вообще-то странно: значения противоположные. Впрочем, в уважаемости есть, конечно, оттенок временности. Сегодня тебя уважают, завтра нет»,— и хмуро улыбнулся.

Огорошивал неожиданными сообщениями. Тогда боролись за независимость французские колонии. «Любопытно,— замечал Луговской,— что император Петр планировал и подготовил в 1723 году экспедицию на Мадагаскар. Написал письмо мадагаскарскому королю. Такового не оказалось. Переменил адрес, старейшинам, кажется. Мадагаскар мыслился как удобная стоянка по пути на Восток. Экспедиция не состоялась. Корабли дали течь и оказались непригодными к дальнему плаванию. Петр огорчился».

Романтика странствий и походов продолжала бурлить в сердце дяди Володи.

Но пришел день, когда русалка, странным миражем просквозившая на литинститутском семинаре, предъявила свои права на старого романтика теперь уже всерьез и навсегда. Холодная рука властно и неумолимо увлекла его в небытие.



ПЕЛЫНЬ СУДЕБ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ

В Крыму стоял сухой и светлый июнь, серо-голубое море только набирало синеву, а ранние рассветы были холодны и прозрачны. Холмы вокруг поселка поросли полынью; нагретая за день солнцем, она пахла сильно и резко. Я написал о ней стихи, где называл ее «горчайшей и сладчайшею», но эти определения было бы вернее отнести к моему тогдашнему жизнеощущению. Перешагнув один порог, я стоял перед другим в коротком, но тревожном раздумье. Порогом этим была для меня финская война: я перестал быть мальчиком, но не стал еще мужчиной. И все же далекий до того мир взрослых становился уже моим собственным миром. Считанные недели, проведенные на войне и вылежанные в госпитале, показались мне если не годами, то месяцами. Дело было не в сроках, пережитое оказалось больше передуманного: пятидесятиградусные морозы, закоченевшие трупы вдоль лыжни, гибель лучших — самых лучших! — из нас, мокнущая гангрена, крики раненых — все это еще не улеглось и не перебродило во мне. И ведь такая катавасия свалилась на меня без всякого перехода... Вчера еще голубой дым студенческой вечеринки, строки «Синих гусар», тосты за романтику неизведанных дорог, а завтра — руки, примерзшие к «СВТ», хриплый голос отделенного: «Берегите патроны, нам еще пробиваться...», возвращение среди бесконечных сосен и елей по

окаянным сугробам из рейда по тылам противника. Романтика, так ее перетак! Нет, с этим «взрослым миром» шутки плохи, стихами и тостами ему зубы не заговоришь...

Но ведь это только начало! Мы сами, записываясь добровольцами в лыжный батальон, смотрели на предстоящую кампанию как на разведку боем — большая война еще впереди. И она уже громыхает там, на Западе, докатится, наверно, и до нас, вопрос только в сроках... Тогда снова за винтовку, правда, кое-какой опыт уже есть, сразу не пропаду.

Такими были мысли первого, самого первого, но и самого живого ряда, а за ними вставали другие — большие и неповоротливые,— в виду которых все пережитое и твои друзья — да святится их память! — и ты сам, и вся финская кампания казались неприметными и незначительными. Нельзя сказать, чтобы я их страшился: в двадцать лет куда легче, чем в пятьдесят, справляться с вечными категориями, но с ними было трудно и неприютно. Зато они давали ощущение такого простора, что дух захватывало: на многие тысячи верст, во все стороны простиралась вокруг меня планета Земля, на многие тысячи лет назад и вперед от меня простиралось ее обозримое прошлое и необозримое будущее. Очень был я молод, и чудилось мне, что и Земля еще совсем молода, до удивительности и до фантастичности молода. Все тысячелетия, прожитые людьми до тех пор, слышались мною как короткая присказка к тому главному, что мне предстояло услышать.

А полынь на холмах пахла горько и сладко. Ветхий киевский профессор, старый весельчак, набредший на меня во время одной из своих ботанических прогулок, назвал ее неожиданным именем — артемизия. Слово угасшего языка вызвало в памяти жестокосердную, бледноликую богиню — тысячи лет назад, пустяки! — в жертву которой, на этих вот берегах, угрюмые тавры приносили потерпевших кораблекрушение путников. Но старик обращался с временами еще решительнее, чем я, совсем уж запросто: из гомеровских он перенес меня в допетровские, повторив тоже на угасшем языке старое изречение: «и преже суда чаемого излиася на нас пелынь судеб человеческих». И вскоре черный репродуктор, прибитый к телеграфному столбу возле поселковой почты, хрипло каш-

ляя, прокомментировал это речение на современном материале: «Немецкие войска вошли в Париж».

В детстве, как почти все ребята с нашего двора, я собирал почтовые марки. Среди «заграманичных» (так произносили мы производное от «заграницы», подчеркивая его заданную экзотичность) часто встречались французские. По бесконечным сериям — синих, красных, желтых, лиловых, всех цветов и оттенков — дешевых марок стремительно проходила тоненькая женщина в развевающемся платье. «Марианна» — услышал я от взрослых ее имя и от них же узнал, что именно так называют французы свою Францию. Мне тогда очень понравилась такая родственная непринужденность, а французы в далеком далеке увиделись веселыми и добрыми людьми.

«Плохо теперь придется Марианне»,— послышался за плечами женский голос. Обернувшись, я оказался лицом к лицу с произнесшей эти простые и печальные слова. У незнакомки были светло-льняные волосы, показавшиеся мне выгоревшими, но лицо ее еще не тронул южный загар, и, значит, она привезла их такими с севера. И уж конечно, с севера привезла она свои глаза, тоже лен, но не желтый, а голубой. Впрочем, это было впечатлением лишь от цвета глаз, а так они были прозрачны до самого дна. Взгляд их был прям, обнажен и бесстрашен до отчаянья.

Такая же обнаженность, такое же бесстрашие ощущалось в ее речах. А познакомившись, мы говорили с ней много и о многом. Она перед тем тоже перешагнула свой порог, и он был, пожалуй, потруднее моего. В мирном и тихом поселке она напоминала — белые волосы и голубое платье — отсвет какого-то бело-голубого, чуждого этой мирной тишине, пламени. И впрямь, жадное, раскаленное пламя жгло, не сжигая, ее душу. Она, как мне казалось, и страшилась этого пламени, и сама где-то радовалась ему. Открытость в ней все время сменялась отчужденностью. Зная, что она носит в себе, она еще не знала, что ей поделать с этими ненасытными пламенами.

Знаю, чем меня пленила
Жизнь моя, красавица,
Одарила страшной силой,
Что самой не справиться.

Два разных, но в своей жестокой порубежности общих порога, которые мы перешли, вытолкнули нас с противо-

положных сторон на общую площадку. И, встретившись на ней, мы полуинстинктивно угадали друг в друге соучастников уже начавшейся трагедии. Нам определено было пережить ее порог, и в эти июньские дни 1940 года мы, споря и мирясь, отчуждаясь и сходясь, пытались приоткрыть хоть край завесы над ее будущими действиями.

Ольга Берггольц — так звали мою знакомую — читала мне свои стихи. Редкие из них нравились мне. Мы тогда — в МИФЛИ и Литинституте — все были в поисках и розысках. Поиски новых средств мысле- и чувствоизъявления в поэзии соединялись у нас с розысками уже найденного и забытого «стихотворного вооружения». И хоть на первом плане у нас стояло что сказать, но и вопрос о том, как сказать, был нам весьма важен. Значение этого «как» нами, конечно, чрезвычайно преувеличивалось — слабая рифма и стертый образ в одной строфе обесценивали порой в наших глазах все стихотворение. И в ранних стихах Ольги, таких, к примеру, как —

Но я живу и буду жить, работать,
Еще упрямей буду я и злей,
Чтобы скорей свести с природой счеты
За боль, и смерть, и горе на земле,—

мое внимание останавливали не драматичность предшествовавших концовке строк, а скороговорка «жить», «работать», бедная рифма, зиянье «у-я-и» в конце второй строки и все тому подобное.

Юношеский мой пуризм выглядит сейчас узким и жестоким. Тогда же, со стороны, он должен был бы казаться и смешноватым. Я ведь начисто игнорировал то простое обстоятельство, что моим оппонентом была женщина.

Притом — молодая и прелестная. С азартом неофита я обрушивал на ее пушистую голову погремушку всяческих «измов», по косточкам разбирая и разбивая неудачные строки. Ольга была и взрослее и сердечнее меня — во всяком случае, она не платила мне той же монетой, хотя мои собственные стихи явно напрашивались на ответный залп.

Что я теперь могу сказать о ее ранних стихах? Стихи 1931—1936 годов представляют прежде всего биографи-

ческий интерес — с чего началась будущая Ольга Берггольц. Это стихи комсомолки 30-х годов, энтузиастки первых пятилеток, решительной и прямолинейной.

Прекрасна жизнь,
и мир ничуть не страшен,
И, если надо только,— вновь и вновь
Мы отдадим всю молодость —
за нашу
Республику, работу и любовь.

Это «прекрасна жизнь, и мир ничуть не страшен» — сказано с той бесхитростной уверенностью, с какой говорится лишь в двадцать три года. В том же ключе написаны некоторые другие стихи тех лет, где даже предчувствие будущей войны окрашено в радужные тона:

И снова станет сердце чистым,
Разлука страшная легка...
И разгласит труба горниста
Победу твоего полка.

Поэтический путь Ольги Берггольц своеобразен. Она не принадлежит к поэтам, первые стихи которых сразу создают им славу, а последующие либо умножают, либо уменьшают ее. Ее ранние строки не выделялись независимо и резко на фоне молодой поэзии 30-х годов. Час ее как поэтессы еще не пришел. Музой ее, конечно, была не Эвтерпа с флейтой, а Мельпомена с мечом, но она до поры не спешила приблизить к ней свою трагическую маску. Впрочем, тогда она уже бросила на молодую женщину свой первый горький взгляд. И лучшими стихами, из самых ранних, стали стихи, посвященные смерти дочки.

Но, говоря о ранних стихах Ольги Берггольц, надо иметь в виду следующее. Поколение первой пятилетки, к которому она принадлежала, входило в жизнь на огромном духовном подъеме. Вся страна оделась в леса новостроек. Рабочая спецовка стала для молодежи такой же притягательной, как когда-то комиссарская кожанка. Снова гремело над Советской республикой бессмертное «Даешь!». Но оно было уже обращено не к Перекопам и Волочаевкам, а к Днепростроям и Турксибам. Живо ощущалась преемственность поколений борцов за дело революции. И сам Великий Октябрь был еще

просто-таки физически близок молодому матросу, штурмовавшему Зимний, которому в годы первой пятилетки не перевалило за тридцать пять. За рубежом тучи еще не сгустились до конца — пожар рейхстага был впереди. Ленинский интернационализм, международная солидарность пролетариата воспринимались молодежью не только как идеи, но и как эмоции. «Рот фронт» и «Бандера Росса» на молодежных собраниях и вечеринках звучали вперемежку с «Сотней юных бойцов» и «Молодой гвардией».

Все это надо помнить, чтобы уяснить дальнейшее. Как Михаил Светлов корнями своего творчества уходил в героику и романтику гражданской войны, так Ольга Берггольц в своей поэзии нерасторжима с идеями, мыслями, чувствами, вынесенными ею из молодежного общежития 30-х годов. Идеи обогащались и развивались, мысли трансформировались и углублялись, чувства обострялись и разветвлялись, но предоснова их осталась незыблемой. Старомодно выглядящая фраза «верность идеалам молодости» как никому более из современных поэтов применима к Ольге Берггольц. И ее ранние стихи интересны для нас именно этой, если можно так выразиться, перспективной биографичностью.

Предвоенные стихи О. Берггольц относятся к 1937—1941 годам. В эти годы судьба ей послала жестокое испытание, не сломив и не исковеркав ее душу, но прокалив до глубокой глубины. Человек, словно созданный для трагедии, она обретала силы там, где другие их теряли. В стихах того времени О. Берггольц впервые усвоила то обращение к людям, народу, Родине, которое предполагает полную взаимооткровенность и взаимоответственность. А это, в свою очередь, подразумевает то равенство сторон, где личность и общество являются соразмерными величинами.

Ты в пустыню меня послала,—
Никаких путей впереди.
Ты оставила и сказала:
— Проверяю тебя. Иди.

Что ж — я шла... Я шла, как умела.
Было страшно и горько,— прости!
Оборвалась и обгорела,
Истомилась к концу пути.

Я не знала, зачем ты это
Испытание мне дала.
Я не спрашивала ответа:
Задыхалась, мужала, шла.

Вот стою пред тобою снова,—
Прямо в сердце мое гляди.
Повтори дорогое слово:
— Доверяю тебе. Иди.

На первый взгляд может показаться, что случившееся с ней Ольга Берггольц воспринимает лишь как свою личную беду, свое личное несчастье. До поры я сам склонен был так думать. Но, думая так, я упускал из виду вот эту соразмерность величия. Поэтесса впервые выступает здесь как Личность с большой буквы, которая не только формируется обществом, но сама формирует его. Если в процитированных стихах, первых из этого цикла, она ощущает себя лишь объектом «проверки» и «доверия», то через год речь идет уже о гораздо большем — «не искушай доверья моего» — о взаимодоверии, о взаимоответственности. И, как высшего счастья для себя, она дерзновенно желает трудно достижимого в те годы права

... говорить с тобой, как равной с равной,
на вольном и жестоком языке.

Это горькое счастье, это гордое право Ольга Берггольц получила всего лишь два года спустя, в дни блокады Ленинграда.

Знакомство, начавшееся под репродуктором, сообщившим о взятии Парижа немцами, оказалось прочным и прошло через годы. В предвоенные месяцы Ольга приезжала в Москву, где продолжались разговоры и споры, завязавшиеся в приморском поселке. В них вошел с полными пригоршнями иронической соли Михаил Светлов, доброй встречей с которым я до конца буду обязан Ольге.

И вот грянуло 22 июня, рассекшее жизнь каждого из нас на две части. Долго спустя мы будем мерить назначенный нам путь бытия двумя мерками: «до» и «после». Наши дочери и сыновья не знают этого деления и, даст бог, не узнают никогда. Война разметала всех нас в разные стороны. От Баренцева до Черного моря, не смолкая ни днем ни ночью, громыхали фронты.

Зимой 1942 года из-под Ливен я послал наудачу письмо в блокированный Ленинград. В него я вложил стихи, написанные незадолго перед тем. «Запоминал над деревнями пламя, и ветер, разносивший жаркий прах, и девушек, библейскими гвоздями распятых на райкомовских дверях». Все это действительно было пережито нами, когда мы вместе с Михаилом Лукониным выходили из окружения Брянскими лесами. Письмо пересекло блокаду — чудо, но это так! — и я получил ответ, положивший начало переписке. В ответе говорилось и о стихах,— думается, это были первые мои строки, пришедшиеся Ольге по сердцу. Рассказываю я про это, чтобы привлечь внимание к одному немаловажному факту, имеющему, как говорится, распространительное значение. Где бы мы ни находились, что бы с нами ни случилось — я говорю о своих товарищах по жизни и поэзии,— мы, вблизи и на расстоянии, говорили друг с другом стихами и о стихах. Это равно относится к Ольге Берггольц, к Павлу Когану, к Георгию Суворову, к Борису Слуцкому, к Михаилу Луконину и Давиду Самойлову. Иногда я просто диву даюсь, перечитывая старые письма: пишет тебе человек из самого пекла, скороговоркой сообщает о своем житье-бытье и вслед за тем, словно это-то и наиглавнейшее для него,— подробно разбирает какие-нибудь полюбившиеся или не понравившиеся ему стихи. Старая поговорка о том, что музы смолкают, когда говорят пушки, никак не подтвердилась опытом моего поколения.

Летом 1942 года с Брянского фронта меня перебросили на Волховский. Ожидая назначения, я десять дней провел в Москве. Удивительно она выглядела тогда. Пустые улицы, полупустые дома. Ни к кому не позвонить, не постучаться — кто на фронте, кто в эвакуации. Пустынность улиц особенно ощущается, когда навстречу тебе, гулко стуча каблуками, идет такой же парень, как ты, в такой же полевой военной форме. Он вскидывает руку к фуражке, отвечая на твое приветствие, и стучит каблуками дальше. Других прохожих от угла до угла не видно, и ты долго еще слышишь удаляющийся стук каблуков.

И все-таки Москва была хороша. Безлюдность ее оказывалась мнимой, самые нужные люди оставались в ней, ты находил их, а они, в свою очередь, находили тебя. И вы сообщали друг другу, сбивчиво и взахлеб, о других

самых нужных людях, оказавшихся вдали от нас. При внешней пустынности улиц странно одухотворились дома. Прежде они скрывались за прохожими и замечались по необходимости. Здесь живет Севка, здесь Павел, тут Ляля, а там Марина. Теперь же дома стали приметными сами по себе, и каждый, когда ты к нему приближался, как бы выступал вперед, заявляя права на самостоятельное существование.

Бродя по этой странной и незнакомой Москве, я повторял тогда строки о равновеликом городе, куда более безлюдном и трагическом, отделенном от нее вражеским кольцом. Незадолго до меня Ольга на военном самолете прилетела в Москву. Нашла время зайти к моим родителям и оставила им стихи с надписью: «Лидии Яковлевне и Сергею Николаевичу о Ленинграде от друга Сережи». Мама стихи передала мне, сказав: «Ведь опухла от голода, а чтобы остаться здесь — и слышать не хотела». Стихи эти были тот знаменитый «Февральский дневник», без которого немыслима наша поэзия.

Но раньше чем говорить о нем, вспомню, как услышал я снова голос, наполняющий его строки. Это случилось три-четыре месяца спустя возле Ладожского озера, где 2-я Ударная армия, в которой я теперь служил, готовилась к прорыву блокады Ленинграда. Я готовился вступать в члены партии. Срок моего кандидатского стажа вышел еще летом. Но переброски из части в часть не давали возможности выполнить требование: «Знать товарища не менее 3-х месяцев по совместным боям». Не ручаюсь за дословность, но смысл инструкции передаю верно, так как в то время она была у меня в памяти. Между тем мне присвоили звание политрука — три «кубаря» и по звезде на каждом рукаве! Впрочем, звезды, согласно приказу, пришлось спороть — слишком они были приметными и немцы брали их на прицел в первую очередь.

Политрук — кандидат, а не член партии и по тем временам был редкостью. Наш парторг батальонный комиссар Поляков мягко указал мне на это обстоятельство, добавив:

— Вот прорвем блокаду и примем тебя по боевой характеристике.

Но, разумеется, не это служебное несоответствие двигало мною, а более веские, как говорится, причины. Мне

хотелось стать коммунистом по всем статьям. И я ответил:

— Видишь ли, Иван Владимирович... Словом, мне хотелось бы безотносительно к характеристике взять рекомендации из Москвы и из Питера и, конечно, отсюда.

Иван Владимирович посмотрел на меня из-под очков. Внимательно посмотрел.

— Понимаю,— наконец сказал он, по обыкновению слегка заикаясь.— Все понимаю. Для тебя ведь это вроде дня рождения. Ладно, зови крестных.

Москва была далековато, но до нее было близко — письма приходили на третий день. Питер был рядом, но до него было далеко — блокада замыкала к нему все пути, кроме тревожной ледовой трассы. Московскую рекомендацию я получил быстро, с питерской дело обстояло труднее. У кого ее просить, я знал, но адресат был за блокадным кольцом. И все же он был от меня, казалось, рукой подать, напоминая о себе каждый день.

Каждый день, сгрудившись вокруг походной рации, мы слушали ленинградское радио. Долгие минуты ловили жадным слухом удары метронома — раненое сердце города продолжало стучать. Продолжало! Но оно ждало помощи, это сердце! И вдруг оно начинало говорить...

— Товарищи! Мы в огненном кольце!

Трагедийная торжественность звонко-печального голоса с пронзительной силой била наши души. Это был совсем еще молодой голос, но в нем была та чистота возвышенного страдания, которая не имеет возраста. «Дым, туман, струна звенит в тумане»,— повторял я про себя гоголевские строки. И все было так, как в тех строках. Только дым был подлинным, горько-сладковатым дымом солдатских костров; только туман был настоящим морозным туманом над Приладожьем, а звенящей струной был голос Ольги Берггольц. К ней-то я решил обратиться с просьбой о рекомендации.

В эти дни 2-ю Ударную армию обошло письмо питерских рабочих. Его читали в частях и подразделениях, в землянках и окопах. «Разбейте блокаду!» — просили и требовали кировцы. Не скрывая жестокой правды, говорили они нам о своих лишениях, и мы поражались их победоносному терпению. Приказа о наступлении ждали

все. И как ждали! И, право, вспоминая наши общие ощущения, не думали мы тогда ни о возможных ранениях, ни о возможной смерти, вообще не думали о себе, все мысли были с ленинградцами. Не красивая фраза, прошу поверить мне, ведь в конце концов мы доказали ее на деле.

Написав письмо Ольге, я не понес его на полевую почту. Связь по ледовой трассе была не очень-то надежной, и я не решился ей довериться. Военный самолет почему-то казался мне более эффективным средством доставки корреспонденции. И я пошел к офицерам связи — в большой землянке они спали вповал на нарах и на полу. Поискал глазами Федю Пантюшина — мы с ним были знакомы два месяца, а в тогдашних условиях это срок не малый. Я узнал его по трофейному парабеллуму на боку полушубка — лицо он прикрыл шапкой.

— Пантюшин!

Федю подбросило, как пружиной.

— Я!

Протерев, или, вернее, продрав глаза, он со злостью выругался:

— А, чтоб тебя... Думал, вызывают...— И он снова хотел завалиться на нары.

— Три минуты,— попросил я,— серьезное дело.

Федя неохотно подарил мне три минуты.

— Мне сказали, что ты ночью летишь в Питер, так?

— Ну, так.

— Опусти там это письмо в какой-нибудь ящик. Не ругайся.

И вкратце объяснил ему суть дела.

— Будет выполнено,— угрюмо сказал Федя.— Дело действительно серьезное, а то бы... Я же три ночи не спал.

Он положил письмо в планшет, поверх сложенной вчетверо карты, сказал:

— Катись теперь, досыпать буду.

Федя благополучно перелетел линию фронта и не менее удачливо возвратился назад.

— Не опустил твое письмо, а на почту сдал,— с некоторой горделивостью заявил он,— цени друзей.

— Ценю,— ответил я.

Недели две спустя я получил ответное письмо, шедшее по ледовой трассе,— грузовик оказался таким же

надежным, как самолет. Письмо не сохранилось у меня, но я помню строки: «Это первая рекомендация, которую я даю как член партии...» Ольга сама тогда была еще молодой коммунисткой. Не буду пересказывать всех хороших слов, сказанных в рекомендации по моему адресу,— даже спустя четверть века я, наверно, не оправдал их и наполовину. По правде говоря, хорошо, что хоть в глазах других людей ты выглядишь лучше, чем в своих собственных. Невольно стремишься принять очертания того отражения, которое видишь в чужих зрачках. Не чужих, конечно, здесь напрашивается другое слово.

Так, через фронт, через «огненное кольцо» дошла ко мне эта рекомендация. Она была у меня в кармане гимнастерки, когда хмурым январским утром вспыхнули одновременно тысячи орудий, возвещая начало наступления. Вместе с рекомендацией со мной были и стихи человека, поручившегося за меня. Они были исповедью и заповедью, обращением и зовом великого города, к которому мы шли навстречу. И прошли.

Как эти стихи читаются сейчас? Изменилось ли в них что-нибудь спустя двадцать шесть лет? Не строки, они те же, а то, что стоит за строками? Да, изменилось. Стихи как бы выросли, с ними самими произошло то, о чем пишет Ольга Берггольц, говоря о всем блокадном Ленинграде:

В те дни исчез, отхлынул быт,
и смело
В права свои вступило бытие.

Так вот, за эти годы «Февральский дневник» и продолжающие его стихи приобрели самостоятельное бытие, и трагическая ослепительность его становится тем ярче, чем дальше уходят от нас события той поры. Все больше поражаешься таланту художника, интуитивно определившего среди путаной графики тогдашнего быта главные линии теперешнего бытия этих стихов. В истории советского общества подвиг ленинградцев занимает особое место. Да, пожалуй, не только в нашей истории, а и во всечеловеческой. Ведь словно кто-то задался целью произвести фантасмагорический опыт на прочность коммунистической идеи, поставив в заведомо невыносимые условия не одного человека, который мог бы оказаться

героем или трусом, не сто и не тысячу, а целый огромный город. Причем город, взявший имя того человека, который в сознании миллиардов людей олицетворял эту идею. И люди, которым выпала такая неимоверная участь, были в массе своей не какими-либо исключительными личностями, а рядовыми тружениками,— это было гражданское население, не одетое в униформу, не принимавшее присяги, большинство — женщины. Но прочность идеи оказалась такова, что немыслимое испытание на немыслимый разрыв было выдержано.

Существует возможность перевести такой разговор в общечеловеческий и даже во вневременной план. Но вечные категории сразу становятся на твердую и весьма конкретную почву, когда возникает вопрос, во имя чего все это происходило.

Поэзия Ольги Берггольц с обжигающей прямотой на него отвечает. Отвечает каждой строкой и всем своим дыханием. Это подлинно коммунистическая поэзия.

Вот опять земля к сынам воззвала,
Крикнула: — Вперед, большевики! —
Страдный путь к победе указала
Ленинским движением руки.

И, верны уставу, как присяге,
Вышли первыми они на бой,
Те же, те же смольнинские стяги
Высоко подняв над головой.

. . . .
. . . .

И идут, в огонь идут за ними,
Все идут, от взрослых до ребят,
За безжалостными, за своими,
Не щадящими самих себя.

Эти стихи сентября 1941 года, а в феврале 1942 года под теми же «смольнинскими стягами» пишутся строки, в которых провидчески определяется главное:

В грязи, во мраке, в голоде, в печали,
Где смерть, как тень, тащилась по пятам,
Такими мы счастливыми бывали,
Такой свободой бурною дышали,
Что внуки позавидовали б нам.

Высшее счастье и высшую свободу человек ощутил в горчайших испытаниях — не парадокс ли это? Нет, ибо

в этих испытаниях человек и общество слились, малое стало соразмерно с великим, полной стала их взаимоотдача. Стефан Цвейг ввел понятие «звездных часов». Советский Ленинград времен блокады — безусловно такой вот звездный час человечества, одна из кульминационных точек взлета его духа. И Ольга Берггольц почувствовала это уже тогда, не только почувствовала, но и сумела передать это ощущение другим.

Трагический талант поэтессы развернулся во всю свою возможную силу. Мы не верим в предназначение, но трудно отрешиться от мысли, что сам автор таких вот стихов не ощутил в свой час его вещего прикосновения:

Мы предчувствовали полыханье
Этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье,
Родина! Возьми их у меня!
. . . .
. . . .
Я люблю тебя любовью новой,
Горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
С темной радугой над головой.
Он настал, наш час,
                    и что он значит —
Только нам с тобою знать дано.
Я люблю тебя — я не могу иначе,
Я и Ты по-прежнему — одно.

И Та, к которой обратилась Ольга Берггольц с этими страстными словами, дала ей долгожданное право говорить с собой «на вольном и жестоком языке» стихов, повторяемых нами до сих пор.

После прорыва блокады я много раз бывал в Ленинграде. Осажденный город памятен мне и зимним и летним, весенним и осенним. Почти каждый раз в дни своих приездов я встречался с Ольгой. Остро помню ее тогдашний облик: дистрофическая опухлость уже спала, черты лица выступили обновленными в незнакомой и почти нечеловеческой истонченности. Легкая и стремительная сквозила она по оживающему Ленинграду, появляясь везде, где ее ждали,— в заводских цехах и боевых частях, в госпиталях и домоуправлениях, и каждый день — перед микрофоном городского радио. Поэтический и гражданский подвиг слились воедино:

...Так день за днем, без жалобы и стона,
Невольный вздох и тот в груди сдавив,
Они творили новые законы
Людского счастья и людской любви.
И вот теперь, когда земля светла,
Очищена от ржавчины и смрада —
Мы чтим тебя, священная зола
Из бедственных времянок Ленинграда...
И каждый посетивший этот прах
Смелее станет, чище и добрее,
И, может, снова душу мир согреет
У нашего блокадного костра.

После войны наши встречи стали редкими, хотя ни внешних, ни внутренних причин к взаимоотталкиванию не было. Так, впрочем, случалось и с другими, неразрывными, казалось бы, друзьями. Михаил Луконин однажды усмехнулся: «На фронте мы чаще встречались, чем теперь». И впрямь, тогда судьба нас сводила с ним то и дело. Под конец уж совсем невероятно: он воевал на юге, я на севере, неожиданно встретились в Восточной Пруссии, где наши армии, пришедшие с противоположных концов фронта, наступали бок о бок. А в послевоенной Москве на получасовом расстоянии друг от друга не встречаешься месяцами. И никто вроде не виноват, а если виноваты, так оба. Да и чем виноваты? Тем, что у каждого своя жизнь, свои заботы, а у этой жизни и забот, связанных с ней, определенная логика. И чтобы понять эту логику, необходимо постоянное соприсутствие, а подобного требования даже к лучшим друзьям предъявить невозможно. На войне другое дело: не говоря уже о великой общности, соединявшей всех знакомых и незнакомых, была общность повседневных интересов близких между собой людей, условий: быт и заботы были схожими. Наверное, если поискать, найдутся и другие объяснения, но факт остается фактом — контактировать с друзьями стало труднее. И все же, при этих отрывочных встречах, выговариваться со старыми товарищами сплошь и рядом лучше, чем с новыми. После неизбежной разминки, после подавляемой разными «Ах, давно мы не виделись!..» неловкости вдруг прорвет обоих, и начинается разговор на полную силу. Летом 1953 года я лежал со скверной горловой хворью в Боткинской больнице. Неожиданно появилась Ольга. Она возвращалась из поездки в Углич, узнала, что свалился, сразу поехала в

больницу. Очень меня это тронуло. Я уже выздоравливал, мы вышли во двор, присели на какие-то бревна. Ольга, необычно притихшая, опустив глаза на колени, словно девушка за вышиваньем, ровным и неторопким голосом стала рассказывать о «городе своего детства». И хотя о будущей книге не шло и речи, Ольга, как мне думается сейчас, уже тогда начала жить ею. Та предельная искренность и целомудренность повествования, отличающая «Дневные звезды», были в этом тихом рассказе.

«Дневные звезды» такая же часть поэзии Ольги Берггольц, как ее стихи. Вот уж кто не может «перейти на прозу», так это она. И разбирать эту поэму — а «Дневные звезды» именно поэма — по законам прозаического жанра, на мой взгляд, просто немыслимо. Ключом к поэме служат строки самой Ольги Берггольц, где говорится, что она «все три недели жила в Угличе необычайной жизнью,— прошлым, настоящим и будущим сразу, жила всей жизнью». И какая же насыщенная, полная духовным богатством оказалась эта жизнь! Она вобрала в себя все, чем жила страна с первых дней великой революции,— ее счастье и горе, повседневность и романтику. И снова это грозовое, трагическое жизнеощущение! Не гнетущим воздухом предгрозья, а живительным озоном очищающей грозы дышит эта книга. У всех она на памяти, и я не буду снова перелистывать ее страницы, скажу лишь, что вместе с «Февральским дневником», «Ленинградской поэмой» и «Узлом» она видится мне той «Исповедью дочери века», которую писала всю жизнь и, как теперь очевидно, уже написала Ольга Берггольц.

В стихах 1945—1964 годов происходит развитие и утверждение главных мотивов творчества поэтессы, но возникают и новые, органически входящие в прежние. Впервые в полную силу прозвучала в ее поэзии любовная лирика. Но знаменательно: и здесь лучшие стихи Ольги Берггольц вызваны к жизни опять-таки трагедией. Даже в минуты счастья не сходят ей на душу ни покой, ни умиротворение.

Я тайно и горько ревную,
Но ты погоди — не покинь.
Тебе бы меня, но иную,
Не знавшую этих пустынь.
До этого смертного лета,
Когда повстречалися мы,

До горестной славы, до этой
Полсердца отнявшей зимы.
Подумать — и точно осколок,
Горя, шевельнется в груди...
...Я стану простой и веселой,—
Тверди ж мне, что любишь, тверди.

Неисполнимое обещание! Когда Данте проходил по улицам Флоренции, женщины с опаской показывали на него детям: «Смотрите, как его опалило пламя, он побывал там...» Подобное пламя коснулось Ольги Берггольц, и следы его прикосновения неустранимы. В этом ее печаль, в этом и ее счастье. Неопалимая купина, колючий куст, горящий не сгорая,— не такова ли ее жизнь, ее поэзия?

Я знаю о многом. Я помню. Я смею.
Я тоже чего-нибудь страшного стою.

И она действительно смеет. Смеет и воспевать подвиги революции, как в «Ване-коммунисте», как в «Международном проспекте», как в «Первороссийске», и вкладывать персты в ее раны, как в «Пяти обращениях к трагедии», «Том годе» и в новых строках, посвященных блокаде.

Бесстрашная, чистая, прямая — подлинно коммунистическая поэзия!

...Медленно и бережно перелистываю я страницы Ольги Берггольц. И снова встает передо мной в довоенном далеко речение древней книги. До самого дна испила женщина «пелынь судеб человеческих», но она не иссушила ее губ, а открыла их для слов неиссякаемой силы и великой веры.

ЗА ДАЛЬЮ — ДАЛЬ

го биография, стихи и поэмы известны каждому школьнику, и нет нужды повторять азы классных сочинений. Я скажу о том, чем характерно, на мой взгляд, литературное явление, носящее имя Твардовского. Ибо Твардовский — это, конечно, явление, размеры и содержание которого определяются не только личными качествами поэта, но и литературным процессом, общественными устремлениями, всей нашей действительностью. Это явление в силу своей значимости и весомости стало не просто объектом, а субъектом движущихся сил — литературы, общества, действительности — и само оказывает влияние на их динамику. Такова, впрочем, судьба художественного творчества всех значительных писателей прошлого и современности, к числу которых можно уверенно отнести Твардовского.

Его творческое развитие шло не от малого к большому, как у многих талантливых людей, а прямо от большого к большему, что уже представляется исключением. Эту исключительность создали равно дарование поэта и исторические условия, в которых оно формировалось. Твардовский с первых своих строк заявил себя певцом русского села, начинавшего новый этап своего существования. Ушла в прошлое деревня Некрасова, Кольцова и Никитина, прошли горнило трех революций чеховские и бунинские мужики, есенинская Русь перешагнула

порог коллективизации. Русское крестьянство стало колхозным, решительные перемены в социальном и жизненном укладе вызывали нравственные и психологические изменения, с прежними мерками к этой деревне подходить было нельзя. И молодой поэт, каким был тогда Твардовский, не стал в эпоху метрической системы мерить старым аршином новосрубленные стены. Чутко и верно отозвался он на изменившееся биение пульса народной жизни. Каждому из нас трудно отбросить напрочь пресловутый аршин, столько на нем точных и глубоких зарубок, и «Страну Муравию» я назвал бы благовестом новой крестьянской жизни. Это действительно благовест, светлый и праздничный, торжественный и личный одновременно. Он зазвучал тогда, когда и должен был зазвучать, не раньше и не позже. Раньше — было бы по пословице: «Не глянув в святцы, да бух в колокола» — шли трудные роды колхозного строя; позже — все ближе надвигалась война и слух тревожили иные звучания. «Страна Муравия», как всякое настоящее произведение, появилась вовремя. В ней властвует праздничное ощущение удавшегося начала. Бесчисленные Никиты Моргунки в 30-х годах, с тревожной настороженностью сделавшие первые шаги в зыбкую неизведанность будущего, ощутили под ногами твердую почву. Колхозный строй, вчера еще манящий и пугающий, стал реальностью и, как говорится, принялся. Принялся и, как молодое дерево, стал пускать обильные и цепкие корни, зеленеть шумной листвой, цвести.

Светлая фантастичность русской сказки как нельзя лучше подходила к передаче и воплощению такого праздничного чувства. Разительные перемены в жизни села произошли и впрямь настолько быстро, что вызывали представление о фантастичности. Шутка дело — в несколько лет перевернуть тысячелетний уклад, которым плохо-бедно, но жила Россия всю свою историю! Сказочный сюжет, да и не только сюжет, а сама обстановка и звучание сказки позволяли единым взглядом окинуть бескрайние российские дали, на которых происходили эти перемены, перекинуть невесомые, но достаточно прочные мосты из прошлого в будущее.

Никита Моргунок оказался на редкость удачным образом, соединившим в себе фантастичность и реальность крестьянского бытия. В музыке поэмы этот образ вы-

полняет назначение контрапункта, стягивающего в узел основные мотивы. В русском крестьянстве удивительно соседствовали трезвая практичность с безоглядной мечтательностью, прочная приземленность со «взысканием града». Хори и Калинычи не только шествовали рядом по российским путям-дорогам, но часто уживались в одном человеке. Из ручьев сливаются реки, и уже не отдельным личностям, а целым народным движениям становились присущи романтические черты. Бородатый казак, ни единой чертой не напоминающий худосочного голштинского принца, полгода просидевшего на императорском престоле, принимает его имя, и вся мужицкая Россия славит в нем крестьянского царя Петра III, не забывая при этом о его истинном имени-прозвище. От избы к избе бежит смутный и сладкий слух о «золотой грамоте», по которой будто бы жить мужику без крепостного права, без помещиков и чиновников, без налогов и поборов, без рекрутчины и повинностей, а так — самому по себе. Уже на рубеже XX века снаряжают уральские раскольники трех степенных мужей на поиски загадочной Беловодии, где все от мала до велика крестятся двумя перстами и живут по старинному чину. И те впрямь объезжают полсвета, мыкаются по Египтам и Индиям, Китаям и Япониям, пока не убеждаются в несбыточности дедовских мечтаний.

Фантастика! Но как всякая фантастика опирается на вполне определенные жизненные реалии, так и здесь самые диковинные вымыслы и домыслы основывались на доподлинных требованиях крестьянской среды. За странным ликом бородатого Петра III вставал беспощадный пугачевский бунт, потрясавший устои империи. «Золотая грамота» упраздняла крепостное право задолго до его отмены. Поиски Беловодии взывали к свободе, совести, так и не объявленной в старой России.

Никита Моргунок, плоть от плоти практиков и мечтателей тысячелетней Руси, ищет и находит страну Муравию в окружающей его яви. Все шире и доверчивее распахивается он душой к счастью не для одного себя, а для всех своих единоплеменников. От заманчивого, но крохотного идеала прежнего крестьянского бытия, обрисованного в знаменитых строках: «Земля в длину и ширину — кругом своя. Посеешь бубочку одну, и та — твоя», он приходит к идеалу всеобщего благоденствия,

основанного на коллективном труде. «Бубочка», конечно, страшно трогательна, она дорога и мила крестьянскому сердцу, но, глядя на нее глазами, опущенными долу, можешь ничего не увидеть вокруг. А тут — невообразимые просторы открываются взгляду, они прежние и не прежние, вековые и невиданные, и праздничной новизной звенит над нами стих молодого Твардовского:

И едет, едет, едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырех сторон,
И сверху — облака.

По склонам шубою взялись
Густые зеленя́,
И у березы полный лист
Раскрылся за два дня.
. . . .
И над полями голубой
Весенний пар встает.
И трактор водит за собой
Толпу, как хоровод.

Белеют на поле мешки
С подвезенным зерном.
И старики посевщики
Становятся рядком.

Молитву, речь ли говорят
У поднятой земли
И вот, откинувшись назад,
Пошли, пошли, пошли...

За плугом плуг проходит вслед.
Вдоль — из конца в конец.
— Тпру, конь!.. Колхозники ай нет?..
— Колхозники, отец...

Чуть веет вешний ветерок,
Листвою шевеля.
Чем дальше едет Моргунок,
Тем радостней земля.

Земля!..
От власти снеговой
Она еще свежа.
Она бродит сама собой
И дышит, как дежа.

Земля!..
Она бежит, бежит
На тыщи верст вперед.

Над нею жаворонок дрожит
И про нее поет.

Земля!..
Все краше и видней
Она вокруг лежит.
И лучше счастья нет — на ней
До самой смерти жить.

Земля!..
На запад, на восток,
На север и на юг...
Припал бы, обнял Моргунок.
Да не хватает рук...

В «Стране Муравии» впервые обозначились со впечатляющей силой обобщающие свойства поэзии Твардовского. Едва ли не любой образ является обобщением, но здесь речь должна идти о масштабах. Когда поэт отталкивается от случая, образ при любой степени яркости тоже часто приобретает черты случайности. Твардовский шел от события, а не от случая, и поэме сообщился событийный размах. Тут легко соскользнуть в банальность: мол, сам материал предопределил обобщение. Ничего подобного! Десятки, а то и сотни поэтов, не хуже Твардовского знавшие деревню, захлебывались и тонули в этом самом «материале» и ограничивали обобщения либо пределами видимости протянутой руки, либо разграничивали их уже до совершенно неосязаемых пределов. Последнее шло, кажется, от трагикомического отчаяния, знакомого многим пишущим: тема чувствуется, но не охватывается — так она велика, и вот на помощь призываются слова-знаки, долженствующие подчеркнуть ее величие. Но такое решение вопроса, кроме почтения поэта к избранной теме, характеризует и бессилие с ней справиться.

Твардовский не только почувствовал, но и охватил тему во всей ее объемности и глубине. Частности были подчинены общей мысли и приобретали вес и значение благодаря одушевляющей их идее. Беспредметность никогда не была уязвимым местом Твардовского, он не любил фразу, стих его был вещным и всегда опирался на прочные реалии. Художественное обобщение событий огромного размаха оказалось ему по плечу.

«Страна Муравия» была воспринята как большая творческая удача поэта. Об этой удаче заговорили по-

всюду, но молодой Твардовский мог бы прокомментировать эти разговоры сердитыми словами старика Суворова: «Удача, удача, но, помилуй бог, когда-нибудь и талант». Ибо все умные и серьезные слова, которые говорились и говорятся в адрес поэмы, сами по себе ровно ничего не стоят без этого короткого слова. А поэма была — намеренно употребляю это озорное определение — чертовски талантлива. И написал ее двадцатипяти-двадцатишестилетний человек, почти мальчик по теперешним понятиям.

Обобщающая сила поэзии Твардовского, раз возникнув, могла найти и нашла бы приложение к новым событиям в жизни русского села, так хорошо знакомого поэту. Но как будто сама судьба горько позаботилась о том, чтобы он пошел от большого к большему, и поставила его, как и всех нас, перед лицом таких событий, которые в своем развитии и исходе определяют судьбу народа в целом. Началась Великая Отечественная война.

В эти годы создается эпопея «Василий Теркин», и в ней и с ней неуследимо и закономерно крестьянский поэт становится поэтом общенародным. Это становление происходит тем естественнее, что Твардовскому не нужно перестраивать себя и приобретать доселе неведомые качества. До войны свыше половины населения страны жило крестьянским трудом, и, соответственно, армия, защищавшая страну от немецких фашистов, больше чем наполовину состояла из жителей села. Крестьянин, одетый в солдатскую шинель, но крестьянин не прежний, а прошедший ломку «Поднятой целины» и апофеоз «Страны Муравии», стал действующим лицом эпопеи, развертывавшейся на огромных просторах России от Баренцева до Черного моря. Эта жизненная эпопея почти немедленно превратилась в эпопею поэтическую силой таланта Твардовского. «Василий Теркин» появлялся в свет главами, составлявшими как бы отдельные художественные произведения. Соединяясь, они образовывали живую летопись военных удач и невзгод, ведшуюся живым свидетелем и участником событий, и невероятная сила достоверности скрепляет воедино ее страницы.

Сам Василий Теркин, именем которого названа «Книга про бойца», от страницы к странице, от главы к главе и как бы помимо воли автора, вырастает в огромный

образ, воплощающий в себе не только советское крестьянство на войне, а нечто значительно большее. Как тысячеликий Иванов, родившийся в одной из тысяч Ивановок, разбросанных по Руси, укрываясь одной шинелью с ленинградским рабочим Петровым и деля фронтовой паек с московским студентом Сидоровым, неприметно вбирал в себя их черты, а те, в свою очередь, приобретали нечто ценное у него, так Василий Теркин, проходя через горнило войны, не теряя прирожденных крестьянских черт, усваивает черты общенародные. Сознание национального единства, созревшее в годы тяжелейших испытаний, когда-либо выпадавших на долю Руси, в высшей степени присуще герою Твардовского. Оно, это сознание, уходя корнями в далекие глубины истории, воскресло и укрепилось с новой силой, когда под угрозу было поставлено само существование России. И ее сыновья жили и сражались, умирали и побеждали равно под стенами Москвы и Ленинграда, в полях под безвестными селами и деревнями в этом святом сознании:

И в одной бессмертной книге
Будут все навек равны —
Кто за город пал великий,
Что один у всей страны;

Кто за гордую твердыню,
Что у Волги у реки,
Кто за тот, забытый ныне,
Населенный пункт Борки.

И Россия — мать родная —
Почесть всем отдаст сполна.
Бой иной, пора иная.
Жизнь одна и смерть одна.

«Василий Теркин» — подлинно национальная эпопея, и лучшие черты русского народа запечатлелись в ней с изумляющей силой. Это не панегирик, который вообще несвойствен Твардовскому, а глубокое раскрытие народного характера. Примечательно, что такие крупнейшие события нашей истории, как Отечественная война 1812 года и гражданская война, вызвали к жизни эпические произведения прозы «Войну и мир» и «Тихий Дон». Великая Отечественная война создала свой эпос средствами поэзии, и в прозе пока равного «Василию Теркину» произведения нет. Об этом необходимо помнить, оцени-

вая место, занимаемое Твардовским в нашей литературе.

Горького приоритета жертв, принесенных русским народом войне, и его светлого первенства в утверждении победы невозможно оспаривать. Но подвиг русского воина был подвигом советского солдата, а его победа над врагом — торжеством всего нашего правого ленинского дела. Эпопея защиты родины переходила в эпическую историю освобождения Европы от фашистского ига. На дорогах сорок пятого года, за Дунаем и Вислой, Одером и Эльбой, русских и украинцев, грузин и армян, казахов и узбеков в пилотках с красными звездочками тысячеустая молва объединяла единым словом «Советы». Звали нас и просто русскими, не разбираясь особенно в различиях акцентов, глаз и волос, но опять-таки со смыслом «Советов». Нам, современникам, очень памятны эти дни, а в стихах Твардовского они запечатлены навечно:

На восток, сквозь дым и копоть,
Из одной тюрьмы глухой
По домам идет Европа.
Пух перин над ней пургой.

И на русского солдата
Брат француз, британец брат,
Брат поляк и все подряд
С дружбой будто виноватой,
Но сердечною глядят.

На безвестном перекрестке
На какой-то встречный миг —
Сами тянутся к прическе
Руки девушек немых.

И от тех речей, улыбок
Залит краской сам солдат.
Вот Европа, а спасибо
Все по-русски говорят.

Он стоит, освободитель,
Набок шапка со звездой.
Я, мол, что ж, помочь любитель,
Я насчет того простой.
Мол, такая служба наша,
Прочим флагам не в упрек...

«Такая служба наша»! Но эта служба человеку и человечности началась задолго до этих счастливых

дней — на июньском рассвете 1941 года, когда советский пограничник ответным выстрелом встретил залп фашистских орудий. Эта служба продолжалась на заснеженных полях Подмосковья, в блокаде Ленинграда, в окопах Сталинграда. Она завершилась поднятием знамени над германским рейхстагом, разгромом немецкого фашизма, освобождением Европы. И человек, сослуживший эту службу людям и времени, рядовой солдат Василий Теркин совершил тем самым не только национальный, не только государственный, но и всечеловеческий подвиг.

Переправа, переправа!
Пушки бьют в кромешной мгле.
Бой идет святой и правый.
Смертный бой не ради славы,
Ради жизни на земле.

Переправа с одного речного берега на другой, с такой поразительной силой запечатленная в поэме, стала переходом от национальной задачи к всемирно-исторической «ради жизни на земле». И обе эти задачи, неразрывные между собой и объединенные в одно великое целое, были решены и выполнены.

«Василий Теркин» — произведение, которое трудно и даже невозможно рассматривать как событие одной литературы. Это сама жизнь, сама история, сама философия народа, советского строя, социалистического государства в напряженнейший момент их исторического существования. И непреходящее значение эпопеи Твардовского состоит именно в этом.

Если бы Твардовский не написал после «Василия Теркина» ни одной строчки, он и тогда бы закрепил за собой выдающееся место в истории советской литературы и нашей общественной мысли. Но спустя пятнадцать лет по окончании войны им завершается новая эпопея — «За далью — даль», расширяющая и без того широкие горизонты его творчества.

Опять в центре внимания поэта становится главное содержание жизни народа, но теперь уже в послевоенное время. Говорю «содержание», а не событие, ибо великая стройка на Ангаре была лишь частью строительства коммунизма, того величайшего строительства не

только производственных объектов, но и душ человеческих, которое развертывается в нашей стране. Твардовский и теперь шел от большого к большему, и само название поэмы «За далью — даль» красноречиво свидетельствовало, что так он и осознает свою задачу. Для него как поэта и человека было плодотворно и то обстоятельство, что великая стройка, о которой говорил весь мир, начиналась за тридевять земель от его родных мест, в незнакомой ему доселе Сибири. Поэту такого размаха, как он, необходимо было ощутить вживе всю нашу огромную страну от края и до края, а не одну ее европейскую часть. Дело, конечно, не в географии, а в том, что пульс народной жизни бьется с неослабевающей силой на широчайших просторах от Балтийского моря до Тихого океана, и большому художнику нужно услышать его биение не только в привычных краях, чтобы явственнее представить и ощутить страну, от имени которой он говорит. В новых местах ждали его и новые герои — не люди села, не люди войны, а люди строительства. А народ в нашей стране немыслим без своего ведущего отряда — рабочего класса. Нелепо думать, что Твардовский заранее определил себе цель стать народным поэтом, но сама жизнь, как мы видим, вела его от большого к большему, пока редкое сочетание двух слов само не обозначило его значение в литературе.

Не социальный переворот и не потрясение государства (как это было в «Стране Муравии» и «Василии Теркине») обозначили рождение поэмы «За далью — даль». Бурное и стремительное, но планомерное течение народной жизни к великой цели вынесло на свой стрежень раздумья поэта о судьбах общества, страны, государства. Свободный разговор с читателем, ведущийся в поэме, начиная с первой и кончая последней строкой,— это по сути разговор со всем народом. На такой прямой и откровенный разговор претендуют многие, но не каждому он удается: либо сообщать нечего, либо слушать не хотят — по той же причине; а у Твардовского такой разговор получается сам собой, и для этого ему не нужно становиться в позу оратора или проповедника — это доверительная беседа.

Когда же вдруг, где-то в конце этой беседы, вы слышите одновременно простые и пафосные слова о родине и своей судьбе, связанной с ней,—

Она не просто сотня станций,
Что в строчку тянутся на ней.
Она отсюда и в пространстве
И в нашем времени видней.

На ней огнем горят отметки,
Что поколенью моему
Светили с первой пятилетки,
Учили сердцу и уму...

Все дни и дали в грудь сбирая,
Страна родная, полон я
Тем, что от края и до края
Ты вся — моя, моя, моя!

На все, что внове и не внове,
Навек прочны мои права.
И все смелее, наготове
Из сердца верного слова...—

эти слова окажутся вашими словами, так как драгоценное свойство поэзии Твардовского — всеобщность — превращает сказанное им в достояние каждого из нас.

Так от большого к большему развивался талант Твардовского. И если попытаться оценить значение его творчества для нашего общества, я бы сказал, что оно — это значение — определяется прежде всего объемным и многосторонним охватом советской действительности в ключевых ее событиях. Эта сухая формула скажет, пожалуй, о главном, но только уму, а не сердцу. А сердцу скажут сами строки Твардовского, над которыми люди радуются и грустят, смеются и плачут, как плакал я сам и многие мои товарищи, читая поразительные строки «Переправы»:

Переправа переправа!
Берег левый, берег правый,
Снег шершавый, кромка льда...

Кому память, кому слава,
Кому темная вода,—
Ни приметы, ни следа.

И уже не только уму, не только сердцу, а некоему глубинному чувству, переданному нам с молоком матери, неизъяснимо многое скажет сама речь Твардовского — прекрасная русская речь, где, по гоголевскому выражению, что ни звук, то и подарок. Эта речь звучит во

всех поэмах и стихах Твардовского. О стихотворениях я здесь ничего не говорил вполне сознательно. При оценке выигранного сражения обращается внимание прежде всего на роль соединений, а не подразделений. Эпос — это армейские соединения поэзии, и, обращаясь к великим примерам, вы будете судить о Данте раньше по «Божественной комедии» и уже после по канцонам, о Гёте — по «Фаусту», о Пушкине — по «Евгению Онегину», а потом уже по их лирике. Примеры, конечно, большие, но и Твардовский — поэт выдающийся.



«ПРАЗДНИЧНЫЙ, ВЕСЕЛЫЙ, БЕСНОВАТЫЙ...»

Имя Николая Тихонова звучит в красной строке, начинающей историю советской литературы. Именно в красной строке как по смыслу термина, обозначающего начало нового текста, так и по глубинному политическому значению, которое мы придаем слову красный. Путь Тихонова в литературе — это весь путь советской литературы от ее начальных строк до теперешних глав.

Большие писатели нередко объединяют в своем творчестве талант поэта и прозаика. Тихонов принадлежит к их числу. Еще в молодости он соединил в себе оба дарования. Скупой на похвалы Маяковский назвал его в 1927 году талантливейшим из ленинградских лириков. Себя Маяковский считал москвичом, и такая оценка выдвигала автора «Орды», «Браги» и «Поисков героя» на виднейшее место в советской поэзии. Высоко ценил творчество Тихонова А. М. Горький, охарактеризовав его прозу как «подлинное искусство изображения жизни словом». Так относились к поэзии и прозе Николая Тихонова два наших великих писателя еще в начале его творческого пути. И он полностью оправдал и даже превысил эти начальные оценки своей дальнейшей поистине гигантской работой.

Великолепный писательский талант Тихонова целиком отдан народу, партии, ленинской идее. Он не разменял его на мелочи, а приложил к крупнейшим делам и

задачам, вставшим перед страной. Первые пятилетки увидели его на своих лесах. Гражданская и Великая Отечественная войны нашли в нем своего героя и певца. Советское движение борьбы за мир он возглавляет не только по должности, но духовно и поэтически. Соединение писательской профессии с общественной деятельностью сейчас не редкость, но в Тихонове оно нашло наиболее полное выражение.

Стих и проза Тихонова давно стали предметом изучения и исследования, но живая связь с сердцем читателя возобновляется и продолжается с каждой новой строкой, выходящей из-под пера писателя. Широчайший интеллектуальный горизонт, корневое ощущение культуры, глубокая озабоченность судьбами человечества характерны для творчества Тихонова. Он много ездил по родной стране и за ее рубежами, эти поездки одарили поэта яркими и сильными впечатлениями, расцветившими его произведения. В них глубоко отпечаталась благородная идея дружбы народов, страстным поборником которой всю жизнь является Тихонов.

Соприкасаясь с творчеством Николая Тихонова, всегда поражаешься его масштабности. Известно положение, что большой писатель прежде всего большой человек. Оно целиком относится к Тихонову, придающему масштабность всему, за что он берется, будь это поэзия, проза, общественная деятельность. Разумеется, его счастье, что он родился в такой масштабной стране, как наша, но даже для такой страны люди, подобные ему, подарок и находка. И ему есть где развернуться, и стране есть возможность в полную меру использовать его способности.

Естественное, полное, гармоничное сочетание лучших литературных и гражданственных качеств видится нам в Тихонове. Сочетание настолько яркое и выразительное, что иначе как *явлением* его назвать нельзя. Николай Тихонов по праву считается старейшиной советской поэзии, виднейшим мастером советской прозы.

* * *

«Талантливейший из ленинградских лириков» сложил свои первые стихотворные строки в городе над Невой. Он сам родился в Питере, и Питеру обязаны были рождением его стихи. Ни Петербургу, ни Петрограду, а

именно Питеру, ибо так называли имперскую столицу рабочие и мастеровые. Царская резиденция была для них городом заводов и фабрик, верфей и мастерских. Просторечный Питер стал названием рабочей столицы, как Санкт-Петербург — столицы официальной.

Николай Тихонов вышел из среды питерских мастеровых. Год его рождения — 1896 — лишь по видимости казался спокойным. Россия не вела войн ни на западе, ни на востоке, но в ее столице шла «промышленная война» рабочих с заводчиками. Молодой Владимир Ульянов сплотил первые социал-демократические кружки в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Начинался ленинский этап в развитии марксизма. Надвигалась пора революционных бурь и потрясений. В ее предгрозье проходило детство поэта.

Предгрозье вскоре взорвалось первой грозой. «Вокруг меня жил громадный город,— читаем в автобиографии Тихонова.— Красота его улиц, набережных и площадей, красота, воспетая русскими поэтами, не могла не действовать на мое воображение. Знал я и заводские окраины столицы и жизнь бедных и бесправных людей. Видел лужи крови вечером 9 января 1905 года на Дворцовой площади, костры, вокруг которых грелись военные патрули. Был в Технологическом институте во время «осады» его семеновцами, которыми командовал палач полковник Мин, усмиритель московского восстания».

Мир, окружавший мальчика, прекрасен и страшен — вознесенные ввысь здания и лужи крови под ними,— но рядом соседствовал другой мир, разноцветно мелькавший на книжных страницах. «Я не любил злых книг, где писатель издевался над людьми, не любил пустых книг, которые не позволяли радоваться или печалиться,— рассказывает Тихонов о тех давних временах.— Я любил книги, где были герои, умеющие все делать хорошо, герои, приходившие на помощь людям, боровшиеся за правду, побеждавшие все злое. Под влиянием книг начал с детства сам сочинять романы, где мои герои много путешествовали, сражались за свободу угнетенных народов, были красивые, храбрые, умные. Такие герои мне нравились, и, даже если они умирали в борьбе, мне не было грустно, потому что они правильно вели себя и ничего не боялись — ни испытаний, ни смерти».

Очень интересно это позднее свидетельство поэта. Детство, отрочество, юность создают воображаемого героя, казалось бы, по книжным образцам. Тем не менее это герой их собственный: в пример берутся только такие черты, которые отвечают нравственному чувству юного читателя. Легко угадать, что, кроме русских и западных классиков, в поле зрения мальчика попали и «Овод», и романы Фенимора Купера, Жюля Верна, Майн Рида, вся тогдашняя приключенческая литература. Постоянная соперница школьных учебников, она делала доброе дело, прививая мальчишкам бесстрашие, смелость, благородство. Рисуя характеры, как правило, с помощью черной и белой краски, она резко отделяла правду от неправды, добро от зла, устанавливая под конец повествования — всем сестрам по серьгам — неизменное торжество справедливости. Целые поколения русских мальчиков воспитывались на такой литературе — и чеховский Монтигомо Ястребиный Коготь, в просторечии «господин Чечевицын», вырастая, получал куда большие основания стать решительным человеком, чем рыхлый Володечка, его малодушный приятель. И кто знает, не смогли бы мы увидеть этого милого смельчака спустя сравнительно короткое время в кожаной комиссарской тужурке? Во всяком случае, шансы у него для такой возможности были, чего нельзя сказать о его трусоватом товарище.

В автобиографии Тихонов дальше пишет: «Любил географию и историю. Поэтому в моих книгах, которые сам иллюстрировал и переплетал, действие переносилось из страны в страну. Я освобождал малайцев из-под ига голландцев, китайцев — от чужеземцев, индусов — от англичан». И здесь модель будущего тихоновского мира! Как в начале цитируемого высказывания черты воображения героев проецируются на будущие черты характера самого поэта, так воображаемая модель мира становится истинным миром, в котором живет Тихонов.

Но книги книгами, воображение воображением, а действительность диктовала свои законы, которым должен был подчиняться сын питерского ремесленника. Он по необходимости поступает в Торговую школу и, окончив ее, по той же необходимости служит в Военно-морском хозяйственном управлении. Выбор пути определяется средой, из которой он вышел, и этот путь кажется

его родственникам наиболее подходящим. Рано или поздно, а скорее рано, он, конечно, оставил бы его ради других дорог — слишком уж была одаренная и мятущаяся натура,— но этот стремительный шаг сделали за него обстоятельства: началась первая мировая война. И естественно, полетела к дьяволу постылая канцелярщина, чтобы уже никогда не вставать на тихоновском горизонте.

Но и то сказать: на войну он уходил не канцеляристом, а поэтом. Сотни стихотворных строк, чужих и своих собственных, хранятся в памяти новобранца. Новобранец он не только для армии, но и для поэзии. Стихи часто наивны, иногда чересчур прямолинейны, а порой слишком запутаны — это еще неопытное перо. Однако уже в них неясно, как на детской переводной картинке, проступают те тихоновские качества, которые потом создадут славу его поэзии. Скоро, очень скоро жизнь протрет эти картинки и на страницах биографии Тихонова очевидно для всех выступят свойства поэта-борца, проникнутого яростным стремлением перекроить все сущее на новый, невиданный лад. И долго еще будут развертываться по неожиданным плоскостям его ранние строки. Эти плоскости даст в распоряжение поэта время, ход которого трудно угадать даже накануне свершающихся событий. Но смотрите, какая завидная уверенность владеет юношей, когда он пишет в одну из своих первых тетрадей стихи об Индии:

Я к вам приду, колодцы между пагод,
Слоны святынь печальных Гатских гор,
Я к вам приду, хотя бы только на год —
В страну, где спят и слава и позор.

И впрямь он придет в эту страну сперва прекрасными стихами о Сами, а потом, когда Индия сбросит гнет британского колониализма, уже лично, и, конечно, опять со стихами, но уже о новом дне ее исторического бытия.

Войска, в которых служил Тихонов гусаром, прикрывали Ригу и Северную Прибалтику. Другой службой уже тогда была для него поэзия. Он пишет стихи все время, это для него постоянная и ненасытимая потребность. «Они хранят ощущение только что пережитого. В сущности, это разрозненные страницы лирического дневника. Они были нужны мне как разговор с самим собой

вслух»,— говорил Тихонов в своем предисловии к их первой публикации в 1935 году. Нам хочется несколько изменить сложившийся взгляд на эти стихи. Выход подряд «Орды» и «Браги» в 1922 году произвел огромное впечатление на поэтов и читателей как бы внезапным рождением большого таланта. Но на самом деле тихоновский талант родился задолго до этих двух книг. Многие стихи из «Жизни под звездами» (так назвал позже Тихонов свой походный цикл) по уровню молодого мастерства, казалось, вполне могли бы стать основой более ранней книги. В них уже чувствовалась хватка характера, твердая ладонь, на которой с броской небрежностью пересыпались впервые найденные самоцветы. Прежде всего следовало бы сказать это о таких стихах, как «Раненый», «Дозор на побережье», «Котелок меня по боку хлопал...», «Я забыт в этом мире покоем...», «Трубачами вымерших атак...». Строка здесь выпукла, осязаема, полновесна. Тихоновская афористичность начинает набирать силу: «Но умереть мне будет мало, как будет мало только жить», «И он в поту неудержимо падал на камни дна, не достигая дна», «Я бросил юность в век железный, в арены бойни мировой», «Только жили в глухих повтореньях гул и небо, болото и я», «Никогда не молюсь перед боем, не прошу ни о чем, ни о ком» и т. д. и т. п. Уже сжимает читательские нервы в комок тихоновская напряженная лапидарность.

Но, конечно, этим стихам еще многого недостает. Причем не тому или иному стихотворению, взятому по отдельности, а всем вместе. Им не хватает биографии поколения — того, что зримо, а иногда незримо встает за страницами «Орды» и «Браги». Тихонов в «Жизни под звездами» еще не мог создать своей гражданской и поэтической программы, которая станет у него неотделимой от судеб революции и народа. Пока это просто удачные или неудачные строки молодого воина, варящегося в клокочущем военном котле. Первый сборник мог быть выпущен на шесть лет раньше, но, наверно, к лучшему, что этого не произошло.

Принять или не принять революцию — такого вопроса для Тихонова не существовало, как не возникала подобная дилемма перед всей многомиллионной солдатской массой, воевавшей на фронтах большой войны. Это была ее революция, это была революция рабочих и крестьян,

одетых в серые шинели, и Тихонов, усвоивший к тому времени солдатскую психологию, естественно, оказался вместе с теми, кто в феврале 1917 года кричал: «Долой царя!» — а в октябре того же года: «Долой Керенского!» И конечно, не только кричал, но и действовал. Действовал вместе с большевиками-ленинцами, возглавившими Великую Октябрьскую социалистическую революцию.

Прямое отражение революционных месяцев и лет мы видим в тихоновских стихах того времени, но оно еще не останавливает нашего внимания. «Большое видится на расстоянье»,— говорил позже один из лучших поэтов России, и это большое слишком приближено к молодому солдату: контуры отражаемого расплывчаты и неопределенны, эмоции не нацелены и растекаются по поверхности. Словно подтверждая будущий есенинский афоризм, едва ли не лучшими стихами революционной темы становятся у Тихонова строки, посвященные Парижской коммуне. В них бьется новое и печальное чувство, их неподдельный пафос подернут голубой дымкой романтического лиризма. В неожиданной концовке угадывается рождающийся мастер — вернее, гроссмейстер! — баллады.

Тихонов в эти годы вынашивает революцию в самом себе: из солдата первой мировой войны он превращается в бойца войны гражданской, разделившей страну на два непримиримых лагеря. И Тихонов, конечно, в движущемся лагере тех, кто несет на кумачовых знаменах серп и молот, бьет Юденича под Петроградом, гонит белогвардейцев и интервентов вон из рабоче-крестьянской революции. Позже эпизоды тех лет войдут в поэму «Выра», но Тихонов вспомнит о них уже в зрелом отдалении от боевой молодости.

Разгромом белогвардейцев и интервентов кончается гражданская война, и вместе с ней завершается у молодого поэта начальное собирание духовных ценностей, которые он уже может предъявить людям. Смело может! Они безмерно обогатили его самого, и он поделится накопленным, не рискуя обеднеть.

Еще не скинув красноармейской шинели, собирает он в Петрограде две первые свои книги «Орда» и «Брага», выходящие подряд в 1922 году. Их ждет читательский успех, признание писателей, рождение большого таланта

становится явью. Что определило такую быструю и яркую удачу?

Заметим, что на мякине в те годы трудно было кого-нибудь провести. Редко когда собиралось столько поэтов «хороших и разных», находившихся в самой поре расцвета, как в начале 20-х годов. Гремел на всю страну Маяковский, шел к зениту славы Есенин, набирал известность Пастернак, печатался в «Правде» Д. Бедный, а в «Известиях» — В. Хлебников, завершал творческий путь Брюсов, начинал свою цветную тропу Багрицкий, писали стихи Ахматова и Цветаева, Мандельштам и Сологуб, Клюев и Асеев, звенели первые комсомольские поэты, перекликаясь с поэтами «Кузницы». Я нарочно разбрасываю имена в таком прекрасном беспорядке, он как раз и создает впечатление творческой наполненности тех лет. История позже каждому отведет надлежащее место, поднимет одних, опустит других, но, безотносительно к их дальнейшей значимости, все это были люди талантливые, своеобычные, со своим почерком и своим взглядом на жизнь. И вмешиваться в эту яркую среду, сразу отвоевав в ней прочное место, далеко не всякому было под силу. А Тихонову оказалось под силу!

Прежде всего «Орда» и «Брага» были мастерски составлены. Много лет спустя седой Тихонов в разговоре с одним молодым поэтом советовал ему отнестись к составлению первого сборника особенно внимательно. «Парадоксально, но хорошие стихи могут составить плохую книгу,— говорил Николай Семенович,— а плохие — хорошую. Я, конечно, несколько преувеличиваю, но схватите принцип... Предположим, у вас все стихи написаны в разных манерах и ваш характер, плохой или хороший, все равно, дробится в этих манерах, не давая читателю взять его целиком. Так сказать, «то флейта слышится, то будто фортепьяно». Все! Книги не получилось, поэт не состоялся... Представим другое: стихи, где нет «Валерика» и «Незнакомки», но которые в соединении рисуют новый поэтический характер, передают новый взгляд на жизнь. Книга получилась, поэт состоялся. Разумеется, здесь есть упрощение, на практике все сложнее, но принцип, на мой взгляд, верен». Этим принципом, может быть еще неосознанно, руководился молодой Тихонов, составляя свои первые книги. С одной многозначительной поправкой — стихи, включенные в них, были превос-

ходны! Мало того что читатель узнавал совершенно нового и необычного поэта — это узнавание закрепилось в его памяти отличными строками, образами, сюжетами.

В мощной и угрюмой поэзии Баратынского были разысканы первозданно-праздничные строки, определившие книгу нового бытия: «Когда возникнул мир цветущий из равновесья диких сил». Они легли эпиграфом к «Орде». И тут же орда событий, ставшая стихами, затопила эти строки. Какое уж там «равновесье», когда «сквозь малый камень прорастали горы, и в прутике, раздавленном ногою, шумели чернорукие леса»! Божественная динамика нового мира, где человек ощущает себя демиургом созидаемого, наполняет первую книгу Тихонова.

Стихи «Орды» и «Браги» похожи на скалы, покрытые цветами. Горные склоны весной представляют поразительное зрелище, над ними возносится красное, синее, лиловое полыханье. Такое же впечатление создается от тихоновских стихов. И как проступают из-под цветных ковров острые неприютные камни, так видятся за строками громыхающие события, вызвавшие их рождение.

По горным склонам, едва успевшим остыть после вулканического переворота, шагает, то подминая тяжелым башмаком легкие цветы, то наклоняясь, чтобы сорвать их раскрытые чашечки, «праздничный, веселый, бесноватый» герой. Мир его «прекрасен, горек и жесток», и такими же будут слова, которые будут рисовать его. Жизненным девизом встает предначертание: «Каждое желание простое освятить неповторимым днем». Оно проникает в строки, одухотворяет их высоким стремлением к прекрасному в замыслах, свершениях, поступках:

Мою душу кузнец закалил не вчера,
Студил ее долго на льду.
— Дай руку,— сказала мне ночью гора,—
С тобой куда хочешь пойду!

Конечно, это первые дни творенья. И конечно, только за своим демиургом может «куда хочешь» пойти вслед гора, а рощи будут «верны его топору». Эти стихи — романтическое обобщение биографии человека двух войн и двух революций. Но за этим романтическим обобщением встает реальнейший из реальных «Перекоп», который и дает право на дерзкие и смелые слова людям, испытав-

шим такие «перекопы» на десятках фронтов гражданской войны.

«Перекоп», открывающий «Брагу», с самого первопечатания стал классикой советской поэзии; образец политической и поэтической наполненности, он стал и образцом новой баллады.

Но мертвые, прежде чем упасть,
Делают шаг вперед —
Не гранате, не пуле сегодня власть,
И не нам отступать черед.

Нет, не злое молодечество «батальонов смерти», известных почти всем захватническим войнам, ведет этих непреклонных людей.

За нами ведь дети без глаз, без ног,
Дети большой беды.
За нами — города на обломках дорог,
Где ни хлеба, ни огня, ни воды.

Вся исстрадавшаяся страна за ними, весь огромный народ, отстаивающий свое право на жизнь без господ и бар. А раз так, то все сметающим шквалом встает:

Когда тысячи крикнули слово: «Отдай!» —
Урагана сильней оно.

Прекрасным завершением выглядят заключительные строки «Перекопа»:

Нам снилось, если сто лет прожить —
Того не увидят глаза,
Но об этом нельзя ни песен сложить,
Ни просто так рассказать!

И все же была сложена об этом сне песня, все же было рассказано о нем. Тот сон воплотился в великую явь движения народа к светлому коммунистическому будущему, а песню о нем сложил сам Тихонов.

Я все время говорю об «Орде» и «Браге» как об одном поэтическом целом. Их действительно объединяет общая лирическая настроенность, событийная основа, приемы письма. Но есть и существенная разница: «Брага» *определительнее* «Орды» по всем этим главным линиям.

«Орда» в решающих своих стихах открыто деклара-

тивна. Декларации зримы и вещественны, но события, встающие за ними, больше угадываются, чем просматриваются. В «Браге» события выходят на первый план, обобщения рождаются из их осмысления. Разрыв, ощущаемый в «Орде», преодолен соединением движения и фона, обоснования и вывода. Невероятная сила «Перекопа» именно в конкретизации события, легшего в его основу, и огромного обобщения, выросшего на этой сугубо реальной почве. В одном из впечатляющих стихотворений «Орды» («Над зеленою гимнастеркой...») война с белополяками угадывается лишь по единственной строчке. «Перекоп» самим названием бросает вас в событийную гущу. И обобщения приобретают в «Браге» еще больший размах, в «Перекопе» они опираются не только на опыт одного человека и даже целого поколения, а на опыт всего народа. В «Браге» события прояснены и конкретизированы в сравнении с «Ордой», где они чаще составляют эмоциональный фон. Конечно, такой фон говорил тогдашнему читателю куда больше, чем нам, и строки «Посмотри на ненужные доски — это кони разбили станки» воспринимались им как обобщение, но уже рождалась потребность в его реальной расшифровке. И «Брага» такую расшифровку приносила, начиная с первого же своего стихотворения.

Приемы письма в «Браге» тоже определительнее. Громкую известность Тихонову снискали его знаменитые баллады. Их успех определили качества, столько же относившиеся к поэзии, сколько к жизни, родившей ее. Баллада — «скорость голая» — возникла в советской поэзии не повторением прежних образцов, а совершенно новым явлением. Впитав в себя стремительные ритмы событий, обгонявших время, тихоновская баллада усвоила лаконизм сообщения о них, свойственный революции. «Фабрики — рабочим, землю — крестьянам, мир — народам» — что может быть короче этих формул, а вместимость их необъятна, Великий Октябрь шел с ними к победе. Тихоновская баллада отвечала представлениям читателя о времени, в котором он жил, и это стало одним из важнейших условий ее успеха.

Новое содержание было слито с безудержными ритмами тихоновской баллады. Кровавая, жестокая, беспощадная жизнь выдвигала железных людей, шедших через нее резкими шагами. Показательно, что в лучших

балладах Тихонова — «Перекоп», «Баллада о синем пакете», «Баллада о гвоздях» — мы оказываемся перед лицом массового героизма, индивидуальность входит в него составной частью. «Перекоп», конечно, апофеоз такой массовой героики, но «Баллада о синем пакете» производит сильнейшее впечатление не одним только яростным сюжетом, а сцеплением самоотверженных поступков в одно героическое целое, одухотворенное краснозвездной идеей. «Баллада о гвоздях» с ее знаменитой концовкой —

Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей,—

опять-таки манифестация героизма морского экипажа. А этот героизм вырастает, в свою очередь, в героику всей эпохи.

Примечательна еще одна особенность первых книг Тихонова. Смело вторгается в поэзию революционная новь освобожденных и освобождаемых народов. Освобожденных — где «форпостом трудолюбия красуется Армения» — и освобождаемых — где индус ненавидит слово «гнет» и афганец меткой пулей сбивает разбойничьего английского пилота.

Кульминацией этой темы стала маленькая поэма «Сами» — впечатляющая история об индийском мальчике, рабствующем у жестокого сагиба-англичанина. Имя Ленина, услышанное мальчиком «в глубине амритсарских лавок», открывает ему мир без гнета и насилия. Сами рвет рабские путы, в нем рождается человек, и «никогда его больше не ударит злой сагиб своим жестким стеком».

Поэма была написана еще при жизни великого вождя революции и по праву вошла в начальную строку, открывающую нашу замечательную Лениниану. «Сами» — поэма балладного характера. Она замыкала сюжетные стихи, составлявшие стержень первых тихоновских книг. Поэма по значению и задачам, баллада по поэтическим признакам, «Сами» носила все качества новаторского произведения, открывая в советской поэзии антиколониальную линию, натвердо спаянную с ленинской идеей.

Еще раз стихи Тихонова обогнали его реальную биографию. Пройдут годы, поэт приедет в Индию посланцем страны Ленина, и миллионы таких вот Сами, навеки

сбросивших колониальный гнет, протянут к нему дружеские руки.

Ни одна тема в поэзии не исчерпывается до дна, ни одна ее линия не заканчивается точкой — все находит дальнейшее раскрытие и продолжение. Но это относится ко всей поэзии в целом. Что же касается отдельных поэтов, здесь дело обстоит по-другому. С «Ордой» и «Брагой» Тихонов исчерпал для себя возможность начала, надо было думать о развитии.

Начало оказалось взрывчатым, и Развитие предощущалось не переходом, а скачком на новую ступень. Оба понятия я пишу с заглавных букв, ибо речь идет о генеральных свершениях большой поэзии. Необходимость скачка, а не перехода определялась опять-таки характером времени, когда на всех материках переворот следовал за переворотом, а в Советской стране новые, революционные преобразования охватывали все стороны народной жизни. Данная через несколько коротких лет оценка Маяковским Тихонова как «талантливейшего из ленинградских лириков» весьма многозначительна. В Ленинграде тогда было немало ярких поэтов, и Маяковский выделил из них Тихонова не за одну поэтическую одаренность. Несомненно, революционное содержание, да и не только содержание, а революционная потенция тихоновской поэзии играла в этой оценке серьезную роль.

Итак, не переход, а скачок, и он дался Тихонову, но не сразу и не легко. Оголенная четкость «Орды» и «Браги» сменяется намеренной усложненностью новых стихов. Иногда такая усложненность выглядит совсем уж чрезмерной, и читатель начинает смотреть на стихотворение как на шахматный этюд, рассчитанный на гроссмейстеров. Такое отталкивание от прежде найденных образцов характеризует, конечно, перспективную силу поэта. Он бросает однажды найденное под ноги продолжателям и подражателям, а сам ищет новые пути. «Поиски героя», как называлась третья книга Тихонова, это и поиски самого себя на этих новых дорогах.

В чем причина той чрезмерной усложненности некоторых тихоновских стихов, о которой я только что говорил? Видимо, в том, что поиски средств выражения опережают поиски самой действительности. Это несоответствие приводит к разъединению субъективного с объективным, прочно слитым в других случаях.

Где только не ищет в ту пору Тихонов свои дороги, своего героя, самого себя! Поиски осложняются тем, что разыскиваемые дороги должны быть не только своими собственными, но и дорогами времени. Герой должен стать не только тихоновским героем, а героем эпохальным. Самого себя, оставаясь тем же и вырастая совсем в иного поэта, найти еще труднее.

Теперь, по прошествии лет, видно, что поиски удались. Удались они не в этой книге, иначе бы она носила другое название. Поиски определили рождение главного героя тихоновской поэзии, в полный рост поднявшегося в следующей книге — «Юрге». Это герой страны победоносного социализма. Но обратимся сперва к самим поискам.

Поиски идут на севере и на юге — так и называются разделы сборника. Карелия и Кабарда, финский праздник и Кавказские горы — здесь проходит поэт, сравнивая и сопоставляя, удивляясь и удивляя.

Поиски идут в «городском архипелаге», казалось знакомом до последнего переулка, а на самом деле открываемом заново.

Поиски идут в воспоминаниях о первой войне, о революционной Латвии, о литературных началах.

Поиски идут за рубежами страны, где Тихонов еще не бывал, но видит и угадывает больше, чем люди, живущие там годами.

Не на случайный час,
Но пущенный с уменьем,
Кружился в головах у нас
Волчок воображенья.
Когда нам говорили: «Вот
Смотрите: вьется птица»,—
Нам было ясно: время врет,
Лишь клюв и перья выдает
За целую синицу.
Мы сами строили синиц
В запальчивости нашей,—
До сих пор живут они,
Ногами в драках машут.

Нет, они не только «ногами машут», но и пробуют поджигать море. И порой это у них здорово получается! Ведь такие стихи, как «В Карелии», «Тишина», «Гулливер играет в карты», «Избиение трутней»,— это впрямь

море поэзии. А зажигает его точный и жгучий взгляд человека, в каждом факте видящего явление.

Стихи Тихонова приобретают политическую остроту злободневности — он обращается к фактам, кричащим со страниц газет, поэтически трансформируя и обобщая сухую информацию. «Ночь президента», может быть, лучшее из стихотворений такого рода. Герой в конфликтной ситуации 20-х годов, наполненной яростными классовыми схватками, немыслим без антигероя. Поиски на одном полюсе приводили к находкам на другом, и президент буржуазной Эстонии Аккель, с гневным сарказмом рисуемый в стихотворении, становится одним из самых выпуклых и ярких антигероев тихоновской поэзии. Она в эти годы все больше становится классовой, рассматривая явления «с точки зрения диктатуры пролетариата», по известным словам Ленина. В поисках самого себя, сопровождавших поиски героя, выработка классовых оценок сослужила Тихонову в дальнейшем хорошую службу, утвердив в нем раз и навсегда мировоззрение поэта страны строящегося коммунизма.

«Поиски героя» — интересный и сложный раздел творчества Тихонова. Это как бы здание в лесах с еще не возведенными, но спроектированными этажами. Причем стройка экспериментальная — пробуются новые материалы: один раствор не годится, возьмем другой, кирпичи заменим железобетоном, а может быть, испытаем нечто совсем иное и небывалое. Поэзия проверяется законами прозы, а проза поэтизируется, композиция то сжимается в тесную колоду, а то вдруг рассыпается разрозненными картами.

Сам поэт весьма жестко потом оценил некоторые из этих опытов как «словесные джунгли». Но в них он торил собственную, никем до него не пройденную тропу, и она вывела его на широкую и прямую дорогу.

Подчеркнем, что потеряться в подобных джунглях он ни в коем случае не мог — слишком точные ориентиры стояли у него на виду и стоило раздвинуть ветки, чтобы определить путь по знакомым созвездиям. Таким созвездием была поэма «Лицом к лицу», посвященная Ленину. Она создавалась в 1924 году и вместе с поэмой Маяковского «Владимир Ильич Ленин» открыла чреду эпических произведений, входящих в советскую и всемирную Лениниану. «Как буря простой человек» ведет револю-

цию к победе — таким вставал великий вождь трудящихся перед мысленным взором поэта.

«Поиски героя» естественно и закономерно переходят в «Юргу». Естественно и закономерно потому, что поэт здесь шел вровень с событиями. Страна нашла своих героев в людях первой пятилетки, и Тихонов увидел их вместе со страной. Увидел он их в туркменских барханах, у колодцев Ширама, куда выехал в 1930 году, возглавляя писательскую бригаду. Там был им создан цикл «Юрга», вошедший в классику советской поэзии.

И — по коням... И странным аллюром,
Той юргой, что мила скакунам,
Вкось по дюнам, по глинам, по бурым
Саксаулам, солончакам...
Чтобы пафосом вечной заботы,
Через грязь, лихорадку, цингу,
Раскачать этих юрт переплеты,
Этих нищих, что мрут на бегу.
Позабыть о себе и за них побороться,
Дней кочевья принять без числа —
И в бессонную ночь на иссохшем
колодце
Заметить вдруг, что молодость прошла.

Удивительно красивые стихи! Такие же, как «Цинандали» в следующем, кахетинском цикле. Но здесь сжимает горло «пафос вечной заботы», оборачивающийся «бессонной ночью на иссохшем колодце»... Мало того что перед вами героика — это прекрасная героика! Помню, как мы — Михаил Кульчицкий, Николай Майоров, Павел Коган — наизусть читали эти стихи в продымленной комнате... С ними мы проходили не только очередную ступень отечественной поэзии, но и школу советской героики.

«Стихи о Кахетии» вплотную примыкают к «Юрге». Это уже поэзия победившего социализма. Тон стихов праздничный, приподнятый, бурлящий. Стремительная, ликующая жизнь мчится по стихам: «Будто гонит с нами рядом тень вселенной налегке». И вместе с хлопководами, виноделами, шоферами, охотниками, равный среди равных людей труда, идет «поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой» автор великолепных строк. Трудно удержаться, чтобы хоть выборочно не процитировать один из тихоновских шедевров — «Цинандали». Само-

характеристика, приведенная нами, одна из самых точных и объемных. Таким поседелым и молодым остается Тихонов и до сих пор. Но вспомним стихи:

...И струился ток задорный,
Все печали погребал:
Красный, синий, желтый, черный
По знакомым погребам.

Но сквозь буйные дороги,
Сквозь ночную тишину
Я на дне стаканов многих
Видел женщину одну,

Я входил в лесов раздолье
И в красоты нежных скал,
Но раздумья крупной солью
Я веселье посыпал.

Потому, что веселиться
Мог и сорванный листок,
Потому, что поселиться
В этом крае я не мог.

Потому, что я прохожий,
Легкой тени полоса,
Шел, на скалы не похожий,
Не похожий на леса.

Я прошел над Алазанью,
Над волшебною водой,
Поседелый, как сказанье,
И, как песня, молодой.

В «Тени друга» советская поэзия 30-х годов заново открывала зарубежный мир. В 20-х годах нашим Колумбом был Маяковский. Великое противостояние, объявленное им: «У советских собственная гордость: на буржуев смотрим свысока» — продолжало действовать и теперь, но историческая обстановка резко изменилась. Мир встал накануне открытой борьбы с фашизмом, который уже взял власть в Германии, обрушился на беззащитную Абиссинию, поднял франкистский мятеж в Испании. Пытливый взгляд поэта-философа ищет причины будущих катастроф в недавней истории Европы. Он видит их в классовой природе общества. Фашизму, перешедшему в наступление, преграждают путь народные массы. Потом они будут преданы своими правителями, но пока в Париже

Литейщики, пилоты, слесаря
Сливали свой товарищеский говор,
И песни их, точнее хрусталя,
Сменяла буря стали лозунговой.

Но вещая тревога уже свила гнездо в душе поэта, и стихи о форте Дуомон словно предвещают трагическое поражение Франции в 1940 году:

Нет, не хотел бы надпись я прочесть,
Чтобы в строках, украшенных аляпо,
Звучало бы: «Почтите мертвой честь —
Здесь Франция стояла! Скиньте шляпу!»

Многими тысячами жертв заплатила прекрасная страна за предательство петенов и лавалей.

Тихонову ни на мгновенье не изменяет исторический оптимизм, и «Статуя самофракийской победы», «У маяка», «Возвращение», наконец, весь этот напряженный поэтический цикл проникнуты утверждающим победоносным чувством.

Угасает запад многопенный,
Друга тень на сердце у меня,
По путям сияющей вселенной
Мы пройдем когда-нибудь, звеня.

Участник Парижского конгресса в защиту прогресса и мира, вдумчивый свидетель нарастающих событий, борец и поэт возвратился из-за рубежа с тенью друга на сердце. Этот Друг в предстоящей великой войне стал героем Сопротивления вместе с советским солдатом, сломившим хребет фашизму.

А большая война уже была на пороге. К ней Тихонов пришел через преддверие финской кампании, отразившейся в его книге «Палатка под Выборгом». Но вовсю развернулся мужественный тихоновский талант в жестокую блокадную пору, в годы Великой Отечественной войны. В ноябре 1941 года Тихоновым была создана поэма «Киров с нами». Впечатление от ее публикации было огромным. Ее читали солдаты на всех фронтах от Баренцева до Черного моря. Ее твердили наизусть в глубоком тылу. Для всех она стала живым свидетельством несгибаемой воли ленинградцев. Дочитав поэму до конца, каждый заново убеждался: «Врагу в Ленинграде не бывать!» И снова повторялись слова: «Пусть наши супы

водяные, пусть хлеб на вес золота стал, мы будем стоять, как стальные, потом мы успеем устать». А в советскую классику вошли строки:

Домов затемненных громады
В зловещем подобии сна,
В железных ночах Ленинграда
Осадной поры тишина.
Но тишь разрывается воем —
Сирены зовут на посты,
И бомбы свистят над Невою,
Огнем обжигая мосты.
Под грохот полночных снарядов,
В полночный воздушный налет,
В железных ночах Ленинграда
По городу Киров идет.

Счастье познакомиться с Тихоновым мне выпало именно в те годы. Знакомству предстояли различные обстоятельства, и, выпади хоть одно из них, ему бы не состояться. Наша 2-я Ударная армия прорывала блокаду со стороны Волховского фронта. Я работал тогда корреспондентом-организатором армейской газеты «Отважный воин». Газета Ленинградского фронта «На страже Родины» все время посылала к нам своих лучших сотрудников. Они должны были рассказывать Питеру о наших боях за город. Среди них наиболее желанным для меня был Сократ Кара-Демур. Эту редкостную фамилию, напоминавшую восточный титул, носил молодой офицер, стройный, подтянутый, ясноглазый. Да, ясноглазый, хотя глаза у него были темные, а это редко сопрягается с ясностью. Но душа у Кары, как я звал своего нового знакомца, была такая прозрачная, что глаза перенимали это качество. Был он несколькими годами старше меня, но это не мешало установившейся дружбе, хотя придало ей некоторый путеводительский оттенок, очень помогший мне в дальнейшем. По национальности Кара был курдом. Он любил называть себя последним огнепоклонником и в порядке самохарактеристики цитировал определение старого энциклопедического словаря: «Курды злы, мстительны и жестоки». Нечего говорить, что он был прямым опровержением этих качеств. Удивительно доброжелательный человек был Кара. Его доброжелательность распространялась на мои стихи, которых я сочинял тогда без счета. Поэзию он знал превосходно, и я до сих пор подозреваю, что когда-то стихи ему тоже бы-

ли сродни. Естественно, в наших разговорах мы касались всего круга тогдашних поэтических проблем. Война их выдвигала в не меньшем объеме, чем мирное время. Со мной всегда был однотомник Николая Тихонова, изданный лет за пять до войны. Я помнил из него наизусть сорок стихотворений, не считая отдельных строк. Кара знал Николая Семеновича по Ленинграду и часто рассказывал о нем. В его словах передо мной вырастал тот рыцарь без страха и упрека, который лишь подтверждал сложившийся в воображении облик. Многие поэты мне были знакомы к тому времени, но Тихонов выделялся среди них заманчивостью своей военной биографии, солдатской прямизной, целенаправленностью. А эти качества в 1943 году ценились особо. Я уж ничего не говорю о стихах, тот факт, что столько тихоновских строк я знал на память, говорит сам за себя.

После прорыва блокады, в начале лета сорок третьего года армию перевели под Ленинград. Редакция разместилась у Колтушей, где я, кстати сказать, познакомился с вдовой И. П. Павлова. До Питера здесь было рукой подать, и мы, молодые офицеры, пока армия стояла на отдыхе, пользовались каждой возможностью, чтобы побывать в городе над Невой. Во время поездок чаще других меня привечал у себя Кара, живший тогда на Садовой. Я не раз у него останавливался, жил, ночевал. Большое участие во мне приняла Маша Шувалова, работавшая тогда в «Ленинградской правде». Ей стал я обязан первым появлением своих стихов в ленинградской печати. Она же помогла вместе с Карой моему знакомству с Тихоновым.

Оно было не то что труднодоступным, а трудноустраиваемым. Я приезжал в Ленинград на считанные дни, иногда часы, а Тихонов, разумеется, жил по своему военному расписанию: то он в городе, то на фронте, то на флоте. Но наконец давно задуманная идея воплотилась в жизнь: телефонный звонок — и мы трясемся в храбром ленинградском трамвае мимо домов, облюбованных немецкими снарядами, на Зверинскую улицу. И вот дом, известный по тихоновским стихам, где «балконы, как метафоры, висят над головой». Этажей я тогда не замечал и до сих пор никак не вспомню, на каком из них была заветная квартира.

О Тихонове у меня сложилось представление по порт-

рету, открывавшему однотомник. Там был изображен человек лет сорока, сильный, полнокровный, цветущий. Теперь я не отрываясь смотрел на живого Тихонова. Блокада словно резцом прошлась по его лицу, и резец оказался беспощадным. Ниже скул пришлись самые сильные удары, и щеки ввалились под косым углом. Четко очертился крутой подбородок. Худоба Николая Семеновича в блокадном Ленинграде никого удивить не могла, и все же мне показалось, что она перешла допустимые пределы. Тихонов был в армейской гимнастерке с подполковничьими погонами, перепоясанной офицерским ремнем с портупеей. По кавалерийской привычке он слегка сутулился, и грудь его из-за неимоверной худобы показалась мне вогнутой, а не выпуклой. Ранняя седина не старила его, но вносила в его облик контрастную неповторимость. Как я сейчас прикидываю, Тихонов выглядел много моложе тогдашних своих сорока шести лет. Блокада тому, кто пережил ее, на короткое время сбрасывала годы. И Тихонов выглядел молодо.

После взаимного представления и коротких расспросов, кто, откуда, давно ли пишу, Николай Семенович попросил прочесть стихи. Прошло тридцать с лишним лет, а я до сих пор помню невероятное напряжение, пережитое мной. Кресло против кресла — и прямо передо мной полыхает голубой пламень требовательных тихоновских глаз. Я читал самозабвенно, целиком уйдя в стихи, и, наверное, показался с лучшей стороны. Во всяком случае, подпись Тихонова на однотомнике оказалась оглушающе хороша. Она меня поддерживала всю войну, да и спустя долгие годы остается одной из самых заметных оценок моей поэзии.

С тех пор я стал постоянным гостем тихоновской семьи во время своих наездов в Ленинград. Слова вечной благодарности направляю я Марии Константиновне, жене и подруге поэта, привечавшей молодого офицера в те далекие годы. Недавний уход ее из жизни был тяжел и горек для всех, знавших ее. Добром вспоминается Шура, моя ровесница, ставшая потом домоправительницей, а тогда помогавшая Марии Константиновне по хозяйству. Самым теплым местом в квартире была, естественно, кухня, и там, под неумолчный стук метронома, велись за полночь беседы. В них часто вмешивался хозяин дома. Из его рассказов можно было бы соста-

вить книгу не менее интересную, чем «Вечный транзит». А это книга удивительная! Человек, узнавший о горьковской оценке тихоновской прозы, именно с этих рассказов должен начать с ней знакомство. Сам я прозу Тихонова, как ни странно, прочел раньше стихов. Это объясняется тем, что ему принадлежит повесть «Вамбери» — о знаменитом венгерском путешественнике по Средней Азии. Я ее прочитал в детстве, а к «Балладе о синем пакете» пришел только в юности. «Вечный транзит» поражает цветной россыпью сюжетов, неожиданностью фабульных поворотов, великолепной выдумкой. «Клятва в тумане», «Река и шляпа», «Анофелес» — отличная новеллистика, и, раз принявшись за чтение, вы не оторветесь от книги. Здесь в основе лежит мастерство Тихонова-рассказчика. Рассказчик он природный, на ходу пронизывающий сюжетом сырой материал. Известна классика грузинского застолья. Тамада каждый раз готовит новый сюжет-шампур, на который нанизывает сочные куски своей великолепной выдумки. Тихонов в устных рассказах, которых мне пришлось выслушать немало, твердо держится реальных фактов, но они всегда у него выстраиваются в новеллистической последовательности.

В те времена все новые стихи я приносил на суд Тихонова и по праву могу его считать своим учителем. Вниманием Николая Семеновича пользовались, естественно, и другие молодые поэты, в первую очередь мой фронтовой товарищ Георгий Суворов. Спустя двадцать лет после его трагической гибели под Нарвой Тихонов сердечно вспомнил о нем в очерке, включенном в книгу «Двойная радуга». Георгий был влюблен в Тихонова беззаветно, даже умирая на койке в медсанбате, твердил его имя. Вообще Тихонов среди молодых поэтов-фронтовиков пользовался безграничным авторитетом. Михаил Дудин, наверно, до сих пор помнит, как мы восхищались тихоновскими стихами, читая их наизусть в полупустом блокадном Ленинграде.

Война шла своим путем, а мы были тогда людьми войны. Мою армию перебросили на Ораниенбаумский плацдарм. В январе 1944 года она вместе со всем Ленинградским фронтом окончательно освободила от блокады город на Неве. А там мы пошли по балтийскому побережью вплоть до Нарвы. С Тихоновым я встретился ле-

том того же года, когда мне дали побывку в Москву. Николай Семенович уже переехал туда из Ленинграда. На улице Серафимовича возобновились наши встречи, продолжались они и по окончании войны, когда я демобилизовался из армии. Тихонов отредактировал мою первую поэтическую книгу «Костер», которую я выпустил в 1948 году.

Начиная со знакомства в блокадном Ленинграде и по теперешние дни все, что совершалось Тихоновым, происходило на моих глазах. За всем, что он делал, я следил уже заинтересованным взглядом близкого человека. Не имело значения, что одни события развертывались рядом со мной, а другие протекали в отдалении. Я хорошо помню, например, возвращение Тихонова из Югославии и чтение им в товарищеском кругу первых стихов из ядранского цикла. Много позже, сам побывав на Адриатике, я вспомнил эти строки:

Все беды, что я переспорил,
Все битвы, где шел невредим,
Ядранское старое море
Омыло весельем своим.

Кипящее, как новоселье,
Одетое пеной седой,
Так вот оно — наше веселье
Славянского спора с бедой.

Им пенятся снова кувшины,
С ним снова возы тарахтят,
И песни с размахом орлиным
Под новые звезды летят.

Кипящее это веселье —
Зеленый и каменный гром
Со дна боевого ущелья,
Всей жизни ночной бурелом.

Многие события проходили, конечно, вне моего участия, но все равно я воспринимал их со всей глубиной душевной близости. Я радовался успеху его «Грузинской весны» и «Двух потоков» — книг о братстве народов, окрыленных идеей мира. Кстати говоря, этой великой идее Тихонов посвятил всю свою послевоенную деятельность. Поистине символично, что именно его, солдата четырех войн, избрали председателем Советского комитета защиты мира. Кому, как не ему, знакомы

бедствия войны и кому, как не ему, бороться за мир во всем мире!

Шли и шли годы. Все больше тихоновских книг выстраивалось в ряд на моих книжных полках. Все больше почетных отличий получал их автор, вряд ли стоит их перечислять, они известны всем, да и самым высшим отличием поэта будет его талант. А он не меркнет!

В мою жизнь, в биографию поколения, в живую историю великой Советской страны ярчайшим явлением навсегда вошел «поседелый, как сказанье, и, как песня, молодой» Николай Семенович Тихонов.



С ЕЕ СТИХАМИ



Многое в моей жизни значил Крым. Самая ранняя память тихими вспышками освещает неимоверно далекий год. Ведь я помню себя трехлетним... В 1923 году у мамы оказались затронуты легкие, и ей выхлопотали путевку в южный санаторий на поправку. Он находился в Симеизе, и вот, вместе с маленьким сынишкой, молодая москвичка отправилась в путь. Тогда это действительно был путь, и в Харькове к поезду прицепили теплушку с пулеметной командой. По украинским степям еще гуляли банды, и военное сопровождение вынуждалось необходимостью. Мама вывела меня на перрон, где красноармейские богатырки с широкими пятиконечными звездами и длинные шинели со знаменитыми «разговорами» стали моим первым воспоминанием по дороге в Крым. Вторым стало море, опрокидывающееся из-за Байдарских ворот, куда на полном ходу вылетела наша машина. Впечатление моря, похожего на синюю стену, валящуюся сверху на нас, удержалось на всю жизнь. Машина была открытая, и вслед за синим морем поглотили взгляд алые маки на придорожном склоне. Потом приключилась авария, у машины соскочило колесо — и мы чуть было не загремели под откос. Это было тоже интересно, опасность я еще не умел представить и с любопытством наблюдал ее отражение на лицах взрослых.

В санатории нас поселили вместе с одной из наших попутчиц в поезде и машине. Она приехала в Крым с девочкой, моей сверстницей. Детей — ее и меня — однажды сфотографировали вместе. Пожелтевшую любительскую карточку много лет спустя мне показала мать моей дочери. «Вот где в первый раз мы встретились». Так что Крым в моей биографии впрямь значил многое.

В глубокой неразличимой мгле солнечные лучи выхватывают зеленые лужайки. На этих островках памяти все тщательно прорисовано и умыто прохладной утренней росой. Помню на желтых дорожках парка себя, повторяющего волшебную формулу «Сережа хороший мальчик». Говорил я о себе в третьем лице, видимо не решаясь разрушить ткань прекрасной фразы, услышанной от взрослых. Я был важным мальчиком, и самоуважение переполняло меня, как неизбежный утренний стакан, налитый всклень теплым молоком. Молоко было козье, вкус у него был отличный от коровьего, более острый, и это сперва не нравилось, а потом мы с мамой привыкли к нему, только подавай.

Загадочной картинкой встает точильщик, поставивший свое точило на прибрежных камнях. Почему именно там? Рядом был кухонный флигель, как после объяснила мама. Но отчего задержалась более чем на полвека в памяти задорная фигура мастерового? Веселые искры из-под лезвия, сверкающего на солнце,— вот, наверное, отгадка. Труд тоже представал перед мальчиком в праздничном облике.

Из таких бликов и вспышек, освещавших разрозненные картинки, сложилось воспоминание об этом далеком годе. Память, конечно, ранняя: наш приезд в Крым означен мартом 1923 года и, значит, мне тогда было три года пять месяцев. Но и это не предел. Рубеж сознания у меня еще дальше. Раскачивающийся вагон, освещенный путейским фонарем, а в его колеблющемся свете — лежащие вповалку на полу мужики и бабы. Человек в солдатской шинели что-то кричит, показывая на меня, и я, не зная, угроза в этом крике или сочувствие, крепче прижимаюсь к отцу, держащему меня на руках. Это теплушка 1921 года, наш переезд из Нижнего Новгорода в Москву. Мне тогда меньше двух лет, а точнее — год восемь месяцев. Трудно поверить, но факт остается фактом. Вспомните Толстого, он помнил, как его пеленали.

Скажут, эк куда хватил, Толстой... Но память, как известно, не дает патента на гениальность. Просто одно из свойств человеческой психики, и у одних оно развито лучше, а у других хуже.

Вся присказка с Симеизом станет понятной, если я покажу детей, снятых на любительской фотографии 1923 года, спустя семнадцать лет. Теперь это юноша и девушка. Они не росли вместе, крымский эпизод мог так и остаться эпизодом, не получившим продолжения. «А кто это рядом с тобой, Нина?» — «Так, какой-то мальчик». Впрочем, их родители были знакомы. Отцы служили в одном учреждении, матери изредка встречались. Но семья девочки катастрофически распалась. Рано умерли отец и мать, она осталась на руках тетки.

Судьба свела выросших детей в одном вузе, на одном факультете. Только отделения оказались разными. Он учился на филолога, она — на искусствоведа. Познакомились на одной из студенческих вечеринок. Стали делиться недолгими воспоминаниями. Влюбленности сопутствует радость совпадений. «Я люблю Лермонтова».— «Я тоже».— «Я люблю коньки».— «Я тоже».— «Я не переношу анекдотов».— «Я тоже». Обнаруженная в старой папке фотография показалась знаком судьбы. Символическим и предопределяющим. Оставалось снова взяться за руки, как семнадцать лет назад.

Вместе поехали в Крым. Сошли в Бахчисарае, по горной дороге направились к Яйле. На Ай-Петри в безлюдном ресторане подняли бокалы за свое обручение. По сосновой крутизне спустились к морю. Пытались в Симеизе найти детские воспоминания. Санаторий показывался то здесь, то там... Кажется, нашли!

До сих пор шли пешком, на Южном побережье стал помогать автотранспорт. Алупка, Ялта, Алушта, Судак. В те благословенные времена везде можно было достать гостиничный номер. Без заказа, звонков, важных документов. В Алуште встретили Левку Когана, своего ифлийского приятеля. Он стал нашим попутчиком. В Судаке задержались, а Лев поехал в Старый Крым. Оттуда телеграмма: «Захворал, нахожусь в больнице». Сразу снялись, помчались следом. Лева уже выздоравливал. Уговорились встретиться в Коктебеле. Возвращаясь от товарища, попали под яростный летний ливень. Броси-

лись в первое попавшееся парадное. Огляделись. На двери вывеска: «Загс».

«Вот это и называется судьбой»,— сказал мальчик. Девочка наклонила голову. До сих пор она возражала против официального закрепления их объятий: «Нам и без того хорошо». Но тут судьба прямо-таки навязала несколько шагов до стола с зеленой клеенкой, откуда они ушли с влажными печатями в развернутых паспортах. Регистрация браков до войны происходила быстро, решительно, без оглядки.

А потом через армянский монастырь, в котором тогда шумел пионерлагерь, лесной дорогой в Коктебель.

Мальчик познакомил свою юную жену с Марьей Степановной Волошиной. Та сумела подчеркнуть торжественность момента, поместив молодую чету под бюстом Таиах, египетской царицы, освещавшей своей улыбкой волошинскую мастерскую.

Какое это было счастье — пробуждаться от первых солнечных лучей в Доме поэта! Откроешь ставни — и утреннее солнце побежит вверх по портретам и пейзажам, по книжным полкам, до высокого потолка. Вслед за солнечным лучом взбежишь по лестнице на верхнюю террасу — и дымное серо-голубое море бросится тебе навстречу. Налево мыс Хамелеона и полынные холмы, на одном из которых могила Волошина. Направо Кара-Даг, Святая, Сурюк-Кая — три горных коктебельских дива. И какая радость показывать, называть, объяснять знакомые тебе приметы милому и нежному человеку, прижавшемуся к твоему плечу.

В огромной библиотеке Волошина я нашел маленькую книжку, открывшую мне новую правду о моей подруге.

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.
В песок зарывала пестрое платье,
Чтоб ветер не сдул, не унес бродяга,
И уплывала далеко в море,
На темных, теплых волнах лежала.

Когда возвращалась, маяк с востока
Уже сиял переменным светом
И мне монах у ворот Херсонеса
Говорил: «Что ты бродишь ночью?»

Ахматовские стихи передавали ощущение чужой юности на том же море, на том же берегу. Нас разделяли триста верст и двадцать пять лет. Но чужая юность становилась нашей, когда я глядел на низкий коктебельский берег, когда переходил, огибая Кара-Даг, из бухты в бухту, когда смотрел в глаза своей «дерзкой, злой и веселой» девочке. Не сверяясь со стихами, но так же, как в стихах, она зарывала в песок пестрое платье, перед тем как мы заплывали. И мы лежали на темных и теплых волнах и даже в море держались за руки.

Черты раннего ахматовского портрета тоже напоминали черты подруги. Впрочем, тогда я узнавал их всюду — в волнах, облаках, скалах. Первое найденное соответствие вызвало другие, третьи... Ахматовские стихи сопровождали нас не только на крымском берегу, а в дальней дали — на московских порогах и улицах, на ленинградских площадях, на российских просторах. Сопровождали и тогда, когда довоенный Крым стал зыбким фантастическим видением, когда над землей загрохотала война, когда мальчик и девочка, безвозвратно повзрослев, оттолкнулись друг от друга. И здесь чаще всего приходили на ум горькие строки:

Не тайны и не печали,
Не мудрой воли судьбы —
Эти встречи всегда оставляли
Впечатленье борьбы.

Но это долго после. А пока, держась за руки, как семнадцать лет назад, они шли по предвоенному бытию. В Москве их встретили удивленно и обрадованно. Так обычно встречают первые студенческие браки. Случилось в шутку, а потом всерьез заняться... Долго приискиваю окончание фразы. Пожалуй, лучше всего, без оглядки, с бухты-барахты: заняться рожденьем новой поэтессы. Нина стихов не сочиняла. Почему бы не сочинить за нее? Тем более что нужно перетащить ее из ИФЛИ в Литинститут, куда без стихов не принимают. На первых порах нам в этом помогал близкий товарищ, но вскоре отстал, видя, что дело идет и без него. А мы,

подогреваемые неугасшим жаром давних мистификаций от Клары Газуль до Черубины де Габриак, стали, хохоча, разыгрывать веселую игру. Что двигало нами? Молодость и беззаботность. Ведь основным мотивом перехода из ИФЛИ было отсутствие стипендии, которую перестали выдавать Нине, получившей в новобрачной кутерьме две тройки на зимней сессии.

Очень многим заморочили мы голову. По принятому обычаю новая поэтесса стала читать стихи для знакомства и оценки старым поэтам. Ни одному из них не было тогда пятидесяти, но нам они казались людьми преклонного возраста. Асеев, Сельвинский, Луговской, Кирсанов... Кстати говоря, последний, совсем незадолго до смерти, остановил меня в ЦДЛ и, заговорщицки щурясь, сказал: «А я, знаете, разыскал в давних папках стихи той поэтессы. Ну, знаете, за которую вы сочиняли». Седым одуванчиком склонил он голову набок, плутовски поглядывая на меня. Семен Исаакович любил подобные кунштюки, и, когда мистификация пришла к завершению, ему, одному из первых, я сообщил об истине.

Стихи поэтессы нравились, она безо всякого труда была принята в Литинститут. Надо подчеркнуть, что творческий ее образ, по нашему замыслу, вырастал из действительного облика двадцатилетней искусствоведки, экскурсовода, гида. Конечно, приходилось писать с учетом ахматовской и цветаевской поэзии, но чаще отталкиваясь от них, а если приближаясь, то с необходимой корректировкой. Почему я говорю «мы», ведь Нина стихов не сочиняла? Да потому, что каждая строфа, а то и строка выверялась на слух вместе с ней, ее интонация сквозила в любом стихотворении, написанном от лица поэтессы. Для примера приведу одно из наиболее часто читавшихся стихотворений:

В ТРЕТЬЯКОВКЕ

Ну, что мне делать неприрученной,
Когда опять вести поручено
Два коллектива брадобреев
По Третьяковской галерее.
И я веду свою экскурсию
По удивительным по залам,

Где запорожцы пишут в Турцию
И где грозят еще хазарам.
Где вырублены и где срублены
Хлыстовским срубом рамы Врубелевы
И где горят его полотнища,
Как изуверовские огнища.
И вдоль стрельцов, и вдоль Березова,
Где за боярыней Морозовой
Глаза бабенок черномазых
Предвосхищают Карамазовых.
Где в праславянскую Америку
Играют Рюрики у Рериха,
Где размалеванной малявою
Кружится красный холст Малявина.

Я объясняю и распутываю,
Устану за день и, расслабленная,
Лаврушинским. В Московский март.
В распутицу,
Где краски красочней прославленных.

Сверстникам новая поэтесса тоже пришлась по душе. Данин (он представлял тогда молодую критику) безудержно хохотал над строками «где в праславянскую Америку играют Рюрики у Рериха». Павел Коган, поругивая некоторую легкомысленность стихов, одобрительно отзывался о самостоятельности почерка поэтессы. Кульчицкий свое отношение выразил в одной фразе: «Нашего полку прибыло».

Стихи поэтессы чуть было не прорвались в печать. Они были набраны в одном из журналов, но в последний момент номер переверстали и стихам не нашлось места. А там — война. Война разбила, перевернула, искалечила столько судеб, что разрыв между двумя молодыми людьми вряд ли мог остановить внимание. А впрочем, черт его знает... Драма не перестает быть драмой, даже если она включена в трагедию. Оторванный палец будет донимать тебя несусветной болью в разгаре смертоубийственного сражения. Так и в этом случае. Да еще разрыв на расстоянии, в письмах. Ждешь и ждешь ответа... Много стихов было написано в ту пору.

Мы дни раздарили вокзалам,
И вот ворвалось в бытие

Пургой, камнепадом, обвалом
Второе рожденье твое.

Рожденная гордой и горькой,
Прямая, как тень от угла,
Ты руку, иконоборкой,
На бредни мои подняла.

Ты напрочь уходишь, чужая,
И впору занять у тебя
Любить, ничего не прощая,
Прощать, ничего не любя.

Но, вслед поглядев исподлобья,
Целую следов твоих прах,
Мое бытовое подобье
На стоптанных каблуках.

Странная штука поэзия! Каждая строка здесь вроде была пережита, но ахматовское «на стоптанных каблуках» так органично включилось в мое собственное, что я даже не заметил вторжения. Потом стал ощущать, но не сразу, а исподволь, как нечто пришедшее извне. Ну конечно же Ахматова!

В этом сером, будничном платье,
На стоптанных каблуках.

Из стихов, написанных в далеком-предалеком 1912 году. Так снова коснулась нас ахматовская муза, но на этот раз не соединяющим, а разъединяющим перстом.

Концовку стихотворения я, естественно, переписал:

Обугленный взгляд исподлобья!..
Не сдержит ни шепот, ни крик
Мое бытовое подобье,
Мой грустный и вечный двойник.

Ничьи слова не сдержали, долго спустя, упрямую женщину, когда она навсегда покинула землю. Но это долго-долго спустя, а тогда, несмотря на подлинный разрыв подлинных молодых людей, нереальная поэтесса требовала реальных стихов. Надо было поддерживать свою литературную репутацию в творческом кругу, в

творческом семинаре, в творческом институте. Первые два курса можно было отговариваться заботами о новорожденной дочке, а дальше... Несколько стихотворений поэтесса получила по полевой почте, прорехи были заштопаны. Подступала пора писать дипломную работу. Поэты должны были предоставлять книги или циклы стихов. Армию, в которой я служил, отвели на отдых, времени оказалось достаточно, и цикл стихов, описывающий разрыв от лица разрывающей, складывался быстро и споро. Последняя возможность опоэтизировать разлуку, уход, разрыв была до конца использована мной. Сочинять стихи, обращенные к самому себе, да еще от лица уходящей женщины, для поэтов дело редкое. Драматургам подобные ситуации встречаются чаще. Сочинялось нечто вроде такого:

Не надо сравнивать наугад
Меня ни с золой, ни с заревом...
Милый! Которую ночь подряд
Я сама с собой разговариваю...
. . . .
. . . .
В одной из арбатских уютнейших нор
Мы вывяжем брачные узы.
Все будет прекрасно, parole d'honneur,
Как говорят французы.

Но не будет этого. Ветер
Воли темной подул невзначай.
Это сердце срывается с петель...
Прощай!..

На этом и оборвалась судьба поэтессы Нины Воркуновой, которая мелькнула метеором на предвоенном небе, видневшемся из окон студенческих аудиторий.

Вызывание духов всегда было увлекательной, но жестокой операцией. Дух молодости, повинуясь волшебной палочке, продирается через колючий кустарник, выросший на его пути за десятилетия. На колючках остается множество прекрасных вещей — надежды, самоуверенность, здоровье. А что говорить о беззаботности, риске, утренней улыбке... «В поступке не увидеть приключенья» сказалось мне однажды при сравнении теперешнего и

давнего времени. Впору бросить волшебную палочку — привычный карандаш, да ничего не поделаешь, нельзя, профессия обязывает.

Профессия обязывает также вести свой рассказ, не упуская главных и соизмеримых величин, а что после любви может помочь повествованию, тема которого еще неясна читателю? Ленинград.

Летним утром 1943 года попутный грузовик домчал меня до Невского. «Домчал» слишком высокое слово для тряской езды, но не хочется прибегать к более точному «подбросил». Не вяжется это расхожее словечко со скорбной торжественностью города на Неве, раскрывшего в тот день передо мной свои улицы и площади. Ломоносовское учение о трех штилях протягивает ко мне через два века властные и строгие руки.

Горожанин по привычкам, памяти, жизнеощущению, я, видимо, страшно тосковал в волховских лесах по камню и асфальту большого города. Говорю «видимо», так как сам себе не отдавал отчета в неясном чувстве. И, лишь въехав на широкие ленинградские проспекты, всматриваясь в каменные громады домов, встречая взглядом нечастых прохожих в штатском, я вдруг понял, какая тоска в течение года щемила мне сердце. В Ленинграде я бывал еще до войны, и невская твердыня была мне знакома, но сейчас, конечно, все воспринималось заново. Не зря я шел с войсками Волховского фронта навстречу солдатам Ленинграда, прорывая вражескую блокаду. Военной легендой вставал он перед нами в приладожских деревнях, в синявинских торфяниках. Питерские рабочие, посланные заводами в наши войска, рассказывали о лишениях и воле ленинградцев, и мы знали цену их победоносному терпенью. Стихи Ольги Берггольц, прочитанные мною, называли по именам голод и смерть, мужество и доблесть.

Но за Ленинградом, рисовавшимся по этим представлениям, вставал другой город — Пушкина и Достоевского, Блока и Ахматовой. Оба города были едины, они проникали друг в друга, и это поразительное двуединство тревожило душу радостным и болезненным прикосновением.

И, стоя в кузове грузовика, опираясь ладонями о верх кабины, я повторял давно знакомые строки: пушкинские, блоковские, ахматовские:

Сердце бьется ровно, мерно,
Что мне долгие года!
Ведь под аркой на Галерной
Наши тени навсегда.

Сквозь опущенные веки
Вижу, вижу, ты со мной,
И в руке твоей навеки
Нераскрытый веер мой.

Оттого что стали рядом
Мы в блаженный миг чудес,
В миг, когда над Летним садом
Месяц розовый воскрес,—

Мне не надо ожиданий
У постылого окна
И томительных свиданий,
Вся любовь утолена.

Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера,—
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.

Ощущение последней строфы полностью совпадало с моим собственным. Мальчик и девочка, неумолимо повзрослевшие, расстались, и разрыв в письмах — написано пером, не вырубишь топором — упрочивал расставанье. «Ты свободен, я свободна». О следующих словах можно было поспорить: завтра могло оказаться много худшим, чем вчера. Могло вообще не быть этого завтра. Но в подобные вещи не хотелось верить, сознание не принимало таких мыслей, молодость под тугой гимнастеркой продолжала твердить свое заветное «завтра лучше, чем вчера». А тут еще «темноводная Нева» рядом и «улыбка холодная императора Петра» реет над тобой. Дорого бы я дал, чтобы вернуться к тому утру, возвратить то ощущение.

И еще одно стихотворение я готов был повторять без конца не только в этот краткий час въезда в город, но и во всю свою тогдашнюю питерскую жизнь.

Ведь где-то есть простая жизнь и свет,
Прозрачный, теплый и веселый...
Там с девушкой через забор сосед
Под вечер говорит и слышат только пчелы
Нежнейшую из всех бесед.

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,
Широких рек сияющие льды,
Бессолнечные мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

«Город славы и беды» встретил меня дружескими рукопожатиями и объятиями. С Берггольц и Прокофьевым я был знаком, предстояли первые встречи с Тихоновым, Инбер, Дудиным. Огромное значение для меня составило знакомство с Николаем Семеновичем и Марией Константиновной Тихоновыми. Их квартира на Зверинской до сих пор вспоминается мне лужайкой земли обетованной. Но об этом надо писать отдельно.

Во всех этих встречах незримой участницей мыслилась Ахматова. Она была такой же неотъемлемой частью города, как белые ночи, Адмиралтейство, сфинксы. И то, что ее не было в Питере, дела не меняло. Медный всадник тоже был заложен мешками с песком, но простертая рука его все равно угадывалась под песчаной броней.

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
                    Ведь все равно — вы с нами!..
Все на колени, все!
                    Багряный хлынул свет!
И ленинградцы вновь идут сквозь дым рядами —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет.

Эти стихи мне прочитала впервые Ольга Берггольц. Трагический пафос стихотворения был ей близок более, чем кому-либо. Каждая строка здесь дышит такой верой и гордостью, какой обладают, кажется, лишь небожители. И что очень важно, стихи эти обращены уже не к легендарному городу Петра, теряющемуся в дымке преданий, а к израненному, измученному, но живому и несдающемуся городу Ленина.

Давно отгремела война. И вот в середине 60-х годов

мне выпало счастье встретиться с Поэтессой. Намеренно пишу это слово с большой буквы, никому другому не подобает больше такое обращение. Я в то время занимался поэзией в «Литературной газете». Она выходила еще на четырех страницах, места было гораздо меньше, чем теперь. Но поэзии, время от времени, предоставляли целую полосу. Мне хотелось на страницах газеты дать, последовательно, своеобразную антологию современной поэзии. Причем еще не печатавшимися стихами. Начиная со старших поэтов, кончая молодыми. Из этой затеи, к сожалению, ничего не вышло, но тогда, при возникновении замысла, она казалась легко выполнимой. Хотелось начать с Ахматовой. Она в эти недели находилась в Москве. Связался с ней через знакомых, она согласилась встретиться со мной.

Вполне понимаю Антона Павловича Чехова, не знавшего, в каких брюках ехать к Толстому. Брюк я, правда, не менял, их роль исполняли галстуки. «Черт его знает, наденешь пестрый, подумает — стрикулист. Наденешь коричневый, решит, что чиновник». Может быть, не буквально, но очень похоже выглядели мои сомнения перед отъездом. Давным-давно ничего подобного не испытывал. Но это, так сказать, комическая подробность, относящаяся к себе, а не к Поэтессе.

Жила она у своей московской знакомой, где-то около Стромынки. Милая женщина приветливо встретила меня в дверях и провела в гостиную. Много я слышал о внешности Поэтессы, но явь превзошла все ожидания. Я сам не раз называл ее после вдовствующей императрицей. Нет, скорее это была императрица правящая. Наверное, Екатерина в зените своего могущества, принимавшая от Потемкина торжественную весть о победе над Оттоманской Портой, выглядела так, как Поэтесса. Важный она была человек.

После короткого взаимопредставления я объяснил ей цель приезда. Она придвинула к себе стопу перепечатанных страниц и стала их разбирать. Пока она их перебирала, я молча вглядывался в ее черты, запоминая их раз и навсегда. Это было величавое лицо русской женщины, сильно тронутое восточной кровью. Видимо, «бабушка — татарка», о которой писала Поэтесса, распорядилась ее прекрасным профилем. Татарками в старину звали также кавказских горянок. Может быть, девушка,

подобная лермонтовской Бэле, была у нее в родне. В эту минуту она встала, чтобы взять бумаги с соседнего столика. Величественный рост, осанка, поступь навсегда задержались в памяти. Куда там Екатерине!..

— Вот что я могу предложить вам,— услышал я низкий бархатистый голос.

Наступила моя пора перебирать страницы. Давно я помнил наизусть трагические строки короткого стихотворения, переданного мне на слух в кругу поэтов. И вот оно у меня перед глазами:

Ну, а меня ведет беда
Не прямо и не косо,
А в никуда и в никогда,
Как поезда с откоса.

Сколько нужно пережить, чтобы написать эти обнаженные страшные строки...

Я взял все, что мне предложила Анна Андреевна. Теперь я уже получил право называть ее по имени-отчеству. К стихам приложил переводы древнеегипетской поэзии.

Через неделю мы снова встретились с Поэтессой. Я привез гранки полос со своим вступлением. Оно было одобрено Ахматовой, и я, в сокращении, приведу его здесь.

«Что такое истинная поэзия? Люди влили немало воды в то вино, что когда-то было огненным. Высоким образцом ее является творчество Анны Ахматовой. Прошло уже более полувека, как она посвятила себя служению отечественной словесности. Русские музы избрали ее для соединительного рукопожатия классической и современной поэзии. «Прекрасное должно быть величаво»,— утверждал Пушкин, а творчество Ахматовой действительно величаво в своих печалях и радостях. Человек сложной и трудной судьбы, она заслужила право на соответственно трагическое мыслеизъявление. Такое право мы отрицаем за людьми поверхностными, ибо оно у них не подкрепляется ни пережитым горем, ни глубокими страстями, ни, наконец, стихами, подобными ахматовским. Ряд этих стихов мы сегодня печатаем, и чуткий читатель поймет, что их целомудренная и гордая скорбь, родившаяся в тяжелые для страны годы, явление несрав-

нимо высшего порядка, чем нервная раздраженность модной поэзии.

Читатель обратит внимание на блистательные переводы Ахматовой. Много тысяч лет назад люди любили, радовались и страдали столь же искренне и глубоко, как мы с вами, а может быть, сильнее и глубже. Самовластный луч поэзии, сквозя через века, соединяет человечество во времени. Золотыми пылинками в этом луче светят человеческие судьбы, запечатленные в строках, переведенных Ахматовой из древнеегипетских папирусов. Эти переводы по значению стоят в ряду высших достижений в этой области литературы.

Анна Андреевна Ахматова находится сейчас в зените творческих сил и заслуженной славы. Поэзия ее получила всемирную известность. В далекой Сицилии ей была вручена международная премия, присуждаемая ежегодно итальянцами одному иноязычному поэту. Родина Петрарки и Данте в ее лице отдала дань признательности стране Пушкина и Лермонтова. Англичане присудили ей почетное звание доктора Оксфордского университета. Мы, ее соотечественники, знаем и почитаем поэзию Ахматовой лучше и сильней, чем иностранцы. Мы воспринимаем ее как глубоко русское явление, яркий и гордый характер, смело противостоявший жизненным невзгодам и сохранивший веру в незыблемость добра на земле.

Перед вами — поэзия Анны Ахматовой».

Мои старания оказались напрасными. Подборка не увидела света. Причем не из-за каких-либо указаний и запрещений сверху, снизу или сбоку, а просто по редакционным несогласиям. Очень было досадно. И единственным напоминанием об этом несостоявшемся разговоре с читателем остались гранки полосы. Один экземпляр у Анны Андреевны, другой у меня. Да еще одно нужно добавить, самое, может быть, бесценное — царственную улыбку Ахматовой, читавшей с гранок свои стихи.

Когда Анна Андреевна возвращалась из Лондона через Париж в Москву, я встречал ее на Белорусском вокзале. «Там, где в 1913 году были саженцы, сейчас в Булонском лесу огромные деревья»,— говорила она о

Париже. Я резко полюбопытствовал: «А что, тогда лучше было или хуже» — «Ни то ни другое,— ответила она, помолчав,— просто это было на другой планете».

Точкой отсчета для нее остался 1914 год, год начала первой мировой войны и переименования Петербурга в Петроград. Первое для нас сохранило значение, но второе... Однако Анне Андреевне оно казалось не менее важным, чем первое.

«Тот, кто не успел до августа четырнадцатого года совершить что-нибудь, тот, кто решил сделать что-либо после, никогда уже не успел, никогда уже не сделал»,— сказала она однажды.

Мне очень хотелось послушать, как она читает собственные стихи. К моей радости, она охотно откликнулась на просьбу. Прочла она знаменитое:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
Я кровь от рук твоих отмою,
Из сердца выну черный стыд,
Я новым именем покрою
Боль поражений и обид».
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Читала она низким голосом, в торжественно-приподнятой интонации, разделяя слово от слова. Я пытался представить время, когда сочинялись эти стихи. Многие из близких Ахматовой людей поддались тогда искушающему голосу и оставили навсегда Россию. Судьба Родины оставалась судьбой Поэтессы, и чувство любви к России продиктовало не покидать ее никогда.

Мне кажется, что таким же чувством проникнуто стихотворение «Лотова жена», на которое редко обращают внимание. Оно создано в 1922—1924 годах и совпадает с порой легального выезда из СССР ряда художников, писателей, артистов. Выезда, для многих окончившегося эмиграцией.

По библейскому преданию, перед разрушеньем Содома и Гоморры праведнику Лоту с женой было разре-

шено покинуть город. При этом было запрещено оглядываться назад.

...Но громко жене говорила тревога:
Не поздно, ты можешь еще посмотреть
На красные башни родного Содома,
На площадь, где пела, на двор, где пряла,
На окна пустые высокого дома,
Где милому мужу детей родила.
Взглянула, и, скованы смертною болью,
Глаза ее больше смотреть не могли!
И сделалось тело прозрачною солью,
И быстрые ноги к земле приросли.
Кто женщину эту оплакивать будет?
Не меньшей ли мнится она из утрат?
Лишь сердце мое никогда не забудет
Отдавшую жизнь за единственный взгляд

Очень красноречивые стихи. Ради единственного взгляда на родную землю можно отдать жизнь... Нет, никогда не могла расстаться с отчизной Ахматова.

И спустя много лет при начале большой войны то же чувство неразрывности со своей землей вложило ей в уста четверостишие «Клятвы»:

И та, что сегодня прощается с милым,—
Пусть боль свою в силу она переплавит,
Мы детям клянемся, клянемся могилам,
Что нас покориться никто не заставит!

А по завершении небывалых сражений дало ей обнажить светлое чувство великого счастья:

Победа у наших стоит дверей...
Как гостью желанную встретим?
Пусть женщины выше поднимут детей,
Спасенных от тысячи тысяч смертей.—
Так мы долгожданной ответим.

Итак, Любовь, Ленинград, Родина. Из этих трех величин сложилось в моем сознании имя Ахматовой. Я застал Анну Андреевну в короткую и счастливую пору ее позднего цветения. Пришло полное безоговорочное признание таланта Поэтессы. Всюду она встречала глубокое уважение, писательский съезд избрал ее в свой президиум. Она была окружена почтением и любовью, окружающие ловили каждое ее слово. Все это — уважение, почтение, любовь — Ахматова принимала как должное, и

впрямь люди словно торопились отдать ей то, в чем долгое время отказывали.

Однажды вечером мне позвонили от Ардовых, где на этот раз остановилась Ахматова. «С Анной Андреевной плохо. Сердце...» Через четверть часа я сообщил, что больница готова принять ее. Трубка сказала: «Анна Андреевна наказала передать, что вы — милый...»

Это на расстоянии услышанное слово оказалось для меня последним словом Ахматовой.

Последним — если не считать стихов, звучащих во мне всегда и всюду.



СОДЕРЖАНИЕ

Сергей Сергеевич Наровчатов

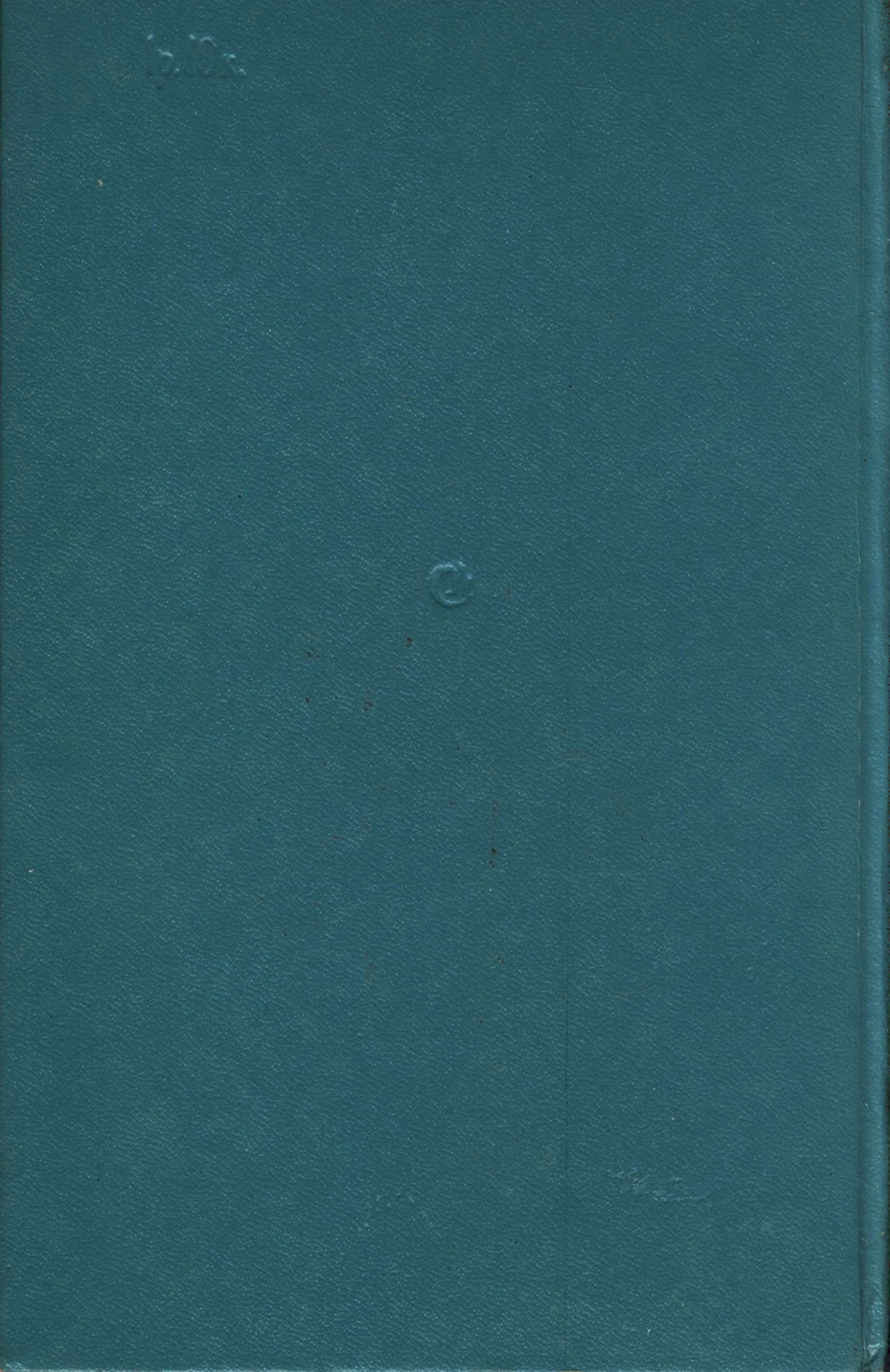
МЫ ВХОДИМ В ЖИЗНЬ

М., «Советский писатель», 1980, 288 стр.
План выпуска 1980 г. № 120

Редактор А. Л. Никитин
Худож. редактор Е. И. Балашева
Техн. редактор Е. П. Румянцева
Корректор А. В. Полякова

ИБ № 1921

Сдано в набор 11.07.79. Подписано к печати 03.01. 80. А 06002. Формат $84 \times 108^{1}/_{32}$. Бумага тип. № 1. Литературная гарнитура. Высокая печать. Усл. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 13,74. Тираж 150 000 экз. Заказ № 647. Цена 1 р. 10 к.
Издательство «Советский писатель», 121069, Москва, ул. Воровского, 11. Тульская типография Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект Ленина, 109.




СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ